Борис Хазанов

ВЧЕРАШНЯЯ ВЕЧНОСТЬ

Фрагменты XX столетия

ImWerdenVerlag
München 2007

...praesens autem si semper esset praesens nec in praeteritum transiret, non iam esset tempus, sed aeternitas.

Beati Augustini Confess. XI, 14[1]

© Борис Хазанов, 2007. Авторское электронное издание.
© ImWerden, 2007 Некоммерческое электронное издание. Печатается с разрешения автора.
http://imwerden.de

[1] ...настоящее же, если бы оно всегда оставалось настоящим и никогда не переходило в прошлое, было бы не временем, а вечностью. *Исповедь бл. Августина*, кн. XI, 14 (*лат.*).

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I
А. Я. в овальной раме.....7
II
Древо корнями кверху.....9
III
Палеонтология времени (1).....12
IV
Племянница.....16
V
Визит терапевта сам по себе есть лечебное мероприятие…20
VI
Уступка беллетризму. О чём она собиралась рассказать.…22
VII
Похороны Максима.....24
VIII
Палеонтология времени (2). Размышления a posteriori.
Непредвиденный ход событий.....26
IX
Диспут.....30
X
Побег № 1.....34
XI
Берлин.....36
XII
Праздник.....39
XIII
Все еще не конец.....43
XIV
Принудительная память. Исход.....45
XV
И выйдет обольщать народы.....47
XVI
И возрыдают пред ним все племена земные 51

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XVII
Жизнь — государственная тайна.....55
XVIII
Свидание.....57
XIX
Героический эпос бдительности.....59
XX
Побег № 2. Если это вообще возможно.....62

XXI
Свет не без добрых людей.....64
XXII
Путь жизни. Утрата девственности.....68
XXIII
Слово «документы» в этой стране
всегда означает: паспорт.....72
XXIV
Смерть — если это была смерть.....75

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

XXV
Человек-призрак.....82
XXVI
Философия паспортного режима 85
XXVII
Соты вечного успокоения.....86
XXVIII
Сатурн.....89
XXIX
Любовь.....92
XXX
У того, кто раньше умрёт,
останется больше времени побыть среди мёртвых.....93
XXXI
Жизнь — осколок бутылочного стекла под луной.....96
XXXII
Трое. Чёрный ферзь.....99
XXXIII
Ещё один. Сеть.....103
XXXIV
Утренние утехи. Ничтожество, или частное лицо.....105
XXXV
Интермедия: личная жизнь Валентины.....109
XXXVI
Уступка философствованью, которое никуда не ведёт 112
XXXVII
Всё, что не разрешено, — запрещено.....116
XXXVIII
Легка на помине.....120
XXXIX
Вдвоём и смуглая Венера.....125
XL
Эротическая мобилизация. Встреча Нового года
в гостинице «Комсомольская юность».....131
XLI
Эротическая мобилизация. Чем кончилось.....134

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

XLII
Нечистый дух. Антипатриотическая позиция романиста получает достойный отпор.....136
XLIII
Время идёт всё быстрей, предваряя развязку.....142
XLIV
Призрак или не призрак — это как посмотреть.....145
XLV
Или всё-таки реальное лицо? 149
XLVI
Генерал Колесников.....152
XLVII
Слава Богу, живём в большой стране.....155
XLVIII
Сон без сновидца, называемый действительностью.....159
XLIX
Побег № 3. Порушенное отечество.....161
L
Суд.....167
LI
Unzeitgemäße Betrachtungen.
Литература как способ покончить с собой. 173

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

LII
Вне всякого сомнения новые времена.....178
LIII
Князь и девушка.....180
LIV
Урок политической экономии. Главное — оставаться оптимистом.....183
LV
Академик Курганов.....187
LVI
Пир витязей в шатре над речной излучиной.....189
LVII
Русская рапсодия.....192
LVIII
Интервью. Последнее приключение автора «Вчерашней вечности».....193
LIX
Интервью, окончание.....197
LX
Ремонт отечественной истории. Не надо искать женщину — она отыщет вас. 202
LXI
Глас народа.....206

LXII
Глава без названия.....207

ЭПИЛОГ

Апофеоз и последнее бегство 209
2007 год, постскриптум 212

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I
А. Я. в овальной раме

15 сентября 1936

Две ночи поднимаются навстречу друг другу, одна на Западе, другая на Востоке, чтобы, соединившись, слиться в одну безбрежную ночь.

Это ночь забвения.

Забывается всё; забудут и нас, и тех, кто нас забудет. Назвать ли эту историю поучительной? Мы грезили будущим, не чувствуя затхлый запах, который оно издаёт, не замечая, как будущее разлагается на ходу; мы жили будущим и чуть ли не в самом будущем, а оно тем временем превратилось в прошлое; так уличный светофор переключается с зелёного на красный, не успев загореться жёлтым.

Некогда в тридевятом царстве, в переулке у Красных Ворот жила Анна Яковлевна Тарнкаппе. Пишущий эти строки, может быть, единственный, кто её помнит.

Уже в те времена никаких ворот не существовало, не осталось деревьев на Садовом кольце; смутно помнится Сухарева башня, слышны звонки трамвая; на углу Мясницкого проезда в керосиновой лавке продают керосин; всё ещё кажется очень высоким дом Ефремова, цитадель воровского и нищенствующего сброда, ещё не снесён двухэтажный особнячок на площади Красных Ворот — там, говорят, родился Лермонтов.

Что касается переулка, то здесь ничего не менялось, по крайней мере, за последние пятьдесят лет. Возможно, этим объясняются некоторые кажущиеся несообразности в рассказах Анны Яковлевны.

«Veuillez avoir l'obligeance de ne pas mettre vos pieds sur le canapé.[1] Я на нём сплю».

Некто в ботинках, не однажды побывавших в починке, в бумажных чулках на резинках, которые выглядывают из-под коротких штанов, ёрзает на её антикварном ложе.

«Должно быть, поэтому, — она вздыхает, — мне так часто не спится. Так теперь принято: есть не за столом, спать не на кровати...»

«А сны тебе снятся?»

«Иногда. Но я догадываюсь, почему ты спрашиваешь. Ты хочешь сказать, что это был сон».

Писатель радостно кивает.

«Так вот, к твоему сведению: ничего подобного. Это не сон. Лежу, ворочаюсь с боку на бок... Нет, думаю, не уснуть».

---

[1] Убедительная просьба не забираться с ногами на диван (*фр.*).

Квартира Анны Яковлевны находится на первом этаже. Тусклая лампочка озаряет могильным светом коридор, двери, за которыми прячутся жильцы, и массивный сундук, похожий на небесный камень Кааба. Никто не решается убрать его с дороги или попросту вынести на помойку, никто не «поднимает вопрос». Смутная догадка владеет жильцами, что сундук охраняет квартиру от несчастий. Ключ от висячего замка давно потерян, никто не знает, что хранится в сундуке, скорее всего он пуст. Изредка на нём ночует какой-нибудь гость из провинции.

Но на самом деле ключ не пропал. Он хранится в шкатулке, а шкатулка лежит в хрустальном гробу. Гроб — на дне океана. И не где-нибудь, а на дне самой глубокой в мире Филиппинской впадины. Недавно экспедиция в батискафе опустилась на самое дно и убедилась, что он там. Вещи живут тёмной жизнью, более долговечной, чем жизнь людей.

В старых квартирах обыкновенно бывают высокие потолки. Последний раз потолок белили в год отречения императора Николая Второго. Рядом с лампочкой висит колокольчик звонка, на стене справа от входа — счётчик Сименс-Шуккерт, оба слова с твёрдым знаком на конце; встав на цыпочки, можно увидеть, как в окошке вращается диск с красной меткой. Висит объявление: экономьте электричество, каллиграфический почерк Анны Яковлевны угадать нетрудно. Ей же принадлежит ряд других воззваний. Если по дороге на кухню вам понадобится зайти в закуток и, накинув крючок на дверь, усесться, вашему утомлённому взору предстанет наставление, как вести себя в местах общественного пользования: спускать за собой воду, не оставлять брызги на крышке стульчака, не засиживаться, читая во время отправления естественных нужд художественную литературу.

Библиотека помещается тут же, в нише перед пыльным окошком, выходящим на лестничную площадку: Ник. Огнев, «Дневник Кости Рябцева», некогда чрезвычайно модное произведение; его же, «Исход Никпетожа»; Юрий Либединский, «Неделя»; «Княжна Джаваха», роман дореволюционной писательницы Чарской. А также разрозненные номера журнала «Красная Новь», самоучитель игры на гавайской гитаре и ряд других сочинений. Некоторые книги сохранились частично или представляют собой пустые картонные обложки: все страницы использованы. Библиотека регулярно пополняется.

При входе в квартиру первая дверь направо — жилплощадь Анны Яковлевны. Одно из ключевых слов эпохи. В словаре можно найти поясняющие его фразеологические обороты. Площадь предоставляется. Её занимают, уплотняют или освобождают. Остался без площади. За отсутствием площади. Прописан на чьей-то площади и проч. Окно смотрит во двор, похожий на все московские дворы. Вещи живут долго, но всё же не бесконечно, зато голоса, улыбки, запахи живы и тогда, когда ни от людей, ни даже от вещей ничего не осталось. От диванной материи восхитительно пахло куревом. Вся стена над спинкой дивана была увешана портретами в круглых, овальных, прямоугольных рамках и рамочках, в мундирах и туалетах последнего царствования. Фотографиями был уставлен и комод, там среди прочих помещалась сама хозяйка, какой она была, по удачному выражению поэта, *в те баснословные года*.

«Нет, — сказала она, — я же вижу, что ты мне не веришь. Я не могу рассказывать, когда мне не верят!»

Томительная пауза; Анна Яковлевна устремила надменный взор в пространство; ты помотал головой, что могло означать и опровержение, и согласие. Ясно, по крайней мере, что главное в историях Анны Яковлевны — это занимательность, а не достоверность. Ноги в ботинках торчат над краем дивана, ты весь ожидание.

«Так вот... — глубокий вздох, — на чём я остановилась... Делать нечего. Дай, думаю, пройдусь... Подышу свежим воздухом. Выхожу. Дивная тишина. В небесах торжественно и чудно. Кто это сказал, тебе известно?»

Писатель надул щёки, выпучил глаза. Энергично кивнул и издал непристойный звук.

«Фу!» Анна Яковлевна облила презрением собеседника, и на некоторое время вновь воцарилось молчание.

«Между прочим, он родился в двух шагах от нас...»

Можно было бы и не намекать на двухэтажный домик Лермонтова: знаем; каждый знает.

«Тут рядом и Пушкин жил — в Харитоньевском. В раннем детстве».

«Дальше», — сказал писатель.

«Дай, думаю, прогуляюсь...»

«Это ты уже рассказывала».

«Попрошу меня не торопить! Горят фонари, во всех домах темно. И такое чувство, как будто я куда-то попала, где до сих пор никогда не была. Как будто я в царстве умерших...»

«Такой сон, да?»

Она фыркнула. Неужели мы настолько выжили из ума, что не в состоянии отличить сон от действительности? И потом, если не спится, то какой же это может быть сон. Анна Яковлевна сунула в рот папироску, потрясла коробком перед ухом, есть ли ещё спички.

«Фу. — Она с наслаждением затянулась, выпустила дым к потолку и помахала рукой в воздухе. — Можешь ли ты мне сказать, кто изготовляет эти отвратительные папиросы?»

«Дукат».

«Qu'est-ce que c'est que ce Дукат?»

«Фабрика, — сказал он небрежно. — Там написано».

II
Древо корнями кверху

14 сентября 1936

Итак, что же произошло? Анна Яковлевна вышла из подъезда, одиночество охватило её, словно порыв ветра. Перед ней короткий Боярский переулок вёл направо к недавно сооружённой станции метро, налево уходил Большой Козловский. Напротив — красивый особняк и стена чехословацкого посольства. Жёлтые конусы света покачиваются под тарелками ночных фонарей, прохладно, зябко. И тут внезпно донеслось цоканье подков по булыжной мостовой.

Не зря сказано кем-то: наш мир — сновидение без сновидца. Но это не был сон. Это ехал извозчик.

Это был могиканин почти уже вымершей профессии. Вдалеке, на пересечении Большого Козловского с Большим Харитоньевским, выехал из-за угла и погромыхивал навстречу музейный экипаж. Конь стал, перебирая копытами. Некто в картузе с высоким околышем, с бородой, расчёсанной на обе стороны, повернул из коляски клокатые брови к Анне Яковлевне. Не подскажешь ли, мать, где тут церковь Харитония. Анна Яковлевна была вынуждена ответить, что церкви больше нет. Куды ж она делась? Снесли.

«Ты знаешь, что это была за церковь? — Мальчик помотал головой. — Вот видишь, я, наверное, последняя, кто ещё помнит. В этой церкви венчался Боратынский, был такой поэт».

Эва, сказал мужик в картузе, вот так новость; а это что за улица? Анна Яковлевна назвала наш переулок. Ба, уж не тот ли; да ведь он-то мне и нужен.

Мужик стал вылезать, пролётка накренилась под его тяжестью, лошадь переступила ногами. Возница по-прежнему неподвижно возвышался на облучке. Бородатый гость шагал животом вперёд, он был невысок, дороден, суров. Квартира спала, и никто не узнал о визите. На цыпочках в полутьме Анна Яковлевна прокралась на кухню, поставила медный чайник на керосинку, заварила чай в пузатом фарфоровом чайничке с покалеченным носиком. Гость сидел на диване под фотографиями, расставив ноги в портах дорогого сукна и высоких смазных сапогах. Обнажив лысую голову, пил вприкуску, отдуваясь, держа блюдечко на растопыренных перстах. Важно кивнул, услыхав, что хозяйка покупает чай на Мясницкой в знаменитом «китайском» магазине. От Высоцкого, стало быть. Она возразила, магазин был перловский. Как же, закивал гость, ещё бы не знать: Перлов Сергей наша родня.

«Интересно всё же. — Анна Яковлевна держит на отлёте курящуюся дымком папироску, разглядывает пустую пачку. — Дукат... это от ducatum, что означает герцогство. Какой же, спрашивается, герцог, да и просто порядочный человек, решится взять в рот эту дрянь?.. Vous êtes fou, ты с ума сошёл! — зашипела она, когда, улучив момент, писатель нацелился выхватить папиросу из её пальцев. — Убери руки. Твоя мама и так недовольна, что ты торчишь у меня целыми часами...»

«А я уже пробовал», — гордо сказал он.

«Пробовал, что это значит?»

«На даче. Из листьев».

«Вот как. Из каких это листьев?»

Разговор о родне продолжался, полуночный гость допил последнюю чашку, перевернул и положил на донышко огрызок сахара. Как если бы время замедлило бег, всё ещё было далеко до рассвета. От ближних родичей и свояков перешли к предкам, подтвердились предания. Прадед-татарин родом из Бугульмы, расторопный мужик по прозвищу Козёл, накопил деньжат, выкупился у барыни и в столицу прибыл в самую удачную пору: только что французы оставили Москву. Земля была дёшева. Он купил участок, разобрал пепелище и построил доходный дом. Потом ещё один, завёл торговлю, обзавёлся знакомствами, связями, под конец жизни был уже купцом второй гильдии. С тех пор переулок называется Козловским.

Выходит, подмигнув, сказал гость, мы с тобою сродственники. Белая кость, она из чёрной произошла.

«А у тебя какая кость?» — спросил мальчик.

«Белая. У всех людей кости белые. Это просто так говорится».

Она объяснила — впрочем, знала это и раньше: из всего козловского потомства в живых остались сын и дочь. Козлов-младший был дедушкой ночного визитёра, то, что этот гость в самом деле посетил Анну Яковлевну, не подлежало сомнению: «вот тут сидел, где ты сейчас сидишь». А дочь вышла замуж за барона Терентия Карловича фон Тарнкаппе.

Тут пошли разного рода генеалогические подробности, хитренькая усмешка показалась на увядшем лице Анны Яковлевны.

«Между прочим, говорят... хотя, конечно, проверить не так просто... Одним словом, считается, что барон Тарнкаппе был внебрачным отпрыском — угадай, кого?»

Писатель спросил, что значит внебрачный.

«Бастард. В некотором роде незаконный... laissons, оставим это. И вообще, если я обо всём этом рассказываю, ты понимаешь? Не для того, чтобы ты рассказывал другим».

Сейчас она скажет: ты уже большой, должен понимать. Не раз приходилось замечать, что взрослые употребляют слово «большой» в двух противоположных смыслах: и как комплимент, впрочем, достаточно сомнительный, и как упрёк, абсолютно необоснованный.

«Дальше», — сухо сказал он.

«При нём был выстроен этот дом, на месте старого. Да, да, этот самый, где ты живёшь... Сыновья Терентия Карловича, вон они, все трое, — Анна Яковлевна подняла глаза на стенку, — пропали без вести. А если точней...»

Она смотрит в пространство. Что она там видит?

«Если точней, были расстреляны».

Писатель смотрит на неё круглыми глазами.

«В двадцатом году, во время гражданской войны. При отступлении... Старший, Яков, — это мой отец».

Спохватившись, она бросает погасшую папиросу в пепельницу. Погружённая в загадочные мысли, поднимает окурок, снова роняет.

«Вот так, друг мой, — проговорила она. — Это бывает. Дом был записан на моего отца, я единственная наследница. Так что, как это ни смешно, — она развела руками, — дом принадлежит мне».

Опять же, как ни смешно, тебя не смущало странное явление гостя. Об Анне Яковлевне и говорить не приходится — с неё, как говорится, взятки гладки. Вокруг Анны Яковлевны происходили чудеса. Но, если вспомнить, сколько таких выходцев бродило по улицам в те годы, пряталось в норах коммунальных квартир!

Времена смешались, и в некотором смысле всё существовало одновременно.

Он спросил:

«Весь дом?»

«Да, — сказала она сокрушённо. — Так я ему и объяснила. Но он и так знал, поэтому и приехал».

«Откуда?»

«Не знаю; не интересовалась. А главное, никак не мог понять, что всё это не имеет никакого значения... Спрашивает, где документы. Нет никаких документов, всё пропало. Выходит, ты не могла доказать, тебя и попёрли. Я говорю: вы хотите сказать, что меня выгнали? Пытаюсь ему объяснить, что меня — как это называется — экспроприировали. Сперва был организован домком. Какой такой домком? Комитет по управлению и уплотнению. Слава Богу, — сказала Анна Яковлевна. — Люди остаются людьми. Оставили за мной эту комнату».

«Дальше».

«Что дальше?»

«Дальше рассказывай».

«Мой купец словно с Луны свалился; спрашивает: а кто же ещё здесь живёт? — Жильцы. — Кто такие? — Разные. — Ладно, сказал он и хлопнул себя по коленям, некогда мне тут с тобой тары-бары разводить, я желаю откупить у

тебя дом. — Господи, говорю я, что вы будете с ним делать? — Не твоя забота. О цене сговоримся, составим купчую, всё как положено. И предлагает задаток, представляешь себе? Разворачивает бумажник и вынимает пачку банкнот. Я, говорит, дом отремонтирую, приведу в божеский вид. Конечно, и тебя не забуду. Выберешь себе какой-нибудь этаж, а всю эту шантрапу вон. Приличным господам будем сдавать».

«Я уж не стала говорить, — продолжала Анна Яковлевна, — на что мне эти банкноты. Что я с ними буду делать? — Она усмехнулась. — Вот видишь, он бы и твоих родителей выгнал на улицу. Всё-таки революция имела какой-то смысл».

«Революция, — сказал писатель, — покончила с икс-плю...».

«Не вздумая плеваться. Ты хочешь сказать, с эксплуатацией. Veuillez m'expliquer... благоволите объяснить, что это такое».

«Рабочих и крестьян».

«Угу. М-да... Впрочем, в твоих словах есть доля истины. Этого нельзя не признать».

Таковы были памятные беседы писателя с экс-баронессой Анной Яковлевной Тарнкаппе.

III
Палеонтология времени (1)

22 сентября 1936

Ты увидел её такой, какой была она в те счастливые дни, когда ты забирался с ногами на диван и пел: «Иксплю, иксля, иксплю!», и в ту ночь, когда возвращались после неудачного путешествия в Колонный зал, о чём речь ниже; ты увидел её в те времена, когда читал её лицо на комоде, — ведь портреты можно читать, даже не сознавая этого, — и на фарфоровом, в чёрных трещинках медальоне, и тотчас, через много лет, услышал её журчащий голос, звучный прононс: «Veuillez avoir l'obligeance!..»; ты увидел переулок, и дом, и квартиру, где прошли лучшие годы жизни, и вспомнил, как однажды, а может быть, и не один раз, тебе привиделось, будто ты лежишь на её диване и видишь сон, и знаешь, что этот сон во сне есть не что иное, как действительность.

Гипертрофия памяти, о, этот старческий недуг, подобный гипертрофии предстательной железы. Молодость умеет сопротивляться, молодость побеждает агрессию памяти; беспамятство — её защитный механизм: мы молоды, покуда способны забывать. Но незаметно, неотвратимо наши окна покрываются копотью памяти. Отложения памяти накапливаются в мозгу. Словно горб, склеротическая память не даёт распрямиться. Утрата способности забывать, вот что такое старение; мы умираем, раздавленные этим бременем. Итак, берегитесь! Вы заболеете той же болезнью. Вот что могло бы сказать старшее поколение младшему. Берегитесь: когда-нибудь и у вас начнёт расти эта опухоль, и вас однажды настигнет бессонница воспоминаний. И уберечься невозможно.

Вернёмся всё же к начатому рассказу. Жилплощадь родителей. По имеющимся сведениям, она представляла собой длинную, наподобие пенала, комнату с окном в переулок. Занавес на кольцах делил её пополам. Получилось две комнаты. В первой половине находилась оттоманка, на ней спал писатель, ближе к двери — шаткий столик, заваленный растрёпанными детскими книж-

ками, под ним было свалено ещё кое-какое имущество: игрушки прежних лет, деревянное оружие, коробка с фантиками, интерес к которым угас, и альбом марок — новое увлечение. На этой же половине помещались буфет, книжный шкаф, обеденный стол и древнее пианино. От множества вещей комната, казавшаяся ребёнку просторной, выглядела ещё вместительней, он расхаживал, как в хоромах, там, где взрослые передвигались бочком; но если бы, например, пришлось освобождать жилплощадь, она оказалась бы совсем небольшой — удивительно, как могло всё это уместиться; вообще говоря, это была одна из загадочных черт эпохи.

Скажут: не жильё, а камера хранения, чулан прошлого; скажут — судорожные усилия сберечь обломки безнадёжно отжившего; и в самом деле, было нетрудно угадать в этом нищенском изобилии, в мутных стекляшках люстры, в остатках лепнины на потолке, в никому не нужном пианино допотопной немецкой фирмы, с медными подсвечниками и двуглавым орлом, — угадать немое и трагикомическое столкновение эпох. Но, быть может, тут сказалось врождённое стремление сохранить непрерывность времени. Пускай нить, соединявшая прошлое с настоящим, рвалась то и дело, — руки людей ловили, кое-как связывали повисшие концы, снова подхватывали и снова связывали. Удивительное было время — всё в узлах.

Что касается второй половины, так сказать, второй комнаты, там стояли зеркальный шкаф, туалетный столик, остальное пространство, загородив часть окна высокой никелированой спинкой, занимала кровать родителей. На ночь задёргивалась портьера; шорохи, вздохи, слабый стон матрасных пружин, обрывки загадочных речей доносились до мальчика.

«Не могу забыть, всё время думаю...»

Отец: «Перестань».

«Всё время...»

«Откуда ты знаешь, что это была девочка?»

«Знаю. Теперь я уже никогда не смогу...»

«Откуда это известно?»

«Врач сказал».

«Что он сказал?»

«Сказал, у меня заросли трубы».

«Может, к лучшему».

«Как ты можешь так говорить!»

Смешок: «Не надо предохраняться».

«Ты и так не предохраняешься. Всё самой приходится».

«Нет, серьёзно, сама подумай: с нашей зарплатой. И в этой тесноте».

«Другие живут ещё тесней. Посмотри, как ютятся Островские, шестеро в одной комнате. А Гуджаян просто в подвале».

«Вы ещё козу к себе возьмите. Помнишь этот анекдот?»

«А ты поменьше рассказывай. Тебя и так уже считают евреем».

«Но это правда».

«Наполовину. Не забывай, что на пятьдесят процентов ты русский. И вообще, благосостояние растёт».

«Ты поставила будильник?»

Вздох: «Говорят, хлеб подорожает».

«Кто это говорит?»

«Марья Антоновна. У неё сын работает в этом, как его».

«А ты говоришь, благосостояние растёт».

«Да, в общем и целом, без сомнения».

«В общем и целом. А в частности?»

«Я знаю, что ты хочешь сказать. Есть люди, которые сознательно распространяют такие сведения».

Голоса доносятся из темноты, из-под воды, из чащи, заросшей лианами; ты не спишь, ты не спишь.

«Ты видел это объявление? Совсем рехнулась».

«Делать нечего, вот она и пишет».

«Здесь не плюй, там не сори».

«Делать нечего, вот и пишет».

«А у самой комната вся провоняла табаком. Ребёнок дышит табачным дымом».

Снова пауза, ты держишься на поверхности, изо всех сил стараясь не погрузиться в небытиё.

«Говорят, в Москву завезли — не поверишь. Сто тысяч тонн бананов».

«Бананов?»

«Из Колумбии».

«Где это?»

«Ну, как тебе сказать», — говорит отец.

Пальмы, джунгли, лианы. Голые, шоколадного цвета туземцы в перьях выглядывают из чащи, потрясая копьями над головой.

Хочется вскочить и показать им в альбоме роскошную серебристую марку.

«А сколько они стоят, ты знаешь?»

«Понятия не имею. Я вообще никогда не пробовала бананов. А ты?».

Пауза.

«Надо ему запретить».

«Ты знаешь, кто она такая?»

«Конечно. Из бывших».

«Ну вот, а ты говоришь».

«Что ты хочешь этим сказать?»

«А то, что я не понимаю: как это таким людям разрешают жить в Москве».

Такие люди. Какие? Вскочить и крикнуть: ей принадлежит весь дом! Так что помалкивайте.

«Подделала анкету, вот и всё».

«Думаешь, это так просто?»

«А то бы её давно вытурили».

«За подделку документов знаешь, что бывает?»

«Взятку, наверно, дала. Небось припрятала брильянты».

«Какие там брильянты...»

«А что. Марья Антоновна рассказывала, у них умерла одна старуха. Совсем нищая была, побиралась. А потом вспороли матрас — там сто тысяч».

«Брехня...»

«Бродит по ночам. Вдруг понадобилось чай пить, я сама видела».

«Ночью?»

«Пописать выходила, а она на кухне зажигает керосинку. Ещё пожар наделает».

«Не надо преувеличивать. Тихая, культурная старушка».

«В тихом омуте черти водятся».

«Слушай-ка, — сказал папа, — а кто это такая, ты её раньше когда-нибудь видела?»

«Никого я не видела. Я спать хочу».

«Барышня эта. Вчера приходила».

«Ты всё на барышень заглядываешься. Племянница».

«Какая племянница, она ей во внучки годится».

«А ты знаешь, что она разговаривает с мальчиком по-французски?»

«Кто разговаривает?»

«Она».

«Ну что ж, это очень хорошо. Расширяет кругозор».

«По-моему, это опасно».

«Не понимаю, почему?»

«Мало ли что — ещё кто-нибудь сообщит».

Молчание.

«Разве тебе не ясно, что это в высшей степени подозрительная личность?»

«Кто, племянница?»

«Да не племянница. Старуха!»

«Господи, да она сто лет здесь живет».

Я сплю, сказал мальчик. Эксплю, эксплю.

«В Москву завезли... Сто тысяч...»

«А где это находится?»

Там еще что-то происходит. Под пальмами Колумбии. Издалека:

«Не хочу».

«Повернись, пожалуйста».

«Ты всегда выбираешь самый неподходящий момент».

«Смилуйся, государыня рыбка».

«Ты всегда... — Я сплю, сказал мальчик. — О-о!» — и в её голосе смешались протест и восхищение. Тихий скрежет пружин — последнее, что он услышал. И прошло много часов, много дней. Уже близился рассвет. Теперь ему снилось, что он спит и видит сон. Сон склонился над ним и будит его.

О снах во сне сказал далекий соотечественник Анны Яковлевны Тарнкаппе: мы близки к пробуждению, когда во сне сознаём, что видим сон. Следует ли из слов Новалиса, что, если мы стараемся убедить себя, что мы бодрствуем, значит, мы грезим? Сон — это ряд ступеней, ты нисходишь в подвал, потом восходишь наверх, там чердак, там сквозь окно в крыше голубеет рассвет. Слабый стук будильника проник в слух, вот-вот прогремит гром, мальчик спал и думал во сне о том, что мать увидела ночью Анну Яковлевну на кухне, но не разгадала тайну, не узнала, для кого заваривался чай из китайского магазина. И, чтобы окончательно пробудиться, он встал и на цыпочках вышел в коридор.

Ему не было холодно в ночной рубашке, впрочем, как-то само собой получилось, что он одет. Возможно, он забыл, что возвращался в комнату надеть чулки и заправить в штаны рубашку. Как и Анна Яковлевна перед тем, как подъехала коляска с бородатым родственником, он стоял перед подъездом, тускло светилась мостовая в сиянии фонарей, из тёмной листвы за стеной чехословацкого посольства бесшумно вылетела большая ночная птица и, махая крыльями, полетела низко, на уровне первого этажа, к перекрёстку, он шёл за ней. Он увидел, что, долетев до поворота, она уселась на каменную тумбу — должно быть, ждала его. Это была учёная дрессированная птица, когда он приблизился,

она широко растворила клюв. Он не мог разобрать слов. Навстречу шёл кто-то, невозможно было понять, мужчина или женщина, далеко в просвете Большого Харитоньевского переулка, за спиной идущего светлело, над Чистыми прудами занималась заря; но когда этот кто-то приблизился, писатель догадался, что навстречу идёт племянница, та самая барышня, о которой говорил отец. Она остановилась шагах в десяти и поманила его к себе. Он успел сделать шаг навстречу и был сердит на мать, которая наклонилась над ним и гладила ему волосы. Пора было в ненавистную школу.

IV
Племянница

10 апреля 1937

Анна Яковлевна была больна, покоилась под выставкой фотографий, маленькая, с необыкновенным румянцем, заострившийся нос торчал над одеялом, рядом на стуле стояла кружка с остывшим чаем, лежали порошки в вощаной бумаге, лежала книга, которую она не раскрывала, роман Пьера Лоти.

Можно добавить, что под Пьером Лоти лежала ещё одна тоненькая книжка стихов: как ни странно, Бодлер.

«Если, — сказал писатель, держа в обеих руках большой ломоть хлеба, намазанный повидлом, — поставить ракету на колёса, получится ракетный автомобиль».

«Сперва прожуй...»

«Если присоединить к динаме электромотор, знаешь, что получится?»

«Нет, не знаю».

«Вечный двигатель. Динама будет давать ток для электромотора, а электромотор вертеть динаму».

«Ты это сам изобрёл?»

Инженер самодовольно повёл плечами.

«Я в этом ничего не понимаю. У тебя сейчас капнет. Только, пожалуйста, не на пол...»

«Насколько мне известно, — продолжала она, — вечный двигатель невозможен, хотя столько людей потратили жизнь на его поиски. Не думаешь ли ты присоединиться к ним?»

Мальчик слизывал стекающее на пальцы повидло. «Pas du tout, — сказал он презрительно, — вовсе нет. Ведь я его уже нашёл».

Анна Яковлевна осведомилась, что нового в училище. Так она называла, возможно, из упрямства, 613-ю среднюю школу в Большом Харитоньевском, воздвигнутую на месте взлетевшей на воздух церкви. Но что может быть нового в школе? Он пожал плечами.

«У тебя криво висит галстук... ах нет, не подходи. Подхватишь от меня. Вытри пальцы».

Порылась за пазухой и вытащила градусник.

«Тридцать восемь и ноль», — стоя у окна, объявил писатель.

«Дай-ка мне... Гм, действительно... Подойди к зеркалу и поправь».

Из тусклого, в чёрных царапинках, стекла, словно из окна в прошлое, на тебя уставилась голова с выпученными глазами, оттопыренными ушами — и высунула язык.

«Заправь под пиджачок. Попроси маму, чтобы она тебе выгладила».

Он объяснил символику алого пионерского галстука. Три конца галстука обозначают Третий Интернационал. А также три поколения революционеров: большевики, комсомольцы и мы.

«Кто это — мы?»

Мальчик сотворил перед зеркалом пионерский салют. В его руках появились невидимые палочки, затрещала сухая дробь барабана.

«Юные пионеры, — проговорил он, — тр-ра—татата! В борьбе за дело, трам-тарарам, будьте здоровы. Нет, — поправился он, — будьте готовы».

Он запел:

«Взвейтесь кострами, синие ночи! — Маршируя по комнате, чуть не налетел на стул. — Этот красный галстук смочен кровью борцов за дело рабочего класса».

«Угу, — пробормотала Анна Яковлевна. — Не испачкайся».

Но она была далека от иронии. Возможно, её мысли витали где-то. Она промолвила:

«Вот что я хочу тебе сказать... Ты, наверное, уже рассказал маме, кого мы вчера видели?»

«Милиционеров».

«Совершенно верно. А когда возвращались, на обратном пути. Тоже рассказал?»

Он помотал головой.

«Правильно. Не надо её беспокоить. Между прочим, я как-то начинаю сомневаться... — Она закрыла глаза ладонью, в комнате стало сумрачно, стало холодно, зеркало белело в углу, белело окно. — Накрой меня ещё, вон там лежит... Я как-то... — бормотала она, стуча зубами, — начинаю... Меня тут многие считают помешанной, но уверяю тебя... б-р-р... Не надо было ездить... Ах, не надо было... И тебя ещё потащила с собой...»

Её голос, прерываемый кашлем, всё ещё слышался из-под одеяла и пледа, когда произошло событие, которому едва ли стоило придавать значение, а впрочем, как посмотреть, ведь память не гарантирует ни важности, ни случайности происходящего. В комнату вошла племянница. Или, что было правдоподобней, внучатая племянница, а ещё точней, седьмая вода на киселе. Та самая. Забежала к больной по дороге куда-то.

Волосы окружили её светящимся нимбом — теперь она стояла у окна, ее лицо погрузилось в сумрак.

Кажется, она училась в театральной студии. Что же вы ставите, спросила Анна Яковлевна. «Платон Кречет». Это что, из современной жизни? Замечательная пьеса, драма, сказала гостья. Но со счастливым концом. — И о чём же эта пьеса? — Ах, бабушка, долго рассказывать. Это такой хирург, он влюблён в одну девушку, а у неё отец умирает во время операции. Но, несмотря на это, они любят друг друга. — Извини меня, детка, я совсем бестолковая: кто это, они? — Я же говорю, Кречет и Лида! — Всё так же неожиданно она попрощалась, её глаза, золотисто-карие, взглянули на мальчика, каблучки простучали по коридору.

Самое удивительное состояло в том, что она была похожа на ту, другую, висевшую за комодом.

И это несмотря на то, что дама за комодом была, осторожно выражаясь, неодета, на племяннице же было платье и пальто.

В чем же тогда состояло это сходство? Ведь нельзя же себе представить, чтобы тебе, в этом возрасте, могло притти в голову, что если бы племянница сбросила себя всё, то оказалось бы, что она точь-в-точь та самая, в углу за комодом. Что она, чего доброго, позировала неизвестному художнику! И что это ошеломляющее открытие было сделано в те короткие минуты, когда девушка появилась в комнате, чтобы тотчас упорхнуть прочь. Vraiment,[1] малоправдоподобное предположение.

Необходимо объясниться. Наше описание жилища Анны Яковлевны будет неполным, если мы опустим одну немаловажную деталь: по обе стороны от окна помещались, одно за комодом, другое за диваном, два произведения искусства. Об иконе, висевшей, как полагается, в правом углу, много говорить не приходится, слава Богу, она не бросалась в глаза. (Хотя, если присмотреться, тоже кого-то подозрительно напоминала — уж не хозяйку ли комнаты? Но эта гипотеза — позднейшего происхождения). Гораздо занятней был другой, куда менее благопристойный, а лучше сказать, прямо-таки скандальный, портрет в затейливой раме с остатками позолоты. Писатель как будто даже не обращал на него внимания, а всё же нет-нет да и взглянёт.

«Comment la trouvez-vous, cette peinture?»[2] — осведомилась однажды, не без некоторого беспокойства, Анна Яковлевна.

Писатель молчал — не потому, что не умел ответить по-французски, а потому, что не знал, *что* ответить. Картина вызывала неясную тревогу.

Это был типичный образец буржуазного разложения предреволюционных лет. Представлена была нагая особа в бокале с шампанским — заметьте, не с бокалом, а в самом бокале, достаточно, впрочем, вместительном. Как она там очутилась? Одну ногу она подогнула, так как обе ступни не помещались на узком дне, прозрачно-золотистый напиток доходил ей до грудей; приглядевшись, можно было заметить, что пальцы другой ноги отталкиваются от стеклянного дна, — казалось, она старается всплыть.

Русалка потеряла рыбий хвост, — одно из возможных объяснений, —расщепившись внизу, превратилась в женщину. И вот теперь рвётся прочь, ищет выбраться из стихии, которая стала ей чуждой. При этом она не забывала прикрыть поджатой правой ногой низ живота, ведь она была женщиной. Её бёдра образовали форму слегка перекошенной лиры, подчеркнув изгиб её тела. Она тянется вверх. Вода ласкает живот с ямкой пупка, ласкает бёдра, вот, оказывается, в чём дело: влага делает почти ощутимым музыкальное струение линий тела. Маленькие груди — левая чуть ниже правой, так что сосок оказался ниже уровня жидкости, правая выступила из воды. Надо признать, умелый мастер! И к тому же себе на уме. Легко, почти шутя, ушёл от упрощённой симметрии, но не запретил зрителю почувствовать эту симметрию. Линия рук особенно удалась. Одна рука под водой скользит по стенке сосуда, другая тянется к тонкому краю. Длинные волосы колышутся на поверхности вод. Взгляд наблюдателя поднимается к животу и груди, к круглому подбородку, и тут его ожидает ещё одна странность, если угодно, фокус художника: переливы света в бокале, игра бликов на поверхности вина лишили это лицо сколько-нибудь ясного выражения. Оно как будто обращено к вам, как будто вопрошает о чем-то и тотчас тонет, не дождавшись ответа, в прозрачной и зыбкой, почти нематериальной среде, так и хочется сказать — в материи сна. И в самом деле: не подсказало ли

[1] Право же. (*фр.*)

[2] Как тебе нравится эта картина? (*фр.*)

сновидение художнику его сюжет? Или он попросту приглашает полюбоваться, хочет выразить весьма тривиальную мысль, что тело женщины красноречивей её лица?

Грамматика женского тела, может быть, и не столь сложна, не так уж много этих падежей и глагольных форм, и все времена заменены одним настоящим; зато стилистика, поэтика, внутренние рифмы и ассонансы — о, тут есть над чем потрудиться. Лицо одухотворяет чувственность тела; в свою очередь, нагое тело расшифровывает загадку лица. Мы переселяемся в иную эпоху, в иное настоящее, мысли такого рода бродят в голове у зрителя, пока, наконец, он не отводит глаза, отворачивается, чтобы стряхнуть минутный гипноз манерного, щекочущего эстетизма, вспомнить, где он живёт, в какой стране, в какое время.

Эта смешная картинка. Это лицо — лицо золотоокой племянницы, при всей абсурдности такого предположения. Было ли оно, это лицо, красивым? Задумчивость, неожиданная у девушки, поднявшейся из воды, — задумчивость о себе, о своей сущности, смутная догадка об участи, которая ждёт её в мире холодного воздуха, в чужой, опасной среде. Вода — ибо, в конце концов, это была первоматерия, из которой вышла новая Анадиомена, — вода не выталкивала её, вопреки физическому закону, напротив, тянула назад, в материнское лоно, оберегала от искушений, от насилия. Но, верная своему назначению, девушка рвётся ввысь, в мир, наружу. Её судьба впереди. Никакого представления о катастрофе, лишь смутное чувство, предвидение утраты.

Позвольте, однако: беседовать на подобные темы с ребёнком? (Если предположить, что такая беседа могла состояться). Или, вернее, с маленьким мужчиной — раз уж сомнительная картина притягивает его взгляд.

«Comment la trouvez-vous, cette peinture?»

Она и не ждет ответа.

«Видишь ли, что я хочу тебе сказать...»

Сейчас она скажет: ты уже не маленький. Как будто он и без того не понимает, в чём дело. Но, собственно, в чем?

«Когда-нибудь ты поймёшь: самое совершенное на земле, истинный венец творения, — да, не удивляйся, — это женщина... То, что некоторым людям кажется неприличным, на самом деле — красота. А красота, запомни это, не может быть неприличной, не может быть непристойной, красота есть нечто священное. Здесь, конечно, изображена идеальная женщина, было такое время, когда художники изображали идеальных женщин. Но я тебе скажу, что каждая женщина более или менее приближается к этому образцу. Не к этой картине, конечно, ты же понимаешь, что этот бокал, в котором она барахтается, — это шутка... Я говорю вообще».

Анна Яковлевна почесывает гребенкой в затылке.

«Ты можешь мне не верить, но я тоже была когда-то... — она вздыхает, — да, да, — она прикрыла глаза, кивает седой головой, — очень недурна собою!»

Мать застала тебя за рисованием. Ужас! В воде колыхается нечто, плывёт утопленница. Хищные рыбы ринулись за своей добычей. Вдали корабль спешит на помощь. У неё длинные волосы, и тянутся следом на поверхности вод.

«А уроки ты сделал? Я запрещаю тебе ходить к...»

V
Визит терапевта сам по себе есть лечебное мероприятие

14 апреля 1937

Доктор Арон Каценеленбоген, медицинское светило Куйбышевского района столицы, могучий, пухлый, с дорогим перстнем на указательном пальце и печаткой на мизинце, с уходящей к затылку сверкающей лысиной, сидел, расставив ноги по обе стороны живота, силился дотянуться губами до массивного носа, шумно втягивал воздух в широкие волосатые ноздри, решительно похлопывал себя по коленям и сдвигал брови, вновь погружаясь в таинственное раздумье.

«Доктор, — простонала больная, — я поправлюсь?»

Доктор Каценеленбоген хранил молчание.

«Я, кажется, вас о чём-то спросила!»

«Возможно».

«Что возможно?»

«Очень может быть».

«Что, что может быть?» — взывала она.

«Очень может быть, что вы поправитесь».

«Доктор, вы невозможны. Почему вы мне ничего не прописали?»

«Нет необходимости».

«Понимаю, — сказала она упавшим голосом. — Вы считаете, что я безнадёжна».

«Я этого не говорил».

«Но подумали. Скажите мне правду. Я должна подготовиться, написать завещание... Доктор, с кем я говорю: с вами или со стенкой?»

«В данном случае это одно и то же. Что вы от меня хотите?»

«Почему вы мне ничего не прописываете?»

«Потому что вы и так поправитесь».

«Я считала вас моим старым другом».

«Можете продолжать считать меня вашим другом».

«Сколько лет мы знакомы?»

Доктор Каценеленбоген возвёл глаза к потолку, пожал плечами.

«Я страдаю. Я, может быть, лежу на смертном одре. А вы ничего не предпринимаете».

Доктор поднял густейшие смоляные — явно крашеные — брови и на мгновение вышел из задумчивости. Втянул воздух в ноздри, повернул на пальце кольцо с жёлто-туманным камнем.

«Но я здесь, как видите. Да будет вам известно, что визит врача уже сам по себе является терапевтическим мероприятием. Надеюсь, вы и на этот раз убедитесь в этом... Пейте крепкий чай. Проветривайте комнату, у вас ужасная духота. Половину этого хлама, — он обвёл жильё презрительным взором, — давно пора выкинуть на свалку».

«Доктор, как вы смеете так говорить!»

Ответом был шумный вздох, опасно заскрипел единственный стул. Эскулап заколыхался, оборачиваясь.

«А-а, молодой человек. Сколько лет, сколько зим».

Писатель украдкой показал ему язык.

«Ай-яй-яй!» — сказал доктор.

Доктор медицины Арон Каценеленбоген проживал на Чистопрудном бульваре, в доме с барельефами фантастических зверей и растений в стиле «модерн». Те, у кого ещё есть охота и время пройтись по бульвару, без труда найдут этот замечательный дом. В годы, когда частную практику, разновидность эксплутации трудящихся, удалось, наконец, пресечь и домашний врач стал такой же архаической фигурой, как извозчик, вывеска с фамилией доктора и часами приёма по-прежнему красовалась у парадного входа, чему отчасти способствовала известность доктора Каценеленбогена, главным же образом то, что его частенько приглашали к влиятельным лицам. Рост и тучность, равно как и высокие гонорары, поддерживали репутацию доктора, который чаще ограничивался терапевтической беседой (обычно сводившейся к нескольким внушительным репликам), высоко ценил свежий воздух и лишь в крайних случаях прописывал пациентам лекарства, бывшие в ходу полвека тому назад.

Доктор Каценеленбоген разделял мнение герцога Ларошфуко о том, что у всех нас находится достаточно сил, чтобы переносить чужие страдания, и что, с другой стороны, мы никогда не бываем настолько несчастливы или настолько счастливы, как мы это воображаем. Он не надеялся на конечное торжество добродетели над пороком и не слишком верил в победу ума над глупостью. Доктор Каценеленбоген не любил рассуждать о вере и религии, справедливо полагая, что нет оснований считать человека образом и подобием Бога, коль скоро у Бога нет никакого физического облика, и втайне считал свою медицину вполне приемлемой заменой церкви; может быть, поэтому в его практике такую важную роль играла ритуальная сторона. И раз уж мы заговорили о вероисповедании, заметим, что та разновидность теизма, которую называют верой в исторический разум, нашему доктору тоже была чужда. К этому вопросу, впрочем, ещё предстоит вернуться.

Что же касается частной, или, по-тогдашнему, личной жизни доктора Каценеленбогена, о ней было известно немногое. Доктор был вдов. Хозяйство вели домработницы или, если угодно, экономки; некоторые были его пациентками, другие спаслись от колхозов, сумев при содействии доктора зацепиться в Москве; все эти девушки, сменявшие друг друга, не упускали случая намекнуть в тесном кругу, что они удостоились чести состоять в интимных отношениях с их покровителем, но какова была доля правды в этой похвальбе, сейчас решить невозможно.

«Доктор, я, кажется, не успела рассказать вам, при каких обстоятельствах я простыла...»

«Это хороший признак».

«Я не понимаю!»

«Если вы готовы приступить к рассказу, значит, дела не так уж плохи».

«Но я чувствую, что у меня воспаление лёгких!»

«Будет лучше, — отвечал доктор Каценеленбоген, — если вы предоставите право ставить диагноз более компетентным людям».

Что же это были за обстоятельства?

VI
Уступка беллетризму. О чём она собиралась рассказать

8 апреля 1937

Дела давно минувших дней; впрочем, как уже сказано, занимательность важнее истины. Некоторые подробности, принимая во внимание возраст Анны Яковлевны и другие обстоятельства, могут быть оспорены. Но что такое истина?

Спать не на кровати, есть не за столом — мы уже слышали эти слова. Комната Анны Яковлевны демонстрировала главное, может быть, величайшее завоевание революции, ее важнейший урок, а именно, что без многого можно обойтись. Многое, как выяснилось, было попросту излишним. «Так теперь принято». И в самом деле, стол занял бы слишком много места. Не нужна и кровать, если есть диван. Не говоря уже о том, что оказалось вполне возможным обойтись без Бога, а заодно похерить и государя. Было ли в комнате зеркало, куда можно посмотреться? «Глупая женская причуда, к чему? — говорила Анна Яковлевна. — Я хочу остаться в моей памяти такой, какой я была когда-то. Можешь мне поверить: ко мне летели все сердца». Но зеркало все-таки было.

«Не хочу видеть себя, — сказала она, от ложного, эфемерного образа в поцарапанной амальгаме поворачиваясь к истинному: к фотографии на комоде. — Дама не может появиться одна, надеюсь, ты не откажешься меня сопровождать...»

Не удержавшись, она вновь покосилась на тусклое своё отражение.

«Mon Dieu, как я всё-таки постарела. Сколько мне можно дать, как ты думаешь?»

Ты стоял рядом с ней, ты стал выше с тех пор, как её посетил купец Козлов, а она ещё ниже, и теперь вы были одного роста. В остальном мало что изменилось, если не считать перемен в составе атмосферного воздуха. Что-то происходило в мире, правда, никто толком не знал, что именно происходило. Кое-какие новшества не могли остаться незамеченными: булыжник в переулке сменился асфальтом, чахлый скверик рядом с посольством был обнесён забором, там стояла строительная вышка, это была шахта метро. Потом и она исчезла, и появилось рядом с Хоромным тупиком, лицом к Садовому кольцу и народному комиссариату путей сообщения, изумительное сооружение — похожая на вход в туннель станция подземной железной дороги. Что касается воздуха, то, хотя он по-прежнему состоял из азота и кислорода с незначительной примесью инертных газов, но азота стало больше и к нему присоединилось нечто изменившее прозрачность атмосферы. Крупные объекты, как-то: дома и дворы, подъезды и подворотни, по-прежнему были хорошо различимы, но те, кто ещё недавно выходил из подъездов, останавливался перекинуться словечком с соседом, заглядывал в керосиновую лавку, выстраивался в хвост перед продовольственным магазином, — короче, вчерашние обитатели дома и переулка, — растворились в этом воздухе один за другим. Бог знает, что с ними случилось, пропали или стали невидимы, вчера были, сегодня их нет и даже вроде бы никогда не было. Помутнение атмосферы достигло такой степени, что сейчас уже трудно объяснить, каким образом удалось отыскать извозчика, вернее, как он нашёл дом в Большом Козловском переулке. Но мы забежали вперёд: Анна Яковлевна всё ещё в сборах.

«Теперь ты должен отвернуться. Или, пожалуй, выйди... я позову».

Писатель — незачем напоминать, что он был и певцом, — сидя на сундуке в коридоре, пел гимн метрополитену:

«Где такие залы, подземные вокзалы, подземные порталы блестят, как серебро!».

Наконец, из-за двери послышался голос Анны Яковлевны. Он вошёл.

«Voilà!»

Писатель молчал, лишившись дара речи.

«Où est votre compliment? В таких случаях, да будет тебе известно, полагается сказать даме комплимент. — Дрогнувшим голосом она произнесла: — Ну, как?»

Анна Яковлевна ослепительна. Её глаза затуманены. Чёрное, длинное, до полу, шёлковое платье висит на её тощем тельце. Что-то мелко поблескивает на груди, переливается жёлтыми и лиловыми искрами. Некогда мама высказала предположение о припрятанных брильянтах. Брильянты не брильянты, но с ушей свисают мутно-жёлтые стекляшки, и шею обвило такое же ожерелье. Анна Яковлевна стояла, пошатываясь на высоких туфлях, и как будто не знала, куда деть голые руки в чёрных, длинных, как чулки, перчатках до локтей. Её седые волосы были взбиты и приобрели неожиданный лиловый оттенок.

«Как ты меня находишь? А? — громко дыша от волнения, повторила она. — Я тебе не нравлюсь?»

Писатель по-прежнему безмолвствовал, открыв рот, взирал на неё с испугом и восхищением.

«Духи!» — приказала она, теперь её голос вновь звучал повелительно, как у герцогини. Мальчик подал с комода пустой флакон. Анна Яковлевна потряхивала духами на грудь и плечи, прыскала на ладонь воображаемой жидкостью, провела пальцами за ушами и вдоль шеи. Чудо: слабый, сладко-удушливый запах распространился в комнате.

«Mon éventail. L'éventail!», — повторила она нетерпеливо. Мальчик не знал это слово. Он попытался раскрыть эту странную вещь, сандаловый веер, скреплённый нитками, Анна Яковлевна выхватила ветхую принадлежность из его рук. Анна Яковлевна сама повязала ему тщательно отглаженный красный галстук. Наконец, была накинута шуба с воротником, по которому уже прошлись когти времени, прогулялась моль. Извозчик ждал у подъезда.

И это дивное путешествие началось, ехали, покачиваясь на рессорах, вдоль слепых домов, мимо тёмных оград по Большому Харитоньевскому, миновали Мыльников, Гусятников, а там Чистые пруды, и в лицо повеял свежий дух весны, и, высекая искры из-под колёс, вдоль бульварной ограды громыхал светлый пустой трамвай. А там Мясницкая, которая теперь называлась улицей Кирова. Было весело, томило нетерпение, цокали копыта, туман окутал висячие фонари, кучер молча восседал впереди, в глубине экипажа под натянутым верхом блестели глаза Анны Яковлевны. Пусть твоя мама не беспокоится, говорила она, до рассвета успеем вернуться.

«Пожалуй, я расскажу тебе кое-что. Чтобы ты не скучал... Извозчик!» — сказала она громко.

«Да, мадам».

«Я надеюсь, вы не забыли адрес».

«Сорок лет ездим. Уж нам ли не знать».

«Поторопите лошадей. Мы должны к десяти непременно поспеть».

«Слушаю, мадам».

И подковы застучали чаще, карета колыхалась, шуршали резиновые шины.

«Скажу тебе по секрету, — шепнула она. — Может быть, мы увидим государя».

«Кого?»

«Государя императора».

«Николашку?»

«Фу! Стыдись».

«Его пустили в расход», — сказал мальчик.

«Этого не может быть. Этого никогда не было. Ложный провокационный слух».

«Так ему и надо».

«Как ты смеешь так говорить! Ты это всерьёз?.. Извозчик!»

Голос свыше откликнулся:

«Да, мадам».

«Остановите лошадей. Я с ним дальше не поеду».

На короткое время воцарилось напряжённое молчание, оба вслушивались в дробный цокот копыт, экипаж трясся, нёсся; наконец, она проговорила:

«Я понимаю, ему можно было предъявить кое-какие претензии. Да, я это признаю. Говоря откровенно, и, разумеется, entre nous, это был никуда не годный монарх. Но расстрелять!.. — Она вздохнула. — Я знаю, что этого не было, уж я-то знаю, поверь мне. Но допустим... допустим, что это случилось. Можешь ли ты мне объяснить: за что?»

«За то, что он был оплотом контрреволюции».

«Тпрру!»

Два рысака, с оглоблей посредине на немецкий лад, нервно перебирают точёными ногами перед роскошным подъездом.

«Сперва ты. Подать даме руку».

Подобрав шубу и платье, она собирается вылезти. Писатель выпрыгнул из кареты. Но не успел он выполнить долг мужчины, как перед ними очутился страж порядка.

Mon Dieu, какой порядок они нарушили?

VII
Похороны Максима

8 апреля (продолжение)

«Это недоразумение. Вы не смеете. Это неслыханно, — говорила Анна Яковлевна. — Дайте мне руку, я хочу вылезти».

«Здесь останавливаться не положено. — Кучеру: — Проезжай».

«Извозчик! стоять на месте. — Её глаза метали искры из полутьмы. — Это неслыханное самоуправство. Я приглашена... мы оба приглашены. Я требую объяснений. Но дайте же мне, наконец, выйти! Нет, я с подобным поведением ещё не сталкивалась. Требую, чтобы вы извинились».

«Гражданка, — усмехнулся милиционер, — вы, по-моему, перепутали адрес».

«Нет уж, извините. Адрес Благородного собрания мне прекрасно известен».

Он прищурился.

«Какого собрания, чего ты мелешь?»

Анна Яковлевна, путаясь в платье, выбралась из коляски.

«Та-ак», — проговорил милиционер, оглядев её сверху вниз и снизу вверх, и вставил в рот что-то висевшее у него на груди. Пронзительный птичий свист заверещал на всю Дмитровку и пустынный Охотный ряд, и тотчас из-за угла вышагнул второй.

«Товарищ старший лейтенант...»

«В чём дело?»

«Да вот тут...»

Товарищ старший лейтенант спросил документы. Возница неподвижно сидел на козлах, лошади стояли понурившись, было холодно, зябко, туман наплывал на город и оседал мелкими каплями на бывшем меховом воротнике Анны Яковлевны, на милицейских шинелях, на кургузом пальтеце писателя. Она рылась в музейной сумочке. Траурные полотнища подъезда вздрагивали под мозглым дуновением весны, высокие окна Колонного зала отсвечивали темно и мертво, всё кончилось, если вообще когда-либо начиналось. Анна Яковлевна испустила трагический вздох, «слава Богу, — бормотала она, — хоть паспорт вернули... mais c'est incroyable, это уму непостижимо!» Молча ехали по знакомым улицам. Кучер размышлял, сворачивать на бульвар или дальше по улице Кирова, к Красным Воротам; поровнялись с порталом главного почтамта, и тут навстречу пронёсся таинственный ветерок, показались во мгле красные огни — поистине это была ночь сюрпризов. Анна Яковлевна растолкала спящего писателя.

Киров, будь он неладен, едет с Ленинградского вокзала по улице его имени, бывшей Мясницкой, в Колонный зал, и не этим ли объяснялось наглое поведение милиционеров. Но нет, — да и вряд ли составитель этой хроники помнит проводы Кирова. Нет, это не был любимый Сергей Миронович, вождь питерского пролетариата, тёмная личность, герой, предательски застреленный в коридорах власти. Это был, о ужас... vous avez eu raison, прошептала потрясённая Анна Яковлевна, ты был прав.

Заметим, однако, что и тот, кого везли навстречу, в некотором смысле сравнялся с казнённым Кировым в силу непостижимой иронии рока. По крайней мере, мог с таким же правом стать героем известной песни *Помер Максим*. Нигде так явственно не звучит глас народа, как в непристойных куплетах, и ничто с такой очевидностью не выражает величественного равнодушия истории к свершившемуся. *Помер Максим, ну и хрен с ним!* (Или там было употреблено выражение покрепче?)

Экипаж пошатнулся, лошади втащили карету с Анной Яковлевной и писателем на тротуар. Пламя дрожало в стёклах нижних этажей, мелькало в провалах витрин. Анна Яковлевна быстро, нервно перекрестилась. Прошагали факельщики в длинных одеяниях, в шляпах с полями, отогнутыми книзу. Проследовали, кивая султанами, ступая тонкими ногами, две пары вороных лошадей под чёрно-жёлтыми попонами с двуглавой птицей. Проплыл балдахин. Четыре капитана, дворяне древних кровей, стоя по углам катафалка, высоко держали раструбы горящих светильников. Последним шествовал, весь в чёрном, демон в маске, вёл под уздцы верховую лошадь в плаще до копыт.

Нисходит ночь с темнеющих небес. Пустеет улица, и глохнет поскрипыванье колёс роскошного погребального экипажа, ни души в переулках, ни одного нищего на тротуаре, ни единой влюблённой пары в подъездах. Слышно, как вздыхает во сне огромный город. И вот начинает дрожать тёмный пахучий воз-

дух, трепет проносится по проводам, запевают лиловые фонари. Голоса вступают один за другим, низко, глухо, с хрипотцой, но всё чище и уверенней. Хорал огней уносится мимо спящих домов, гремит над площадями, и в тон ему пробуждаются куранты древней башни, бьют чугунные колокола, поддакивают колокольчики, и ещё какие-то подголоски доносятся снизу из подземелий, жалобные дисканты, фальцеты. Слышишь? — говорит Анна Яковлевна. Что это, спрашивает мальчик. Слышишь — это ночная музыка города. Не каждый достоин ей внимать. Не каждому удаётся её расслышать.

Въехали в Козловский.

VIII
Палеонтология времени (2). Размышления a posteriori. Непредвиденный ход событий

27 ноября 1941

Анна Яковлевна вспомнила, что уже много дней не отрывала листки настенного календаря. Между тем время идёт, события налезают друг на друга, с грохотом, с треском, как льдины на реке во время ледохода. Трещит и крошится эпоха. Самые разные происшествия совершаются одновременно, под общим знаком, в едином ключе, но лишь годы спустя осеняет мысль о тайной перекличке, о взаимозависимости; эта зависимость кажется объективным фактом. Вопрос, не есть ли она умозрительный конструкт. Но ведь именно так пишется летопись времени. Так скрепляются проволокой фрагменты черепных костей, кусочки рёбер и позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Был ли он таким на самом деле, выглядел ли таким, когда ещё ходил по земле?

Молниеносный польский поход, чуть ли не играючи покорена Франция; артиллерия, ракетные установки нацелены на Британские острова, сухопутные войска готовы к вторжению, но затем планы меняются, и гигантская рать пересекает границу восточного соседа от Балтики до Карпат. Ранние морозы сковали грязь на дорогах, облегчив наступление, но застигли врасплох армию, ведь никто не рассчитывал, что покорение России затянется, потери от обморожений превысили вдвое потери от ран. Меньше месяца осталось до Рождества, когда, наконец, увидели с холмов Подмосковья, в огромных цейссовских биноклях, звёзды на башнях византийской столицы.

Здесь стоит роковая дата — сколько дней и ночей протекло с тех пор? Век миновал, «наш» век, и, мнится, время собрать камни. Найти общий знаменатель, соединить диагоналями события, как соединяют звёзды линиями на карте неба, чтобы вышло созвездие. Доступно ли это нам, доступно ли тебе, живому свидетелю, недобитой жертве? Скажут, что получается круг, называемый petitio principii: вопрошая, каков облик эпохи, мы уже исходим из представления о некой единой эпохе, а ведь её ещё нет. Ещё предстоит собрать её по кусочкам, и Бог знает, получится ли что-нибудь путное из разрозненных обломков.

Анна Яковлевна сняла со стены календарь и вышла из комнаты умыться. Её наставления, начертанные красивым наклонным почерком по линейкам, висели в коридоре, в уборной, на кухне. Всё функционировало, горели тусклые лампочки, медленно обращалась красная метка диска за стеклом электрического

счётчика. Телефон молчал. Двери жильцов заперты, не слышно ни голосов, ни радио. Все уехали.

Анна Яковлевна боялась выходить на улицу, неизвестно было, работают ли магазины и керосиновая лавка. Она варила кашу из запасов крупы на электрической плитке, пренебрегая заветом экономить энергию. По ночам не спала, полуодетая, готовая ко всему, лежала, накрывшись одеялом и пледом, и погружалась в бесконечные воспоминания. Ночью она говорила себе, что настоящее безумно, будущего у неё не было — она и не горевала об этой потере, — важно было лишь прошлое, ибо в нём содержалось и то, что было, и то, что произошло потом; прошлое было не чем иным, как предсказанием и предвестием настоящего, и, глядя в прошлое, она различала в нём, как в тусклом зеркале, сполохи сегодняшнего дня. Под утро её одолевал сон. Однажды раздался звонок в коридоре. Анна Яковлевна прислушалась; звонок повторился. Она поднялась со своего ложа, проковыляла, не зажигая свет, по коридору к дверям. Почтальон, в фуражке с загнутой кверху тульей, в шинели с воротником и отворотами из собачьего меха (она подумала, что ввели новую форму), ждал на площадке, сверху из окна между маршами лестницы сочился призрачный свет. Был пасмурный день.

Она спросила: «Телеграмма?» Вместо ответа ей самой был задан вопрос — ошеломлённая, она ничего не понимала и, однако, поняла; почтальон говорил по-немецки. Он осведомился, здесь ли проживает госпожа Тарнкаппе. И она ответила автоматически: das bin ich (это я), после чего офицер, коротко сказав: darf ich? (разрешите?), вошёл в коридор.

Анна Яковлевна не решалась спросить, что всё это значит, кто он такой. Офицер снял фуражку, щёлкнул каблуками и представился. Прошу, пробормотала она на языке, которым не пользовалась полвека. Вошли в комнату, он окинул стены светлым, льдистым взглядом, Анна Яковлевна взяла у него фуражку, он сбросил собачью шинель на диван, пригладил светлые волосы. Офицер сидел на низком диване, расставив ноги в узких глянцевых сапогах, на нём был голубовато-серый мундир с красной орденской ленточкой между серебристыми пуговицами, что-то вроде вензеля на узких погонах. Чёрносеребряная нашивка над правым карманом: орёл с геометрическими крыльями и свастика. Она не верила своим глазам, не верила ушам.

Офицер спросил: «Откуда это у вас?» Он смотрел на картину в углу между окном и комодом.

Анна Яковлевна не нашлась, что ответить, и пожала плечами.

«Оригинал? Вы знаете, что это за художник?»

Она пролепетала что-то.

«Правильно. Лео Пуц. Das Mädchen im Glas.[1] Мюнхенская школа... — Он добавил после некоторого молчания: — Довольно странное соседство, вы не находите?»

Она не поняла.

«Я говорю, странное соседство. — Он показал на икону в другом углу. — Византийская богоматерь и эта юная дама в бокале».

Анна Яковлевна сжала виски ладонями, ощупала узелок волос на затылке, послушайте, пролепетала она. Офицер взирал на неё несколько иронически.

«Послушайте... Может, это всё-таки ошибка?»

Она чуть не спросила: может быть, вы мне снитесь?

«Вы имеете в виду...?»

[1] Девушка в бокале (*нем.*).

«Я ничего не понимаю».

«Включите радио».

Она возразила: радио не работает.

«А вы попробуйте».

Музыка, металлический голос диктора. Гость встал и повернул винт; чёрный рупор умолк. Офицер опустился на диван. Есть ли кто-нибудь ещё в квартире, спросил он. Анна Яковлевна покачала головой. Выходит ли она из дому, известно ли ей, что происходит в городе?

«Немецкий капитан является к вам с визитом, не наводит ли это вас на некоторые, скажем так... догадки? Ну хорошо, — он улыбнулся, — не буду вас мучить. Все плохое уже позади. Операция Тайфун успешно завершена. Правда, с опозданием, по причине ужасных дорог. Да и погода не благоприятствовала. Русский климат, ничего не поделаешь!»

Анна Яковлевна молча, с ужасом, зажав рот ладонью, воззрилась на него, капитан закинул ногу на ногу, покачивал носком сапога, постукивал ладонью по колену.

«Военные действия ещё не закончились, но это, я думаю, дело двух-трёх недель, не больше... Три дня назад четвёртая и девятая армии вошли в Москву. Это для сведения».

«Город сдан?»

«Sie sagen es, Frau Baronin».[1]

«Пожалуйста, не называйте меня так».

«В чём дело? Большевиков уже нет».

«Но мы, кажется, перешли в наступление...»

«Кто это — мы? — сказал он презрительно. — Вы хотите сказать: они. Можете не волноваться. Ложный провокационный слух».

«А как же Сталин?»

«Сталин бежал. Ушёл от ответственности. К сожалению, мы не смогли этому воспрепятствовать. В городе спокойно. Оккупационные власти следят за порядком. Есть кое-какие разрушения, но мы постараемся как можно скорее расчистить завалы, всё будет приведено в порядок. So ist es, Gnädigste».[2]

Молчание.

«Я рад, что вы не забыли родной язык».

«Я бы хотела его забыть», — пробормотала Анна Яковлевна.

«Ну, ну, ну. Не надо так говорить. Разве это такая уж неожиданность для вас? Я имею в виду развитие событий. С первых же дней было ясно, что Красная Армия продержится недолго. Впрочем, мы знали это заранее. Колосс на глиняных ногах. Если бы не погода, я думаю, всё завершилось бы ещё в сентябре».

«Вы сказали, война не кончена...»

«Фактически она уже закончена».

Снова пауза, тишина, офицер, это видно по его глазам, по тому, как он постукивает ладонью по обтянутому сероголубой тканью колену, собирается приступить к главной теме.

Как он её разыскал?

«О, это не представляло большого труда. У нас есть списки».

«Позвольте всё-таки... Чем я обязана чести?..»

---

[1] Совершенно верно, баронесса. (*нем.*).

[2] Вот так, сударыня. (*нем.*).

«Вы хотите сказать, чести моего посещения? Чувствуется прекрасное старое воспитание. Но я полагал, что вы и сами догадались, с какой целью я разыскал вас».

«Keine Ahnung».[1]

«Вы последняя, оставшаяся в живых наследница старого рода. Ваш муж погиб...»

«Жених...» — пробормотала она.

«Прошу прощения. Ваш жених погиб от рук большевиков».

«Откуда это известно?»

«Нам всё известно. Вы бывшая владелица этого дома».

«Мы здесь не жили...»

«Да, это был доходный дом. Семья жила... позвольте, где же находился особняк родителей? Ах да, вспомнил: на улице Поваров».

«На Поварской. Он сгорел».

«Ваш дом сгорел, имущество разграблено, мужчины расстреляны, вы сами чудом уцелели. И вот на склоне лет, одинокая, бесправная, в вечном страхе за свою жизнь, вы ютитесь в этой комнатушке, в квартире, где некогда жила одна семья, как и в других квартирах, а теперь её заселил всякий сброд... Не достаточно ли всего этого?»

Анна Яковлевна молчала. Умолк и офицер.

Он взглянул на часы, хлопнул себя по колену.

«Всё это теперь миновало, как дурной сон. В ближайшие недели будет заключено перемирие, Россия становится союзником рейха, состав будущего русского правительства уже известен. Но я полагаю, — впрочем, вопрос этот, как вы догадываетесь, уже согласован... — я полагаю, что дожидаться, когда новый порядок будет окончательно установлен, нет необходимости. Я предлагаю вам, баронесса, вернуться в Германию. Я не могу представить себе, что́ могло бы вас удерживать здесь, в этой злополучной стране, после всех бед, выпавших на вашу долю...»

Анна Яковлевна по-прежнему безмолвствует. Лицо капитана приняло непроницаемо-каменное выражение. Офицер сидит, прямой, неподвижный, с задранным подбородком, хрустальные глаза устремлены на хозяйку, но как будто не видят её.

Это что, приказ, прошептала она.

Он усмехнулся.

«Это не может быть приказом. Это приглашение. Вы немецкая дворянка, немецкая кровь течёт в ваших жилах. Вам будет немедленно предоставлено германское подданство, назначена пенсия».

«А если я откажусь?»

«В самом деле? (Подняв брови). Das ist doch nicht Ihr Ernst».[2]

«Вы увезёте меня насильно?»

Капитан вздохнул. Сумашедшая, подумал он. Ничего не поделаешь, возраст. Или до такой степени запугана, что...

«Конечно, нет. Никто не заставляет вас уезжать против вашей воли. Как я уже сказал, это приглашение. Как немка...»

«Mein Herr, — промолвила Анна Яковлевна, — я русская».

«Вы имеете в виду, — он показал подбородком на икону, — православное вероисповедание? В Германии русская церковь не преследуется, напротив. Мы

[1] Понятия не имею. (*нем.*).

[2] Вы это всерьёз? (*нем.*).

видим в ней союзницу в борьбе за освобождение России от еврейско-большевистского ига».

«Я русская, я прожила здесь всю жизнь. И здесь умру. Воля ваша, но я никуда не поеду».

Гость склонил голову набок, с любопытством разглядывал Анну Яковлевну; внезапно грохнуло за окном, задребезжали стёкла.

«Виноват, — отрывисто сказал капитан. — Я должен идти».

Он коротко кивнул, надел фуражку. Хлопнула парадная дверь. Анна Яковлевна сидела, не двигаясь, и ждала следующего взрыва. Немного погодя снова тенькнул коридорный звонок; оккупант возвратился. Или?..

IX
Диспут

27 ноября 1941 (продолжение)

«Как! вы в городе?»

«Увы, — отвечал, входя, доктор Каценеленбоген. — Я должен был уехать с внучкой, но мы потеряли друг друга в толпе, вы же знаете, что творилось».

«Я ничего не знаю».

«Ваше счастье. Это был какой-то ужас. Вдруг пронёсся слух, что немцы якобы уже в Химках. На вокзалах столпотворение. Одним словом, мы разминулись, а это был последний поезд».

«А ваша, э...?»

«Домработница? — Доктор пожал плечами. — Сбежала куда-то».

«Значит, вы теперь один».

«Один. Но, слава Богу, отогнали фрицев; я слышал, что из Сибири прибыло подкрепление».

«Из Сибири?»

«Или с Дальнего Востока. Свежие силы. Я думаю, в ближайшие дни наступит перелом».

«Дорогой мой... — сказала Анна Яковлевна, — я должна вас огорчить. У меня другие сведения. Но, ради Бога, раздевайтесь. Садитесь... Сейчас я сделаю чай».

«О! — сказал доктор Каценеленбоген, потирая ладони. — Горячего чайку было бы недурно. А у вас, похоже, вся квартира эвакуировалась?»

Она вернулась из кухни с чайником. Осторожно спросила, не попадался ли ему кто-нибудь навстречу в переулке.

«Город вымер».

«Доктор. К великому сожалению, у меня другие новости. Но я вижу, вы совершенно замёрзли».

«Продрог. Какие же новости?»

«Тут осталось немножко варенья. Ещё чашечку?.. Вы говорите, подкрепление. Друг мой... — Шопотом, вперившись в доктора глазами, полными слёз: — Они в городе!»

«Кто?»

«Немцы!»

«Как! Что? Кто? Не понимаю».

«Да, — простонала она. — Я только что узнала».

Доктор Каценеленбоген воззрился на неё, подняв густейшие брови. «Да, да», — шептала Анна Яковлевна.

«Дорогая моя, успокойтесь. Всё будет хорошо».

«Доктор... мы погибли. Всё пропало».

Доктор Каценеленбоген вытянул из жилетного кармана крохотный флакон, схватил чашку, накапал. «Вот, — сказал он. — Выпейте... Этого не может быть и никогда не будет, это противоречит здравому смыслу».

«Господи, какой там здравый смысл...»

«Я своими глазами видел, как наши бойцы прошагали по Садовой, как шла кавалерия. Своими глазами».

«Друг мой, вы грезите, мы оба грезим...»

И тут опять, как набат, теньканье в коридоре.

«Это, наверное, он», — прошептала Анна Яковлевна.

«Кто — он?»

Анна Яковлевна, стиснув ладони, обвела глазами комнату, милый, дорогой, бормотала она, вам надо... Длинный раздражённый звонок потряс квартиру, ещё один, и ещё.

«Вам надо спрятаться, идите в уборную, запритесь там... Это немец, он уже был здесь... Кто там?» — спросила она, величественно плывя к парадной двери, послышался чёткий ответ, она вынула из гнезда дверную цепочку и отвернула защёлку английского замка.

Офицер в шинели с собачьим воротником прошагал мимо сундука и вступил в комнату.

Увидев чашки:

«Sie haben Besuch».[1]

«Только что ушли».

«А я решил зайти к вам ещё раз. Может быть, вы передумали».

Он снял фуражку, расстегнул шинель, уселся, не дожидаясь приглашения.

«К сожалению, мне нечем вас угостить. Может быть, чаю?» — сказала она холодно.

«Благодарю. Вы не ответили...»

«Видите ли, mein Herr...» — и осеклась. Оба услышали торжественные шаги — появился, держа на руке щёгольское пальто, с величественной миной, доктор Каценеленбоген.

«Доктор, — пролепетала Анна Яковлевна, — позвольте вам представить... э...»

«Капитан Вернике. Я знал, что тут кто-то есть... Herr Doktor spricht deutsch?»

«Да, — сказал врач, — я говорю по-немецки».

«Приятно встретить культурного человека. Где вы научились языку, если позволите спросить?»

«Доктор, присядьте... вот тут можно...»

«Я учился в Гейдельберге. Это было давно».

«Как я понял, вы медик?»

Большой, грузный доктор Каценеленбоген, облачённый в костюм-тройку из английского коверкота, в широком галстуке и с цепочкой от часов на огром-

[1] У вас гости. (*нем.*).

ном животе, с опаской косился на стул, сопел, мрачно поглядывал из-под бровей.

«Для всех нас это новость... Мир сошёл с ума», — промолвила хозяйка.

«То, что мир сошёл с ума, что время сорвалось с оси, это знал ещё принц Гамлет, — возразил Вернике, — для вас это новость?.. Ах да, вы имеете в виду поражение Советов. Но, по здравому размышлению, это не должно удивлять. А вот вы меня, действительно, удивляете тем, что ни о чём не слыхали. Кстати, Наполеон тоже был в Москве».

«Да, но чем это кончилось», — сказал врач.

«Доктор, может быть, всё-таки вы присядете», — сказала Анна Яковлевна.

«Отлично знаем, — сказал Вернике, — как это началось и чем кончилось. Это были другие времена...»

«И другие завоеватели, хотите вы сказать?»

Стул затрещал под доктором, однако уцелел. Наступила пауза, мужчины вглядывались друг в друга. Наконец, капитан произнёс:

«Я счастлив, что я увидел столицу царей, наследницу Византии. Эти башни, эти купола древних соборов. Счастлив, что имею возможность побывать в образованном кругу, где можно обменяться мнениями, так сказать, неофициально».

Гость умолк, ожидая ответа, и продолжал:

«Кстати, не лишено некоторой парадоксальности, что представителем русской интеллигенции в данном случае оказался, гм... Вы, если моё предположение правильно, иудей? Впрочем, оставим это. Хочу заметить, что население встречало немецкие войска с энтузиазмом».

«Вы так полагаете?»

«Я этому свидетель».

«С энтузиазмом... — проговорил доктор Каценеленбоген и похлопал себя по коленям. — Надолго ли?»

«Освобождение от тирании большевизма не могло не вызвать сочувствия. Как вы считаете?»

«Я не знаю, уместно ли здесь это слово: освобождение».

«Ага, вы так считаете. С политической точки зрения, кто же будет спорить, большевизм — наш враг. Но, в конце концов, политика — достояние узколобых умов. В некотором более высоком смысле наши цели были одни и те же».

«Какие же?» — поднял брови доктор Каценеленбоген.

Вернике усмехнулся.

«Были — я подчёркиваю. Видимо, для вас это тоже новость, попробую объяснить. Мы, как вам известно, националсоциалисты. Сталин провогласил социализм в одной стране — национальный социализм, обратите внимание на совпадение терминов. Ленинская мировая революция, разумеется, нонсенс, и можно лишь удивляться тому, что трезвый политик верил в эти фантазии, чисто русская черта, впрочем. Сталин исправил Ленина. Невозможно всколыхнуть сразу всех. История предназначила двум нациям роль зачинателей. Если хотите — поджигателей. Простите, если позволю себе несколько патетический стиль, но ведь иначе об этом не скажешь — только огонь очистит мир. Нужно спалить обветшалый клоповник истории. Взорвать публичный дом западного либерализма... Германия и Россия — вот кому предстояло огнём и мечом проложить путь для других народов».

«Допустим. Но зачем же тогда понадобилось...»

«Минуточку, герр доктор, дайте мне договорить. Великая немецкая национал-социалистическая революция, как и русская революция, была направлена против гнилого упадочного Запада. Мы, немцы, — срединная держава, мы не Запад в том смысле, в котором говорится о Франции или Англии, мы — фаустовская культура, устоявшая против торгашеской цивилизации, но, в отличие от вас, мы сочетаем здоровый почвенный романтизм с железной дисциплиной. Западная демократия изжила себя. Либерализм на данном этапе, быть может, самый страшный враг человечества. Демократия выродилась, продалась капиталу — это не демократия, а плутократия... Вы хотите что-то сказать, возразить?»

Доктор молча смотрел на капитана, как врач оглядывает больного. Кивнул, убедившись, что диагноз подтверждается.

«Но русская национальная революция провалилась, её идеалы извращены. Будем смотреть правде в лицо, я не хочу вас оскорблять, но вы же не станете отрицать, что власть в этой стране захватила еврейско-большевистская клика. Мы должны были её сокрушить, вернуть России её предназначение. Два цвета нашего времени, нашей великой эпохи — красный и чёрный, цвета борьбы и трагизма. Жертвенная кровь и геройская смерть».

Анна Яковлевна прислушивалась к тишине в квартире и, как ей казалось, во всем городе.

«Вы видите, — Вернике снова нарушил молчание, — я перешёл к главному, хотя в двух словах изложить всё это трудно. К сожалению, у нас мало времени...»

«И в чём же состоит это главное?» — спросил доктор Каценеленбоген.

«Одну минуту. Где у вас телефон? Есть у вас телефон?»

«В коридоре, — сказала Анна Яковлевна. — Но он, кажется, не работает».

«У нас всё работает. Так вот, — сказал Вернике, возвращаясь. — Переживание истории как борьбы высшего начала с низшим и неполноценным, молодости со старостью, идеализма с материализмом — всё это только разные проявления, если хотите, иносказания фундаментального конфликта. Конфликта эстетики с безобразием. Вот разгадка истории! К несчастью, русская нация лишилась инстинкта красоты. Он был присущ ей когда-то, в былые века, иначе откуда бы взяться этим дивным храмам, этим фрескам, возродившим угасшее искусство Византии...»

Капитан Вернике умолк, ответом было молчание.

«Да, лишился этого чувства, этого понимания красоты. Иначе он почувствовал бы, насколько уродлив и антиэстетичен навязанный ему режим. Этот народ нуждается в перевоспитании...»

«По моим воспоминаниям... — промолвил, наконец, доктор Каценеленбоген, стараясь дотянуться до носа верхней губой, — по моим воспоминаниям, Германия — страна прекрасных ухоженных городов, чистых улиц. Это была страна порядочных людей. Но что касается эстетики... Впрочем, я не специалист».

«Вот именно. А я по образованию историк искусств. Вы побывали в рейхе, но, как я понимаю, не застали великие дни. Если бы вы увидели однажды этот марш отборных отрядов, с головы до ног одетых в чёрное, под кровавыми стягами, погрузились в эту стихию мужественности, музыки, молодости... Не думайте, что я вульгарный расист. Для меня понятие расы — это прежде всего духовная категория. Коллективная душа! Вот истинное средоточие исконных расовых начал. Увы! — воскликнул Вернике, вставая с ветхого дивана. — Die Zeit

ist um.[1] Машина ждёт у подъезда. Я, собственно, — отнёсся он к доктору, — пришёл за вами».

Он застегнул собачью шинель, взялся за козырёк фуражки.

«Баронесса, честь имею. Подумайте ещё раз над моим предложением... Вас попрошу следовать за мной».

«Куда?» — спросил доктор Каценеленбоген.

«Как это, куда. Разве вы не видели объявлений в городе? Вы ещё вчера должны были явиться на сборный пункт».

«Господин офицер! — взмолилась Анна Яковлевна. — Господин офицер... Куда, за что? Доктор Каценеленбоген — уважаемое лицо во всей округе...»

«Моё почтение», — сказал капитан холодно.

«Я решительно возражаю! Я бы хотела связаться с вашим начальством».

«Полагаю, в этом нет надобности. Порядок есть порядок. Мы заедем к вам домой, вы заберёте с собой семью».

«У меня никого нет, — сказал доктор. — Дорогая, не волнуйтесь. Я уверен, что всё уладится». Он стоял, огромный, грузный, палка с набалдашником в правой руке, пальто и шляпа в левой. Капитан ждал, пошевеливал бровями.

«М-да, — сказал доктор. — Могу ли я, если позволите... на одну минуту?»

«В уборную?»

«Да. Могу ли я сходить в уборную?»

Капитан усмехнулся: «Сделайте одолжение».

Доктор Каценеленбоген прошествовал по коридору, капитан маршировал следом за ним и остановился у выхода, перед электрическом счётчиком. Доктор Каценеленбоген вступил в закуток и накинул дверной крючок на петлю. Прочёл наставление. Взглянул на клозетную библиотеку и шумно втянул воздух в широкие ноздри.

История как борьба эстетики с безобразием. Это уже что-то новое, подумал он (или проговорил), вытянул часы из карманчика брюк, потрогал пульс. После чего, ощупав себя, добыл коробочку в виде крошечного пенала. Некоторое время доктор Каценеленбоген любовался аккуратным гимназическим почерком Анны Яковлевны, покручивал на пальце кольцо с жёлтым камнем, затем дёрнул висячую фаянсовую грушу на цепочке, раздался шум спускаемой воды. Доктор раздавил во рту ампулу и успел почувствовать боль от осколков тонкого стекла, впившихся в дёсны.

X
Побег № 1

1944 год

Существуют города без истории, каменные шатры вчерашних феллахов, там и сям раскиданные на огромных пространствах, существуют города, у которых впереди — солончаки бесплодного будущего, где обрюзгшие женщины выплёскивают помои перед порогом своих жилищ, где грохочет механическая музыка, где коровы жуют газету на пустыре и ветер несёт по ухабистым улицам пыль, сор и беспамятство. Существуют неодушевлённые города и одушевлённые.

[1] Время истекло.

И есть душа Города. Нет, это не genius loci, дух места, или как там это называется; её, эту душу, создало наше воображение, но незаметно она отделилась от нас, чтобы являться в таинственных снах, манить к себе перезвоном ночных курантов по радио, за тысячу километров. Душа Города бродит по опустевшим улицам, ищет тебя, заглядывает в подворотни, забирается на чердаки. Давно уже прекратились ночные налёты, война ушла на запад, но душа великого города всё ещё озирает горизонт, вперяется в тёмное небо. И ты догадываешься, что это твоя заблудившаяся душа, и тут уже начинается какая-то мистика, ностальгическая одержимость, то самое Dahin! Dahin!..[1] ах, не будем больше об этом, тем более, что дальнейшее, в перспективе лет, представляется фантасмагорией. Но что было, то было: карабкаясь под вагонами, выпутавшись из паутины рельсовых путей на станции «Москва-товарная», озираясь и совершив бросок, подросток скрылся за пакгаузами. Оттуда зорко выглядывал, ждал темноты, караулил огни медленно приближающегося товарняка, выбежал, улучив момент, отважно схватился за железный поручень, взобрался на тормозную площадку, ехал, вовремя спрыгнул, и... что же дальше, трудно поверить — он цел и невредим, и никем не сцапан, никому не попался на глаза, он бредёт с тощим рюкзаком за спиной по черным от угольной пыли подъездным путям, по задворкам Ярославского вокзала, и душа Города обнимает его, впускает в себя. Помедлив, была не была, он пересёк площадь вокзалов.

Стемнело, он плетётся в изнеможении, хоть ложись на тротуар, мимо круглой, в виде туннеля, станции метро, сворачивает в переулок, и тут внезапно фиолетовое небо озаряется нездешним свечением, лопаются ракетницы, над крышами расцветают алые, жёлтые, зелёные цветы, рассыпаются искрами, ура! — взят ещё один город, непрерывная череда побед. Писатель забыл обо всём, задрав голову, открыв рот, стоит перед подъездом. Неужто в последний момент он потерял бдительность?

Он входит. Он подкрался! Пальцем, осторо-о-ожненько — пуговку звонка. В ответ ни звука. Звонок не работает. Он ещё раз, посильней. В коридоре дребезжит колокольчик. Молчание, там никого нет. Сердце грохочет, как сумасшедшее, от ударов подпрыгиваеит каменный пол, шатается лестница. Блудный сын, паломник с сумой за плечами, не хватает только посоха, в отчаянии снова тянется к звонку. Он не успел нажать, как дверь приоткрылась, натянулась цепочка, тусклый свет брызнул из коридора. Сквозь щель выглянуло перепуганное сморщенное личико. И сейчас же дверь захлопнулась. Он топчется на площадке. Его не впустили. Мёртвое молчание в доме. Его просто не впустили, мало ли кто вломится — война! И вся немыслимая авантюра — попробуй-ка в те годы, думал писатель, вернуться в закрытый город без вызова, с подделанной метрикой, — вся долгая дорога, всё напрасно. Он стоит, понурясь, в чужом, холодном подъезде, перед дверью в чужую квартиру, тупо соображает, что же дальше, куда теперь, и так же медленно движется время, на самом деле не прошло и минуты. Звякнула цепочка. Его хватают за руку, тащат по коридору мимо вечного сундука — скорей, чтобы никто не увидел.

Мы сказали, побег; может быть, лучше: *прибег*? Прибежище. Прибегнуть *к чему*, прибежать *куда*.

Анна Яковлевна, маленькая, нисколько не изменившаяся, с только что зажженным, тотчас погасшим Дукатом в увядших устах, сидит в кресле. Он — на диване. На том же самом диване.

«Ох, ох. Н-да... Ну и вид у тебя».

[1] Туда, туда! (*Гёте*).

Нужно отдать ей справедливость, она не задает лишних вопросов. Пусть мальчик говорит сам.

Все же она спросила: а где мама?

Там, сказал он. Его рассказ был сбивчив, лаконичен, а чего рассказывать, в общем-то, бормотал он, то есть, конечно... И, одним словом, оказалось, что он сбежал! Да, рванул, бежал из эвакуации, как когда-то гимназисты убегали в Америку, сперва на барже по широкой медлительной реке, потом в товарных поездах, умудрился обойти посты дорожного контроля, военные патрули, милицию.

Он умолчал о том, что в дороге просил милостыню, спасся от странных заигрываний какого-то типа в пенсне и шляпе, о том, как, драпая от контролёров, на ходу спрыгнул на насыпь, чуть не сломал ногу, чуть было не оказался в шайке воров, ночевал в подвалах, лишившись на какое-то время чувств, был подобран, очутился в детприемнике, бежал. Господи, лепечет Анна Яковлевна и крестится, Богородица святая, спасибо! Но как же мама? Оставил письмо на столе, говорит он, я ей отсюда напишу, дурачок, возражает Анна Яковлевна, письмо перехватят, сейчас все письма контролируются, уж не знаю, вздыхает она, как она там будет выпутываться, можно ли туда позвонить? дать телеграмму? Как-нибудь дать понять, что он жив и здоров. Я взял деньги, говорит он, у матери, — то есть украл? — он пожимает плечами, а что тут такого, — как это, что тут такого! — нет, подумать только, — и снова: как же ты добрался? — и в самом деле, много лет спустя эта ночь кажется сказочно неправдоподобной.

«Да что же это я!» — она спохватывается. С погасшей папиросой во рту бежит на кухню. Потом надо будет помыться, все эти лохмотья вон, вон! Я их вынесу на помойку. Как-нибудь устроимся, я схожу в милицию, поговорю с Самсон Самсонычем, приватно, он хороший человек, что-нибудь придумаем, внук приехал, а может, рассказать всё как есть, здесь родился, был прописан с родителями, отец погиб на фронте, мать в эвакуации, комнату заняли, пусть пока поживет у меня, а там посмотрим... о, как всё повторяется, как напоминает двадцатый год. Анна Яковлевна входит в комнату с чайником и сковородой, но мальчик уже спит на диване, подложив рюкзак под голову, подтянув к животу ноги в опорках.

Он спит крепко, непробудно, как спит солдат в окопе, как спят в отрочестве. В кресле прикорнула Анна Яковлевна. И понемногу, неслышно, крадучись, в комнату входят сны. Сны, о которых он тотчас забудет, стоит ему только открыть глаза, и непостижимым образом вспомнит о них годы спустя.

XI
Берлин

16 апреля 1945

1.

Все полевые и тыловые госпитали, медленно, от станции к станции продвигающиеся санитарные эшелоны и замаскированные, с погасшими огнями, госпитальные суда были переполнены ранеными, умирающими, изувеченными, неизвестно было в точности, сколько их было, и никто не знал, сколько

убитых наповал, засыпанных землёй, задохнувшихся в дыму и задавленных рухнувшими перекрытиями лежало на полях и среди руин. Война достигла крайней точки ожесточения, когда счёт потерь потерял смысл. Те, кто отступал, дали себя убедить, что вместе с крушением государства исчезнет с лица земли вся их страна, и старались уничтожить всё, что оставляли за собой. Те, кто наседал, держались тактики, суть которой выражалась в трёх словах: выжечь всё впереди. Надо было спешить, американцы уже вышли на Эльбу. Успех обещало огромное превосходство сил.

В три часа ночи рванули двадцать тысяч артиллерийских стволов. Несколько сот катюш изрыгнули свою начинку; горячий ураганный ветер пронёсся над всем пространством от низины Одера до Берлина; прах и пепел висели в воздухе, горели леса. Через полчаса всё смолкло, белый луч взлетел к небесам. Вспыхнули слепящие зеркала ста сорока прожекторов противовоздушной обороны. Двадцать армий двинулись вперёд. Но ослепить противника не удалось: дым пожаров застлал окрестность. Не учли распутицу, болотную топь, густую сеть обводных каналов на подступах к Зеловским холмам. Во мгле атакующая пехота блуждала, потеряв направление.

С рассветом возросло вражеское сопротивление. Очевидно, там были использованы последние резервы. Прорыв был всего лишь вопросом времени. Но диктатор на подмосковной даче выражал нетерпение. Он приказал наступать конкурирующей армии на юге со стороны Нейссе. Были введены вторые эшелоны стрелковых дивизий, в десять часов снялся с места стоявший наготове танковый корпус. Чем ближе наступающие войска подходили к высотам — последнему плацдарму ближних подступов к цитадели врага, тем упорней было противодействие. Под вечер командующий ввёл в сражение обе танковые армии. В хаосе танки давили своих. Успех все еще не был достигнут. Двенадцать тысяч немцев и тридцать тысяч русских остались лежать в талой воде среди болот и на крутых склонах. Так, спотыкаясь и отшатываясь, и вновь наседая, и оставляя кровавый след, армии двух соперничающих фронтов, всё ещё называвшихся по старой памяти Первым белорусским и Первым украинским, обошли с флангов и взяли в клещи вражескую столицу.

Писатель задал себе вопрос, что ему Гекуба. Зачем ему этот очерк последнего сражения, и не довольно ли уже говорилось об этом, — зачем ему история, если вечной темой литературы может быть только история души. И не мог найти ответ, — разве только тот, что память об этих днях, как пыль и копоть уничтоженных городов, осела на окнах века, так что её не отмоешь; разве только та неотвязная мысль, что ещё одна такая война, *ещё одна такая победа*, — и наш мир погибнет окончательно.

Он спросил себя, что ему эти вожди, о которых — забыть, забыть, забыть! И не мог найти никакого другого ответа, как только тот, что наша судьба — всю жизнь созерцать эти ублюдочные иконы века.

Изредка, в минуты грозных событий, вершители судеб, те, от которых зависела жизнь миллионов людей, кто отождествил себя с историей и в самом деле олицетворял её слепую волю, испытывали, насколько это было возможно при их ограниченных способностях, что-то вроде смутного прозрения. Не разум, но тягостное чувство говорило им, что гигантские скрежещущие колёса, чей ход, как им казалось, они направляют по своему усмотрению и произволу, увлекают за собой их самих. Как если бы, уцепившись за что попало, они вращались в огромном грохочущем механизме, который сами же запустили. Оба, карлик в Кремле и тот, другой, укрывшийся в катакомбах под парком Новой имперской канцелярии, оба, побеждающий и побеждённый, испытывали одно и то же мистическое чувство зависимости, ненавидели его, но и гордились им,

ведь оно подтверждало их уверенность в том, что все самые безумные решения оправданы и одобрены высочайшей инстанцией — тем, что один называл законами истории, а другой Провидением.

2.

Теперь от линии фронта до правительственного квартала можно доехать на трамвае — если бы ходили трамваи. День померк. Офицер с чёрной повязкой на глазу, с Рыцарским крестом на шее, выставив трость, выбрался из машины на углу площади императора Вильгельма — от барочного дворца Старой имперской канцелярии остался только фасад. Офицер показал пропуск, молча ответил на приветствие наружной охраны, поскрипывая протезом, пересёк бывший Двор почёта. Прямой и надменный, он прошагал мимо обломков плоского постамента, на котором некогда стоял голый, в два человеческих роста, воин-победитель с мечом, творение ваятеля-лауреата Арно Брекера.

Неожиданная встреча ожидала гостя при входе в сад: рослый худой человек в камуфляжной форме фронтовых СС с кубиками гауптштурмфюрера в левой петлице, что соответствовало капитану, стоял, как памятник, с рукой, простёртой в римско-германском приветствии. В светлых весенних сумерках, как хрусталь, блестели его глаза, и можно было разглядеть губы, соединенные рубцом, результат не вполне удачной операции. В углу рта осталось отверстие для приёма пищи. Приезжий кивнул на ходу, капитан выдавливал из зашитого рта мычащие, блеющие звуки, ничего понять было невозможно, да и незачем. Офицер с Рыцарским крестом маршировал, подпрыгивая на протезе, обходил воронки от снарядов, перебрасывал искусственную ногу через поваленные стволы цветущих деревьев. На газонах белели, розовели левкои. Это было лучшее время года. Он приблизился к невысокой бетонной башне, вновь извлёк из нагрудного кармана свою книжечку.

Постовой внешнего караула, с лицом бульдога, в звании унтерштурмфюрера, держа перед собой, как оружие, карманный прожектор, переводил взгляд с фотографии на командированного, с командированного на фотографию. Щёлкнул каблуками. По узкой, в три марша, лестнице штабной офицер Двенадцатой армии генерала Венка, стоявшей, как считалось, насмерть в семидесяти километрах от Берлина, полковник Карл-Дитмар Вернике, стуча тростью, сошёл в преисподнюю.

3.

Бункер представляет собой инженерный шедевр XX века. Под тщательно замаскированными, укрытыми дёрном и травой плитами толщиною в двенадцать, а где и пятнадцать метров расположен лабиринт коридоров. Стальные двери, комнаты персонала, кладовые, забитые продовольствием, общая кухня и диетическая кухня вождя, запасные выходы наружу. Далее по главному проходу до винтовой лестницы, спуститься ещё ниже — из предбункера вы попадёте в главное подземелье, называемое бункером фюрера. Встреченный двумя дежурными, посланец с повязкой пирата минует комнату службы безопасности и тамбур газоубежища, хромает по центральному коридору под вереницей ламп в защитных сетках, под рядами электрических и телефонных кабелей на низком потолке, мимо щитов сигнализации, ответвлений, пересекающих коридор, мимо спальни министра пропаганды, спальни рейхсляйтера Бормана, комнаты лейб-профессора медицины Штумпфеггера, комнаты лейб-овчарки Блонди с

четырьмя щенками, мимо личных апартаментов фюрера и прибывшей в Берлин три дня тому назад фрейлейн Браун. А там второе газоубежище, секретариат, где стрекочут пишущие машинки, конференц-зал, — давно уже ежедневные оперативные заседания перенесены из канцелярии фюрера сюда. Из машинного отделения доносится рокот дизельных агрегатов. Бетонированное сердце империи. Как уже сказано, высшее достижение строительной техники нашего времени.

Сюда не доносились звуки войны, не было слышно взрывов английских авиабомб, и даже грохот крепостных орудий, подтянутых русскими к городским окраинам, лишь слабым сотрясением, далёким мистическим эхом отдавался в ушах; здесь, в мертвенно-белом сиянии голых ламп, вели фантастический потусторонний образ жизни, происходила неустанная деятельность, принимались решения и отдавались распоряжения.

Здесь верили слухам, плели интриги, ждали неслыханных перемен, чудесного избавления, пришествия армии Венка, ударного корпуса Гольсте, раскола между Россией и союзниками; здесь ночь не отличалась от дня, здесь люди-тени отсиживались в своих норах, люди-призраки с незрячими воспалёнными глазами, в фуражках с задранной тульей, в приталенных мундирах и галифе, обтягивающих колени, встречаясь, молча отдавали друг другу ритуальный салют, теснились в зале над столом с картами, подхватывали налету падающий монокль, чертили стрелы воображаемых контрнаступлений; здесь фюрер, с лупой в мелко дрожащей руке, водил пальцем по карте города и предместий и отдавал приказы несуществующим армиям; здесь пили вино и вперялись стекленеющим взглядом в пространство, в покрытые извёсткой стены и потолки. Здесь доктор Геббельс в спальне вождя читал вслух «Историю Фридриха Великого» Томаса Карлайля, вещие, пророческие страницы о том, как вослед ослепительным победам Семилетней войны наступили тяжкие дни, но в последний момент провидение спасло короля.

Отстегнув протез, полковник укладывется на ночь в предбункере, в спальном помещении для высших офицеров. Слышны детские голоса — за стеной разместилось семейство министра пропаганды. Рядом душевые кабины и уборные. Накануне нарушилось водоснабжение, к счастью, ненадолго. Но всё ещё пованивает экскрементами.

XII
Праздник

20 апреля 1945

Длинными извилистыми переходами под землёй предбункер соединён с катакомбами под имперской канцелярией, вдоль всего помпезного фасада, по ходу Фосс-штрассе до пересечения с Герман-Геринг-штрассе. Рейх, оскаленная голова, лишённая туловища, зарылся в землю. На глубине двадцати метров расположены пещеры высших военно-государственных чинов. Здесь обитают начальник генштаба Кребс, шеф-адъютант фюрера Бургдорф, личный пилот фюрера генерал Баур и другие, далее охрана, телефонная станция, лазарет, то и дело поступают раненые, очередь санитаров с носилками забила проход, мертвенное сияние ламп на потолках, под проволочными колпаками, вздрагивает от далеких взрывов. Раненые лежат вдоль стен на полу, между ними снуют меди-

цинские сёстры и девушки вспомогательной службы, в подземной операционной оберштурмбанфюрер и профессор Хазе в заляпанном кровью халате, с двумя ассистентами, безустали тампонирует раны, отсекает омертвевшую плоть, ампутирует конечности. В подвалах корпят над картоном картографы, переминаются с ноги на ногу адъютанты, стрекочут машинки секретарш, постуивают ключи радистов, население прибывает — жёны, дети, — испарения пота, мочи, отчаяния, сырой и душный запах от бетонных стен. А тем временем наверху, в завесах дыма и пыли, над сгоревшими садами Брегерсдорфа и Фогельсдорфа встаёт мутно-желтое солнце. Знаменательный день; в программе — парад в саду имперской канцелярии, церемония в зале, поздравления в рабочей комнате вождя, а затем, как всегда, доклад и обсуждение обстановки в конференц-зале бункера: положение в Берлине, положение на западном фронте, положение на аппенинском фронте.

Знаменательный день, на газонах застыли войска: два подразделения бывшей Курляндской армии. В две шеренги выстроились ветераны — всё, что осталось от танковой дивизии СС «Фрундсберг». Промаршировал и подстроился в ряд отряд подростков, истребителей танков. Фотографы и операторы наставили свои камеры перед явлением вождя и его соратников. Под гром барабанов, в низко надвинутых касках, головы налево, выбрасывая ноги в узких глянцевых сапогах, вышагивает подразделение лейб-штандарта «Адольф Гитлер». Два солдата сопроводительной команды ведут низкорослого, растерянного, плохо соображающего, что к чему, солдата в огромной болтающейся каске. Мальчик подбил на Потсдамской площади русский танк. Фюрер ему Железный крест на грудь, фюрер треплет малыша по щеке. Патетическим жестом — в бой! По бледноголубому небу проплыли и растаяли нежные рисовые облака. Завыли сирены... Поздравительный акт в правом, неповрежденном крыле канцелярии. Между высокими четырехугольными колоннами главного портала проходят сероголубые мундиры военных и чёрные мундиры СС, второй портал — для руководителей партии. Стража с автоматами наперевес; в вестибюле проверяют всех, невзирая на чины и награды. Чертог фюрера пуст, исчез гигантский рабочий стол, нет глобуса, нет роскошных кресел, на стенах между окнами следы снятых картин, на потолке там и сям осыпалась штукатурка.

Сенсационная новость — поздравлять придётся заочно. Фюрер улетел на юг. Оттуда, из Альпийской крепости, он возглавит оборону. Новый план, гениальный шахматный ход: если, что весьма вероятно, русские и американцы, наступая навстречу друг другу, рассекут страну пополам, гроссадмирал Дёниц на севере и фельдмаршал Кессельринг на юге возьмут врага в стратегические клещи. И тогда посмотрим, кто кого.

Толпа заволновалась — тишина — и вот уже все глаза устремлены к высоким дверям. Он здесь, он остался в Берлине! Распахнулись створы. Он явился.

Нет, это ещё не закат: 56 лет — возраст свершений. Правда, он выглядит значительно старше, передвигается, наклонившись вперёд, тащит за собой непослушную ногу, правой рукой удерживает дрожащую левую, голова ушла в плечи, он жёлт и согбен. Всю ночь в подземном кабинете фюрер бодрствовал наедине с самим собой, под портретом остроносого человека в треуголке. Двести лет тому назад, вот так же накануне катастрофы, великий король метался от одной границы к другой, искал выход. Провидение пришло на помощь. В Санкт-Петербурге скончалась царица Элизабет, и новый царь протянул Фридриху руку мира. Вождь сидел с толстой лупой над гороскопом, вперялся в значки планет и читал лукавые объяснения. Была констатирована растущая акцидентальная немощность Сатурна. Светлый Юпитер издалека подмигивал Марсу. Вот оно! Перелом должен произойти в последней трети апреля.

Он обходит широкий полукруг поздравителей, вялым движением отвечает на вскинутые руки, вполуха выслушивает льстивые пожелания. Он остановился посредине, застыл, по обыкновению прикрыв руками детородный член. Но у фюрера нет и не может быть детей. Он отец нации, одновременно её великий сын и состоит с ней в священном инцестуальном браке. Запинаясь и глядя вниз, точно с полу подбирая слова, он заговорил. Пока ещё еле слышно, — стоящие на флангах напрягают слух. Медленно возвёл слезящийся взор к потолку. Поднял руки. И произошло то, что бывало с ним в ответственные минуты: фюрер воскрес. Фюрер вновь зарядился от невидимых аккумуляторов. Всё или ничего! Гибель — или победа! Стоя посреди зала, он гремел, рыдал, заклинал, потрясал кулаками и вонзал в пространство указующий перст. И, пожалуй, не так уж было важно, что он выдавливал и выкрикивал, — нечто в звуках его голоса, не подвластное рассудку, было важнее слов.

Как вдруг он успокоился. Он сказал, что этой ночью принял окончательное решение остаться в столице и сам поведёт войска в решительный бой. Капитулировать? — спросил он и впился в лица поздравителей. Никогда!

Это с одной стороны. Но есть и трезвый расчёт. Невозможно, сказал он, сомневаться в том, что именно сейчас, здесь наступил высший и решающий момент. Если, о чём имеются верные сведения, в стане врагов наметился раскол, если в Сан-Франциско между союзниками пролегла глубокая трещина, значит, поворот близок. Раскол неизбежен теперь, когда хищники собираются делить добычу. Поворот наступит, когда здесь, в самом сердце Германии, в центре, я — и он снова взорвался, взвился, вознес слезящиеся глаза к потолку, бил себя в грудь, — нанесу сокрушительный удар большевистско-еврейскому колоссу. Ещё не всё потеряно!

Генерал-полковник Вальтер Венк идёт на выручку, 12-я армия на подходе. Конев и Жуков не сумели сомкнуть кольцо окружения на юго-востоке. Поступили данные о том, что между двумя генералами наметилось соперничество. Не исключено, что они выступят друг против друга. В любом случае между Маловом и Шёнефельдом войска прочно удерживают проход. Каждому — вождь обвёл инфернальным взором застывший полукруг, — каждому предоставляется решить, готов ли он сражаться, готов ли пасть в бою на улицах Берлина, в предвидении пробивающихся к городу войск, в преддверии победы, — или захочет покинуть столицу. Um Gottes willen![1] Он никого не держит!

Полковник Вернике вперился единственным глазом в того, о ком только и можно сказать: этот человек — сама судьба. Что такое судьба... слово, исполненное глубокого смысла, или вовсе лишённое всякого смысла? То, о чём догадываются задним числом, не замечая, что на самом деле это наше собственное измышление? Или нечто предписанное, предуказанное, непреложное, неумолимое? Mein Führer! Вы сказали: «Венк, я вручаю тебе судьбу Германии». Это было в начале апреля. Но теперь нет никакой армии Венка, нет и не будет. Её попросту не существует.

Я был откомандирован а Берлин, оставил штаб 12-й армии, когда Венк успел пробиться до Потсдама. Дальше — ни на шаг. От двухсот тысяч личного состава осталось 40 тысяч, от дивизий «Клаузевиц», «Шарнгорст», «Потсдам», «Ульрих фон Гуттен» по горстке солдат, а то, что ещё имеется в нашем распоряжении, — три пехотных дивизии, два артиллерийских дивизиона и противотанковая бригада, — смешно сказать, на 90% укомплектованы из 17—18-летних юнцов. Вот вам и вся Befreiungsarmee.[2] Я знал о решении генерала спасти уце-

[1] Ради Бога.

[2] армия-освободительница.

левших. Попросту говоря, совершить измену. Измену — тебе, мой фюрер! И больше никому... Должно быть, остатки 12-й армии уже переправились через Эльбу и сдались американцам.

Вы считаете, что весь немецкий народ ждёт, когда вы лично появитесь во главе войск на поле боя. Что представляет собой это поле боя?.. Мы в разрушенном городе. Мы не стоим лицом к лицу с противником. Мы окружены. Мы держим оборону на одной улице, русские продвигаются по другой. Мы засели на верхних этажах, русские ворвались в подъезд. И, однако, он прав: если наступил конец, надо встретить его достойно. Немецкий народ не сумел выполнить свою миссию — значит, он должен погибнуть. Нам всем крышка, думал Вернике. Слепому ясно, это конец. Семья погибла в Дрездене, он сам калека. Отчего всё так получилось? После триумфального марша по Европе, почти уже увенчавшегося победой русского похода. После этого «чуть-чуть». Ещё немного, и война была бы закончена, грузин повис бы на виселице, еврейский Ваал обуглился в собственной печи. — Он слушал и не слушал вождя. — А что если бы вместо войны с Советами мы повернули оружие против общего врага, растленного Запада?

Вместе с Россией? И потом поделить с ней континент. Чушь, абсурд, какой это союзник, — эта нация созрела для завоевания. Сталин разрушил собственную армию, потерпел постыдное поражение от финнов. Русские мужики ненавидели колхозы, комиссаров и жидов, население ждало освободителей. И вот теперь этот народ, — чудовищная насмешка истории! — народ, не умеющий работать, не приученный к дисциплине, народ, не способный устроить свою жизнь на огромных территориях, лишённый исторического сознания, чуждый понятию красоты, величия, порядка, — гунны, вандалы! — здесь. Наши прекрасные города в развалинах, цвет нации полёг под Сталинградом, в Греции, в Африке, на дне морей. Вот он, подлинный закат Европы, трагический финал эллинско-арийской, нордической цивилизации.

Слабый шум отвлёк внимание, шопот, возмущённые реплики. Каким-то образом миновал тройную охрану, оказался позади собравшихся исхудалый человек в полевой форме сражающихся СС, мычит зашитым ртом и машет руками.

Глухо, тяжко ухает артиллерия, сыплется штукатурка. Фюрер вернулся в бункер. Марш соратников. Впереди шествует в необъятных галифе с двойными лампасами, в роскошном мундире, в крестах и звёздах, могучий, тучный Геринг. Рейхсмаршал прибыл на рассвете из Карингалла. Фургоны с картинами, вазами, скульптурами, древним оружием и драгоценным мобильяром отправились на юг. Рейхсмаршал собственноручно включил взрыватель, вилла взлетела на воздух. За Герингом поспешает маленький, припадающий на ногу Гёббельс, шагает каменный Борман, шагает Гиммлер, у которого за сверкающими стёклышками пенсне никогда не видно глаз, плетётся яйцеголовый Лей, кто там ещё. Шествие хтонических богов. Один за другим, по узкой трёхмаршевой лестнице они возвращаются к себе в подземное царство. Фюрер родился. Пятьдесят шесть лет тому назад, в эти же часы младенец закричал, которому предстояло перевернуть мир. В рабочей комнате накрыт стол. Секретарши ждут, причёсанные и напомаженные, с оголёнными плечами, в праздничных длинных платьях. Из спальни вышла фрейлейн Браун.

На ней был «дирндль», что значит деревенская девчонка, любимый фюрером баварский наряд: белоснежная блузка с короткими рукавами-фонариками, корсаж и просторная юбка из тёмнокрасного муара, клетчатый, болотного цвета шурц-передник. Белые чулки и крохотные туфельки. Очередь к имениннику, щёлкают каблуки, — фюрер сидя чокался с кланяющимися.

Ева топнула ножкой:

«Я хочу танцовать!»

Зашипел патефон, раздался мяукающий голосок знаменитой эстрадной певицы: то были «Розы, красные, как кровь», шлагер тридцатых годов. О, как защемило сердце, как напомнила эта мелодия о счастливых временах. Вождь встал, церемонно пригласил секретаршу Траудль Юнге. Весёлый, неунывающий группенфюрер Фегелейн — подруга фюрера приходилась ему свояченицей — с бутылкой в руке дирижировал танцем, допив свой бокал, мужественно облапил Еву. Три тура, после чего плавно, полузакрыв глаза, Ева перешла в объятья Вернике. Полковник переставлял поскрипывающую ногу, самоотверженно вёл свою даму; вдруг всё смолкло, все остановились. Пробили часы. Величайший полководец всех времён и народов, подперев рукой подбородок, с плавающим взором внимает грому литавр, могучим всплескам оркестра. Траурный марш из «Гибели богов», ночное факельное шествие с телом коварно убитого Зигфрида.

XIII
Все еще не конец

30 апреля 1945

Вождь сидел, понурившись, на диванчике, там и сям были разбросаны цветы, на стене остались брызги крови, на полу лежал вальтер калибра 7,65 *мм*, на правом виске у фюрера было круглое отверстие величиной с пятипфенниговую монету, на щеке, протянувшись до шеи, подсыхала змейка крови. Ева, в небесно-голубом платье, примостилась у его ног, с открытыми глазами, с чёрно-лиловым отверстым ртом; её пистолет с неразряжённым магазином лежал на столе. Пахло порохом и миндалём.

Снаружи по-прежнему гремела пальба, дым пожаров застлал небосвод, пепел порхал над садом Имперской канцелярии, комья земли, щебёнка, осколки снарядов сыпались то и дело на башенку бункера. День переломился. Показались, бессильно покачиваясь, лакированные сапоги, брюки, френч и туфлеобразный нос фюрера под лакированным козырьком. Камердинер Линге и шофёр Кемпка опустили труп на траву. Затем выплыли высоко открытые ноги фрау Гитлер в чулках нежно-апельсинного цвета. Бок о бок вождь и его подруга покоились неподалеку от входа в бункер. Поднялся и вышел, в генеральском мундире, слегка располневший личный секретарь Борман, приблизился, натянул покрывало на торчащие из носа усы фюрера и детский лобик Евы. Адъютант Гюнше тряс бензиновыми канистрами, Линге держал наготове толстый бумажный рулон, это были документы государственной важности. Он поднёс зажигалку, швырнул бумажный факел, пламя взвилось над трупами и тотчас погасло. Адъютант выхватил ручную гранату, Линге остановил его; подтащили ещё одну канистру; несколько мгновений, как зачарованные, смотрели на столб огня.

Сумерки спустились.

В нескольких кварталах от сада, там, где красноармейцам удалось пробиться настолько, что теперь их отделяла от противника одна улица и площадь с неизвестным названием, в ночном затишье послышался шорох, хруст стекла. Взвилась и рассыпалась ракета, окатив мертвым сиянием груду кирпича и

полуобвалившийся угол аптеки, из-за угла высунулось белое полотнище; вторая ракета взлетела, выкарабкался человек с серебристым орлом на тулье форменной фуражки. Он шёл по пустынной площади, высоко держа над собой на коротком древке белый флаг, достиг тротуара и вошёл в ворота. Во дворе его окружили бойцы; из того, что он сказал, поняли только, что он имеет пакет для передачи русскому командованию; и парламентёра повели в штаб дивизии.

Штаб находился в Темпельгофе, на кольце Шуленбурга, в старом особняке, вокруг громоздились развалины, могучие дерева, помнившие Старого Фрица[1], обгорели или до половины были снесены снарядами, но дом в югенд-стиле уцелел. Посланец, в чине подполковника, сидел в комнатке с занавешенным окном на втором этаже под охраной усатого старшины, а в зале с резным потолком, с картинами в простенках высоких окон, за большим столом на львиных ногах, командир дивизии связывался по телефону с командиром корпуса. Был первый час ночи.

Бумага, которую комдив извлек из пакета, на двух языках, была скреплена печатью и подписью человека, чьё имя должно было произвести впечатление. Комдиву, однако, оно ничего не говорило. На машинке было отпечатано следующее: *Подполковник такой-то настоящим уполномочен Верховным командованием сухопутных сил вести переговоры с представителями русского командования с целью установления места и времени встречи начальника Генерального штаба сухопутных сил генерала инфантерии Ганса Кребса для передачи русскому командованию особо важного сообщения.*

И ещё что-то там.

Подписал: Секретарь Вождя Мартин Борман.

Угу, пробормотал комдив. Какой такой секретарь? А, чёрт с ним.

«Давай сюда этого...»

Парламентёра ввели в зал. По какому вопросу всё-таки, отнёсся комдив к подполковнику. Ответа не было. По какому вопросу ваш генерал собирается вести переговоры, повторил он и снова снял трубку, чтобы связаться с командармом. Мы готовы встретиться, отвечала трубка.

Прошло ещё сколько-то времени, в три часа ночи на участке, где вечером появился парламентёр, смолкли пулемётные очереди, повисла в воздухе осветительная ракета. В укрытиях с обеих сторон следили, как из-за угла бывшей аптеки выбрался и не спеша пересёк линию фронта обещанный генерал. За ним шагали два офицера и рядовой с винтовкой через плечо, на штыке трепыхался белый флажок.

Делегация была препровождена в штаб дивизии, Кребс очутился в занавешенной прихожей, где до него сидел парламентёр; снял шинель и фуражку, повесил на вешалку, с кожаной папкой у бедра поскрипывал узкими сапогами из угла в угол. Кребс был худощав, строен, перетянут широким поясным ремнём с маленьким пистолетом в кобуре. И отец, и дед его были военными. В начале тридцатых годов Кребс был помощником военного атташе в Москве. В зале, стоя за столом, генерала ожидал командующий 4-й армией генерал-полковник Чуйков. Справа и слева сидели другие. Чуйков был сыном крестьянина-туляка и сам походил на умного и недоверчивого крестьянина. Лицо Чуйкова изображало недобрую торжественность. Минуло полтора года, как он сидел со своим штабом в землянке на правом берегу Волги, в почти несуществующем Сталинграде, на крошечном участке земли, который удерживали остатки 62-й армии, а наверху, на площади Героев, в подвале универмага сидел со своим штабом генерал-фельдмаршал Паулюс.

[1] Фридриха Великого.

Войдя, немец остановился и коротко кивнул. Чуйков оглядел его из-под косматых бровей, молча указал пальцем на стул. Он попытался заговорить по-английски, но плохо знал язык, и немец его не понял. Зато оказалось, что Кребс говорит по-русски. Произошло некоторое замешательство, после чего каждый перешёл на родной язык; переводчик, выпускник военно-разведывательного института иностранных языков, торопливо переводил.

Кребс сказал: «Господин маршал!»

Он думал, что имеет дело с самим главнокомандующим.

«Здесь, — продолжал он, расстёгивая молнию на папке, — изложены мои полномочия».

Дожидаясь, когда бумага будет прочитана и переведена, он держал наготове второй документ, вероятно, тоже имевший историческое значение, но приводить его было бы излишне, достаточно сказать, что по прочтении разговор с немцем был прекращен; тут же, не отпуская генерала, Чуйков вёл переговоры с резиденцией главнокомандующего в Штраусберге, оттуда телефонный сигнал достиг кунцевской крепости под Москвой, и диктатор повторил в трубку то, что давно уже было решено и подписано. Сопровождающие дожидались генерала, и Кребс воротился не солоно хлебавши в бункер. Начинался рассвет.

Гигантским клином наступление нацелилось на излучину Шпрее, почему-то русские придавали особое значение руине рейхстага. Внимание было отвлечено от бункера. Это давало шанс выбраться.

XIV
Принудительная память. Исход

30 апреля 1945

1.

Нечего и говорить о том, что ничего этого ты не видел, жил себе за шестьсот километров от Берлина в тридевятом царстве, в Козловском переулке, с мамой, которая к тому времени тоже вернулась, с Анной Яковлевной, которая никуда не уезжала; доби, дотерпел с грехом пополам школу и, должно быть, имел самое фантастическрй представление о том, что творилось в мире. Ты и не помышлял о том, что тебя ждёт. Или всё-таки догадывался?

Спрашивается, можешь ли ты, имеешь ли право описывать войну, не быв на войне. Но сможет ли рассказать о войне — об *этой* войне — тот, кто на ней побывал? Захочет ли он вновь увидеть *эту* действительность? Как глаз слепнет от слишком яркого света, так ослеплена его память. О, ночь забвения, летейская прохлада! Можно усмотреть в этом естественный защитный рефлекс. И, однако, война поселяется навсегда в душе и памяти каждого, кто жил в этом веке. Ибо кроме непроизвольной памяти Пруста, единственно достойной художника, кроме произвольной памяти, как бы ни оценивать ее права, — есть память принудительная. Писателю предстояло увериться в том, что от такой памяти ускользнуть невозможно. От неё нет спасения.

Какой это был восторг, какое счастье увидеть в кино марширующие войска, офицеров с шашками наголо и маршала, гарцующего на белом коне! Что здесь было на самом деле, что предписал диктатор и создал торопливый гений режиссёра и оператора — не всё ли равно. Грохочут трубы и барабаны, блестит

от летнего дождя мостовая, солдаты победы швыряют к подножью Кремля трофейные вражеские знамёна. Но вдруг пустеет площадь, столько повидавшая за полтысячи лет. — Но такого она ещё не видела. — Продолжается парад. — Отдыхает оркестр. — В тишине, со стороны Исторического музея, обогнув угловую Арсенальную башню, вышагивает колонна солдат, чётко, по-военному выбрасывает вперёд костыли. На одной ноге топ, топ, — единым махом — шире шаг! Ведомые собакой-поводырём, плетутся, подняв к небесам пустые глазницы, шеренги слепых. Маршируют сгоревшие в танках, с красным месивом вместо лиц. Визжат колёсики, катятся на самодельных тележках, соблюдая ранжир, безногие. Едут в корытах «самовары», обречённые жить после ампутации обеих ног и обеих рук.

2.

Едва лишь трупы фюрера и подруги успели обуглиться, первая группа беглецов двинулась из бункера по направлению к Герман-Геринг-штрассе; за ней, с небольшими перерывами, шли другие. Вёл Гюнше. Со стороны Потсдамской площади поднимались густые темные клубы дыма. Ворвался рокот моторов, появились низко летящие русские самолеты. Все бросились в подъезд. Здесь уже теснились люди — раненые солдаты в касках, женщины с детьми. Короткими перебежками удалось добраться до заваленного обломками входа в метро Кайзергоф. Шли по шпалам, светя карманными фонариками, натыкаясь на мёртвых и раненых, свернули в другой туннель под Шпрее. Где-то близко должна была находиться станция Штеттинский вокзал, там можно выйти на Фридрихштрассе, по другую сторону фронта, за спиной у всё ещё не сдающихся отрядов. Оттуда пробиваться к американцам. Главное — не попасть в лапы к русским. Но никакого просвета, ничего похожего на приближение к станции, — пути разветвились, кучки людей разбрелись в разные стороны. Это было начало блужданий. Кое-где под ногами хлюпала вода, спотыкались, цеплялись за кабельную проводку, брели вдоль отсыревших стен, ничего не видя, кроме тускло поблескивающих, теряющихся за поворотами, уходящих во тьму рельс, сталкивались и снова теряли из виду друг друга.

Что-то почудилось впереди. Выступило из мрака выпуклое лобовое стекло, мертвые чаши фар. Локфюрер[1] спал, опустив голову в форменном картузе. Нет, это был сам фюрер. Вождь и спаситель вёл свой локомотив вперёд, к окончательной победе. Поезд мертвецов остановился навсегда. Они были видны там, за разбитыми стеклами. Для них не существовало поражения.

Кряхтя, цепляясь за что попало, пробирались вдоль вагонов, мимо сомкнутых дверей. Наконец, появился полуразрушенный перрон. Сверху сочился свет. Эскалатор завален щебнем. Вылезли кое-как. Вечерело. Невозможно было узнать улицу. Свист и гром доносились издалека, словно война пронеслась мимо. Вошли в подъезд и опустились, упали на ступеньки.

Их теперь было только двое: коренастый, приземистый, с каменным четырехугольным лицом, в фуражке с черепом и сером от пыли мундире генерала СС, и другой, на протезе, полуживой, с чёрной повязкой на глазу.

Им казалось, что в доме не осталось живой души. Бывший секретарь фюрера взошёл на бельэтаж. Звонок неожиданно отозвался в недрах квартиры: здесь функционировало электричество. Генерал нажимал на кнопку снова и снова, повернулся с намерением спуститься в подвал, в эту минуту дверь приоткрылась, выглянула женщина. Она не могла знать, как выглядит Мартин Бор-

[1] Машинист (*нем*. Lokführer).

ман, но, увидев фуражку, застыла от страха. Держа под руку товарища, Борман поднялся с ним в квартиру. Хозяйка или, скорее, экономка, — это была квартира сбежавшего адвоката — плелась впереди. Оказалось, что они находятся на Шоссейной, в самом деле недалеко от Штеттинского вокзала, хватит ли сил добраться? Где русские? Где идут бои? Старуха не могла ответить.

3.

К полудню передовые подразделения выдвинулись на Фосс-штрассе. Имперскую канцелярию оборонял отряд СС, слишком немногочисленный для обширного здания. В залах и коридорах рвались гранаты, сопротивление было подавлено за полчаса. Из пролома в стене выставился в сторону сада ствол «сорокопятки», прямой наводкой — по башенке бункера. Ответного выстрела не последовало. Когда с автоматами наперевес спустились в предбункер, пробрались, дивясь и остерегаясь, по длинному коридору, сошли по винтовой лестнице ещё ниже и рванули бронированную дверь бывшей комнаты службы безопасности, то увидели карточный стол, заставленный бутылками, залитый вином. За столом сидели двое. Кребс упал лицом на стол. Шеф-адъютант фюрера Бургдорф повесил голову, уставился в пол стеклянными глазами.

Война была окончена и всё ещё продолжалась. Все еще маячил за развалинами огромный тяжеловесный дворец с изрытыми огнем минометов колоннами портала, с каменными фигурами на крыльях, по-прежнему полоскалась свастика на кровавом полотнище над фронтоном, в лучах прожекторов. Две ночных атаки захлебнулись под огнем отчаянно оборонявшегося батальона СС и отряда юнцов с ручными миномётами, но вот, наконец, разлетелся от взрыва правый боковой вход. Красноармейцы уже бежали по коридорам. Русский танк приблизился к пролому, пушка медленно поворачивалась, словно вынюхивала последних защитников рейхстага. Минуту спустя танк горел внутри, подожженный фауст-патроном подростка, слышались крики, наконец, откинулась крышка люка, люди выкарабкивались из пекла, скатывались на землю, последним выпрыгнул из люка командир. Он был прошит тремя автоматными очередями — за час до капитуляции.

Война была окончена и, однако, продолжалась. Мертвец в расколотом шлеме, с пустыми глазницами, националсоциалистическая Германия, шатаясь, ещё размахивал зазубренным мечом. Но уже круглощёкая, ясноглазая, крутобёдрая деваха, Ника XX века в берете с красной звездой, в туго перетянутой гимнастёрке, с карабином за спиной, в форменной юбке до коленок и солдатских сапогах, машет флажками, правит движением на скрещении Унтер ден Линден и улицы кайзера Вильгельма, посреди погибшего города, в виду Бранденбургских ворот.

XV
И выйдет обольщать народы

1 мая 1945

Полковник Вернике поправил на лбу чёрную повязку, протёр здоровый глаз, различил в темноте тиснёные корешки книг за стёклами, он лежал на диване в библиотеке. Кто-то зашевелился в углу перед задёрнутыми шторами.

«Вы?» — спросил Вернике. Вспыхнула настольная лампа. Секретарь фюрера в расстёгнутом мундире, с серо-каменным лицом, сидел в кресле, прикрыв пледом ноги в тесных, некогда глянцевых сапогах. Фуражка с кокардой в виде черепа лежала на столе.

«Вам удалось поспать, рейхсляйтер?»

«Не знаю, — сказал Борман. — Возможно».

«Будем двигаться дальше?»

Борман медленно покачал головой.

«Лишено смысла».

«Но ведь мы, я полагаю, уже по ту сторону фронта».

«Фронта, — усмехнулся Борман. — Какого фронта?»

Он перевёл взгляд на отстёгнутый протез, стоявший возле дивана. Полковник Вернике лежал, смежив свой зрячий глаз. Секретарь фюрера привстал, заглянул за край оконного занавеса. Там была серая тьма, город исчез. Ни грома орудий, ни автоматных очередей, ни голосов. Борман упал в кресло.

«Странная тишина. Может быть, заключено перемирие?» — заметил, по-прежнему не поднимая век, Вернике.

Помолчали.

«Могли ли вы себе когда-нибудь представить, рейхсляйтер, — заговорил Вернике, — что всё так кончится? Я, по крайней мере, этого не ожидал».

Мартин Борман скосил глаза, ничего не ответил.

«Даже когда большевистские армии подошли к столице, я всё ещё не верил, что конец так близок».

«Ты считаешь, что это конец?» — спросил Борман, неожиданно перейдя на ты.

«Сомневаться невозможно. Конец — трагический и полный величия. Таково веление судьбы».

«Н-да, — отозвался Борман, — величие. Какое уж там величие».

Снова тишина.

«Я не люблю риторики. Вам угодно, — снова на вы, — выражаться поэтически».

«Какая уж там поэзия», — возразил Вернике в тон секретарю.

«Позволю себе, однако, не согласиться», — заметил Борман.

«С чем?»

«Для нас с тобой, может быть, и конец. Назовём вещи своими именами. Фюрер бросил отечество на произвол судьбы. Не пал в сражении, как обещал, а дезертировал из жизни. Помнится, он говорил, и я этому свидетель, что немецкий народ окажется не достоин своего фюрера, если мы проиграем. Уместно задать вопрос, оказался ли фюрер достоин своего народа. Ты молчишь?»

«Я слушаю, рейхсляйтер».

«Но так или иначе, война давно уже была проиграна. Это было ясно по крайней мере с тех пор, как мы оказались перед фактом наличия в Европе трёх фронтов... Разумеется, русские и американцы рассорятся, как только начнут делить добычу».

Он сбросил плед, подвигал носками сапог, потянулся всем телом. Встал и подошёл к дивану. Борман был лысоват, без шеи, с выпирающим животом. Ведь ему еще нет пятидесяти, подумал Вернике.

«Они уже ссорятся», — заметил он.

«Возможно. Не о том речь. Ты говоришь, судьба. Да, это так, наша судьба — исчезнуть. Рейх погибнет в огне. Собственно, уже погиб. В лучшем случае Германия превратится в скопище мелких захолустных полугосударств. В то, чем она была когда-то».

Он прохаживался по комнате, посвистывал. Остановился и вдруг спросил:

«Ты любишь Малера?»

«Малера?»

«Да. Густава Малера».

«Богемский еврей, — сказал Вернике. — И вдобавок давно забыт».

«Поделом ему. Пятая симфония, первая часть... собственно, там две первых части. Там всё предсказано. Всё что с нами произошло... Может быть, так было нужно. Германия должна была принести себя в жертву. Может быть, жидовско-христианская идея искупления обернулась на самом деле нашей идеей. Эта идея бессмертна, вот в чём дело, полковник. Национал-социализм — это феникс, сегодня он стал кучей золы. А завтра...»

Борман сделал несколько шагов и снова остановился, глядя в угол, где пряталось будущее.

«Придёт день, — сказал он, — наша идея покорит весь мир».

Приоткрыв занавес, он уставился в пустоту.

«Могу вам открыть один секрет, рейхсляйтер, — проговорил Вернике после некоторого молчания. — Я знал о Двадцатом июля».

«О заговоре? — усмехнулся чёрный мундир. — Вот как. Впрочем, и я о нём знал».

«Вы? Знали заранее?»

Борман небрежно кивнул.

«И... ничего не предприняли?»

Секретарь вождя навис над ложем, вперился мёртвым взором в лежащего. Редкие, гладко зачесанные волосы, лицо без лица. Упырь, подумал Вернике.

«Не время обсуждать», — отрезал Борман, отвернулся и, заложив руки за спину, зашагал снова.

Но остановился.

«Заговор был обречён. Штауфенберг был, безусловно, отважным человеком. Человеком идеи, надо отдать ему должное. Но заговор был обречён».

«Даже если бы...?»

«Да, — жестко сказал Борман. — Даже если бы фюрер погиб. Заговор был обречён, потому что его возглавили слабые люди, интеллигенты, христиане. Этими людьми руководили моральные соображения. Мораль мертва, полковник! Надо, чтобы во главе заговора стоял простой народный генерал, не скованный предрассудками, солдафон с низким лбом. Любимец армии. Может быть, Роммель...»

«И тогда?» — осторожно спросил Вернике.

«Что тогда?»

«Родина была бы спасена?»

Человек в чёрном усмехнулся. «Лежи», — сказал он презрительно, потушил лампу и раздвинул шторы. Наступило утро.

«Лежи, нам некуда торопиться. Ни у тебя, ни у меня нет больше шансов. Ни у кого из нас не осталось шансов... Но история на нашей стороне. Я не люблю риторики. Но иначе не скажешь. Германия принесла себя в жертву, да, взошла на костер — во имя обновления мира. Никто из нашего поколения до этого не доживёт, но то, что великий проект национал-социализма победит, не

подлежит ни малейшему сомнению. Мир идёт к этому. К несчастью, мы не успели окончательно истребить еврейство. Оно окопалось в Америке. Но с Европой, и с Азией впридачу, янки не смогут бороться. Цивилизация зашла в тупик. В этот тупик её загнала коррупция, власть золота, тот самый дракон Фафнер».

«Но Зигфрид убит», — возразил Вернике.

Борман усмехнулся.

«Вагнер больше не актуален. — Он подошёл к лежащему. — Ты когда-нибудь удосужился прочесть Коммунистический манифест?»

Полковник вопросительно воззрился на секретаря.

«Да, тот самый Коммунистический манифест, написанный немцем Энгельсом под диктовку еврея Маркса. Не удосужился. Напрасно! Много потерял. И Ленина ты, конечно, никогда не раскрывал, тоже напрасно. Нашёл бы у него несколько полезных мыслей».

«Например?»

«Эти люди, надо признать, не были лишены прозорливости. Уж они-то прекрасно понимали, что цивилизация денег, мир безудержной погони за наживой, гибельного либерализма, политической анархии, весь этот Вавилон — рухнет рано или поздно. Но что они предлагали? Марксистский проект пролетарской революции выглядит комической утопией. От него разит чесноком. Он насквозь пропитан ветхозаветной идеей царства Божьего на земле. Под которым, конечно же, подразумевается власть Иеговы. Что такое на самом деле диктатура пролетариата?» — говорил, устремив глаза в пространство, взад-вперёд поскрипывая сапогами, Борман.

«Вы хотите сказать, рейхсляйтер, что... Я тоже так думал...»

«Я больше не рейхсляйтер. Нет больше рейха. И меня не интересует, что вы думали».

Сумасшедший, подумал Вернике. То «ты», то «вы». Или пьян?

Тут он заметил, что под столом стоит плоская фляга из-под коньяка, пустая.

Вернике привстал, потянулся за протезом.

«Стоп. Лежать! Я ещё не договорил».

«Нам пора, рейхсляйтер...»

Борман метался по комнате.

«Идея абсолютной власти, воплощённая в личности вождя — вот чего им не хватало. Дисциплина, самоотверженность и восторг. Ледяной восторг, полковник! Вот что понял Ленин и... в какой-то мере, конечно, но осуществил Сталин. Мы недооценили этого кавказца. Вероятно, он добился бы многого, преуспел бы в мировом масштабе, если бы родился в другой стране. Он считал, что миром будет править славянство, роковая ошибка. Эта победа их погубит. Они потеряли так много людей, что даже для России это обернется катастрофой. Не такой, как наша, более медленной. Но надолго их не хватит. Мы не зря боролись с коммунизмом. Это был больше чем враг, это был конкурент. Сегодня он победитель. А на самом деле мы его сокрушили. Это было смертельное объятье...»

«А всё-таки, — пробормотал невпопад Вернике, — всё-таки... где мы?»

Борман остановился, тупо взглянул на него.

«Ты думаешь, на том свете? — сказал он. — Берлин — это и есть тот свет».

«Где мы, — повторил Вернике, — у наших? у русских?»

XVI
И возрыдают пред ним все племена земные

3 мая 1945

Плакаты на рекламной тумбе, на стенах домов с выбоинами от осколков.

WEHR DICH ODER STIRB
NUR DAS VOLK IST VERLOREN, DAS SICH SELBST AUFGIBT[1]

Русский правитель, без лба, с длинным нависшим носом, бровищами и усищами, с ножом в зубах:

DIESE BESTIE MUSS VERNICHTET WERDEN[2]

*

Где я? — бормотал, не замечая, что говорит сам с собой, человек с повязкой на вытекшем глазу, с непокрытой головой, в изодранном мундире с грязным подворотничком и чёрно-серебряным прусским крестом между углами воротника. Где русские? Смолкла канонада. Выглянуть из душного подземелья. Идёт дождь. Запах сирени плывёт из-за решётки сада.

Он увидел очередь перед мясной лавкой. Удивительно, что ещё что-то осталось, что не разнесли лавку. Стать в хвост. Но зачем? Дождь всё сильней. Кто-то уверенно говорит о близком спасении. Вы что, не слышали? Венк со своей армией идёт на выручку.

А, пусть думают, что хотят.

Барышня читает вслух экстренное сообщение, замызганный листок. Фюрер, до последнего дыхания сражаясь во главе армии, пал на поле боя.

Фюрер... до последнего дыхания... Личный шофёр с камердинером выволокли обоих, Гюнше облил бензином. Столб огня. Пал, сражаясь, на поле боя. Пусть, пусть думают, что хотят. Но любопытно — потрясающая новость, и никакой реакции в очереди.

Говорят, они уже в Цоссене. Кто? Этого не может быть. Откуда это известно? Всякий, кто распространяет провокационные слухи, подлежит расстрелу на месте. Ах, оставьте вы все это. Сейчас самое главное не попасть в лапы к азиатам.

Кто-то нацарапал мелом во всю стену: Si fractus illabatur orbis, impavide ferient ruinae.[3]

Нам только латыни и не хватало. Скоро появятся русские надписи.

Вы бы лучше, господин полковник, сменили вот это... Что сменить? Показывает на мундир и Ritterkreuz[4]: мало ли что... на всякий случай.

---

[1] Защищайся или умри.
Лишь тот народ погиб, кто сдается.

[2] Этого зверюгу надо уничтожить.

[3] Если, расколовшись, обрушатся небеса, неустрашимо вознесутся руины. (*Гораций*).

[4] Рыцарский крест.

*

На искусственной ноге вверх по лестнице, вдова аптекаря предложила у неё переночевать.

Нестарая женщина, пожалуй, меньше сорока, стройные ноги. С верхней площадки смотрит на карабкающегося офицера.

Ветер треплет штору из плотной бумаги, затемнение — кому оно теперь нужно? Просторная квартира. Отсидеться, отлежаться. Он представил себе широкую супружескую кровать. Прошу вас, г-н полковник. И... и тут опять вой сирен, срочно вниз. Неважно куда, в подвал так в подвал. На лиловом небе самолёты, совсем низко, как шмели. Со стороны Рангсдорфа равномерные залпы флаков[1]. Значит, на юге всё ещё держатся.

Тяжёлая герметическая дверь, бомбоубежище какого-то учреждения, чиновники, разумеется, сбежали. Потолок подпёрт свежеокорёнными бревнами. Люди сидят, согнувшись, вдоль стен. Рты и носы обвязаны платками. Якобы предохраняет от разрыва лёгких взрывной волной.

Если, расколовшись, обрушатся небеса.

Господин офицер, вам бы лучше... Кивает на мундир и орден. Сами понимаете. Русские уже в...

Всякий, кто распространяет провокационные...

Рёв, свист — все ближе. Грохот разрыва сотрясает потолок и стены подвала. Большевистский бог войны. Еврейский бог мести. Если вспомнить, что мы там, у них, натворили, что ж. Неудивительно.

Майский день померк. Парк изрыт воронками, в кустах кучка женщин. Похороны девушки-санитарки. Остановившись, он тупо смотрел, как заворачивают в какую-то скатерть несчастное безногое тело и опускают в яму.

Теперь куда?

Опять эта женщина. От дома ничего не осталось. Осталась одна жена аптекаря.

В погребе или где там. В жилище лемуров. Стропила намазаны фосфором, чтобы не расшибить лоб. Глаза привыкают к темноте. Последняя новость: «ами» и «томми» рассорились с русскими и перешли на нашу сторону. Пожалуйста, не наступайте на ноги. Куда ещё — здесь и так повернуться негде. Господин офицер, вам бы всё.таки... Нет, вы только подумайте: удалось дозвониться по телефону. Сестра говорит: «Wir sind schon Russen».[2]

Этого не может быть. Связь прервана. А я говорю вам... Вы уверены, что это она? Где она живёт, ваша сестра? В Веддинге. Тогда всё понятно. Вражеская пропаганда, Веддинг всегда был коммунистическим районом. Вот так и распространяются провокационные слухи.

А что, они ведь тоже люди. Подруга рассказывала: подъезжает танк, оттуда вылезает Иван, лицо в копоти, рот до ушей, женщины бегут навстречу.

Ложь. Они всех женщин. Старух, маленьких девочек, всех подряд. Хоть кричи, хоть не кричи. Сперва это самое, потом стреляют. Вот так — в упор: встанут, подтянут штаны, и — в лоб, в грудь, в живот, всех подряд. Вы это ещё увидите.

Да что там говорить. На нее посмотрите. Беженка из Восточной Пруссии. Что-то ещё бормочет на диалекте. Явно не в своём уме.

---

[1] зенитные орудия.

[2] Мы уже русские.

Всё-таки, знаете: у них ведь тоже есть и матери, и сёстры.

Чуть было не сказал — я сам был на Восточном фронте. Уже, можно сказать, в самой Москве. Проклятое, обманчивое «чуть-чуть».

Они всех без разбору. Лишь бы было что между ногами. А я вам говорю, я точно знаю, переговоры уже начались. Ами и томми не допустят, чтобы Берлин стал русским. Еще немного потерпеть... Венк на подходе. Что Венк? Где Венк? Нам всем крышка. Они всех... Мужчин сходу, а женщин потом.

Чего ж вы хотите. Женщины всегда были добычей победителя.

И маленькие девочки, и старухи, — да? Вы *это* хотите сказать?

А что мы у них там творили, тебе это известно? Мне племянник рассказывал.

Не хочу слушать, schert euch alle zum Teufel.[1]

Подъехали к одной деревне, а там будто бы ночевали партизаны.

Ну, партизаны, это совсем другое дело, это же звери.

Наши тоже хороши...

Кто подъехал-то?

Да не слушайте вы его. Разве вы не видите, что это за фрукт.

Sonderkommando,[2] вот кто. И видят: навстречу идёт священник. В чёрной рясе, седая борода, и держит перед собой золотой крест. Это он вышел просить, чтобы пощадили деревню. А его попросту скосили автоматной очередью. Потом сожгли всю деревню из огнемётов, детей, старух — всех.

Да не слушайте вы его. Немецкий солдат детей не убивает. Это чёрная рать. Слушай, ты, если ты не замолчишь... И вы тоже, не знаю, в каком вы чине. Или вы стащите с себя к чёртовой матери этот мундир, или...

Или что?

Или катитесь отсюда. Сейчас Иван придет. Нас всех расстреляют вместе с вами.

«Прежде *я* тебя пристрелю», — холодно говорит Вернике и вынимает пистолет.

*

Свист, грохот, рушится потолок. Ничего, мы ещё живы. Лицо в потёках крови, но, кажется, цел. В горле сухо от известковой пыли. Звуки доносятся как сквозь вату, по-видимому, оглох. А кстати, какое сегодня число? Довольно валяться. Вдруг наступило лето. Осколки жаркого солнца хрустят под сапогами. Вперёд — во что бы то ни стало. За углом полуразрушенного дома — табличка с названием улицы, этого не может быть, вот так сюрприз, мы в двух шагах от Шпрее, ну-ка живей, перебраться через мост Кронпринца, если мост цел. Улица перегорожена баррикадой, ребячьи голоса, патруль подростков. Вскакивают и отдают приветствие. Командир, старик с фельфебельскими погонами, вышел навстречу. Здесь бои начались три дня назад. Здесь было 5000 мальчишек. Осталось 50. Затем все как-то странно меняется.

Русский танк «ИС» впереди, в просвете улицы. Пушка опущена низко к мостовой, кумулятивная граната прожгла броню. Экипаж погиб. Нет, они здесь. Или другие; какая разница? Высунулись круглые шлемы, автоматчики поднимаются из-за руин. Один забросил оружие за плечо, вытянул из травянистых галифе портсигар, сворачивает самокрутку. Наконец-то. Словно к дорогим

[1] Катитесь вы все к черту.

[2] спецподразделение СС.

долгожданным друзьям, выходит навстречу, припадая на ногу, оборванный, в серой щетине человек с почернелым лицом, и как будто видит себя со стороны: всё как в замедленной съёмке. Беззвучно опускаются брызги земли, оседает пыль и извёстка, полковник Вернике медленно поднёс руку к лицу, стащил грязную повязку с мёртвого глаза на виду у вскинувших было и тотчас опустивших свое оружие солдат, стоит посреди улицы, — вместо левой ноги протез, вместо меча восьмизарядный вальтер Р-38, — и не спеша приставляет дуло к виску.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XVII
Жизнь — государственная тайна

Без даты

1.

Если бы существовала астрономия событий, мы увидели бы, как туманное солнце Победы, встало на востоке и, останавливаясь, исчезая в тучах и вновь поднимаясь, постепенно светлея и наливаясь золотом, ползло все выше, пока, наконец, не достигло зенита: это было утро 9 мая 1945 года. Толпы бежали к Красной площади, плакали и смеялись, и обнимались, и было видно за морем голов, как взлетают над головами солдаты войны с побрякивающими медалями на гимнастерках, и в небе плыл и полыхал стяг со знакомым портретом.

Жизнь, новая жизнь начиналась при звуках победных труб, жизнь казалась обетованной землей, наконец-то обретенной, и, однако, осталась прежней, — по крайней мере, так казалось, и уже далёким эхом звучал в ушах топот парадных сапог, заглохла маршеобразная музыка, жизнь мчалась, а вместе с тем стояла на месте, как стоит вагон под стук колёс, а навстречу летят поля и деревни; жизнь была предопределена, для неё, словно в чёрную дыру туннеля, были проложены рельсы во мрак будущего, и она неслась по ним, увозя ни о чём не подозревавшего пассажира на тот свет. То, что древние называли фатумом, а люди менее просвещённого времени — Божьей волей, теперь именовалось государственной тайной. Станок ткал серо-чёрную ткань под названием «диагональ». Рулоны этой ткани прибыли на тайный северный полустанок, где бригада простуженных подростков разгрузила их прямо на снег, а ты, приятель, где ты был в это время? Ни о чём не подозревал, ничего не знал о государстве тайн и заграждений и, сидя на корточках где-нибудь в Парке Культуры, затягивал шнурки ботинок с коньками разрумянившейся барышне в белой вязаной шапочке с помпоном, и гремела музыка, и флаги трепыхались на мачтах, и сияли фонари, лёд блестел, и падал снег.

Между тем угрюмые тощие женщины, все в такт, кивая серыми стрижеными головами, стучали ногами по приводу, стрекотали швейными машинами под тускло-слепящим светом лампочек без абажуров, и глядите-ка, твой бушлат готов, новенький, и топорщится, перетянутый верёвкой в кипах готовой продукции, по десять штук в связке. Сгорбленная старуха с самокруткой во рту, дочь действительного статского советника и правнучка декабриста, пересчитала кипы и расписалась в бумажке. Пятьдесят лет тому назад она подрывала устои государственного строя, в короткой шубке стояла на стрёме, пока два гимназиста лепили клейстером прокламацию прямо на дверях губернского дворянского собрания; потом отправилась за границу изучать революционную тео-

рию, и сорок лет жизни ушли на собрания, речи, платформы, членские взносы, выборы комитетов, разоблачение уклонов, борьбу фракций, резолюции, дым дешёвых папирос и дебаты до пузырей пены в углах рта; в те годы она коротко стриглась, ходила крупными шагами в холщовой юбке, а теперь носила бушлат, крутила и слюнила четвертушки газетной бумаги с махрой и пересчитывала новенькие бушлаты. Жизнь была предопределена, жизнь неслась вперёд и стояла на месте, огороженная колючей проволокой, окружённая со всех сторон, словно минными полями, государственной тайной.

2.

Итак, бушлат был готов, ждал тебя, оставалось дооформить дело. Стёганый ватный бушлат в гардеробе отечественной истории — то же, что тога в Древнем Риме, рыцарский плащ и монашеская ряса Средневековья или камзол века Светочей. Имя изобретателя бушлата неизвестно, фасон и выкройки — компетенция ведомства охраны государственных тайн, подобно инструкциям тайной полиции, местонахождению оборонных заводов, паспортному режиму, сведениям о сексуальной жизни вождей. И то, что всё это — государственная тайна, есть в свою очередь тайна.

В толковых словарях говорится, что бушлат — это форменная одежда моряков, не верьте, первейшая обязанность лексикографа — хранить тайну. Словари лгут, как лгут календари и парадные сводки перевыполнения планов, где производство бушлатов не удостоено отдельной графы. Но на самом деле бушлат, бушлатик, есть одеяние эпохи, национальный наряд, форменное рубище, носимое зимой и летом. Бушлат не покупают, его выдают — взамен рубахи, куртки, пальто или шубы; бывшему дирижёру он заменяет фрак, бывшему моряку — морской бушлат, бывшему монарху — мантию. Бушлат служит подушкой и одеялом. Бушлат фигурирует в лагерных преданиях, порождает целый лексический слой. Идиоматическое выражение «одеться деревянным бушлатом» означает врезать дуба, сыграть в ящик, освободиться с биркой на левой ноге, откинуть лапти, отбросить копыта, приказать долго жить, загнуться, околеть, подохнуть, почить в Бозе: *умереть*.

3.

Государственная тайна есть феномен, целесообразность которого не то чтобы иллюзорна, о, нет, но как бы растворяется в том, что на первый взгляд порождено определённой целью и назначением: в мертвенном сиянии газосветных ламп, в лабиринте коридоров и дверей, в неслышном шаге сапог по ковровым дорожкам, в контрольных постах на площадках этажей, в бессонных караулах у глухих ворот и гранитных подъездов, побелевших от инея, в уходящих ввысь рядах тёмных, слепо отсвечивающих окон цитадели, похожей на колумбарий. На первый взгляд то, что там происходит, есть средство для достижения некоторой цели. На самом деле в них, в этих средствах, и состоит цель, смысл и задача.

Там ткут, прядут, как Парки, нить судьбы, там трудятся ночь за ночью напролёт, там дрожит в спёртом воздухе беззвучная музыка бдения, там сидят в обшитых дубом кабинетах неподвижные, как буддийские изваяния, начальства, там скрипят перьями в кабинетах с зарешечёнными окнами младшие и старшие следователи в накинутых на плечи шинелях, с простыми, как пемза, лицами выходцев из народа, с окурком в углу рта; там вырабатывается особый

бесплотный материал — субстанция государственной тайны, подобно тому как паук фабрикует бесцветную паутину, как ткётся ткань на бумажнопрядильном комбинате, и существуют нормы, и есть техосмотр, и есть передовики, перевыполняющие производственный план.

И, как в еврейском предании невидимая рука раз в год записывает в Книгу судеб, кому жить, кому умереть, так и здесь, пока ты копошишься в своей маленькой жизни, некто невидимый решает твою судьбу в тайных канцеляриях. Множатся донесения, подшиваются новые материалы, дело пухнет и переходит из одного кабинета в другой, обрастает визами и резолюциями, уснащается постановлениями, последний удар штемпеля — папка захлопывается. Ночные автомобили просыпаются в подземном гараже. Вспыхивают фары. Раздвигаются ворота. Машины развозят только что вышедшую из ткацкого станка тайну по адресам.

Знал ли ты, знали ли все вы о том, что в недрах огромного здания, в сердце тайны спрятана сердцевина, что в подвалах раздевают догола, стригут машинкой под ноль, затем холодный душ, и хорошо, если только это; что в гробовой тишине по длинным переходам ведут арестанта, чмокая, пощёлкивая языком, постукивая ключом по пряжке, чтобы не встретиться с другим конвоиром, что на крышах за высокими стенами помещаются прогулочные дворы и стоят сторожевые вышки, — и всё это в центре огромного города? Нет, разумеется. Не знал, и никто не знает.

Тайна, как туман, окутывает город.

XVIII
Свидание

28 октября 1948

Это произошло... Неплохой зачин для рассказа, в котором невероятность событий узаконена поэтикой приключенческой литературы, но, к несчастью, такая литература — не наш удел. Это произошло в прекрасном старом доме Дементия Жилярди на Моховой, в левом крыле, если стать спиной к Манежу, Александровскому саду и звёздно-зубчатой крепости. И была тихая, блёклая, солнечная, задумчивая погода, какая стоит только в октябре и только в нашем городе.

Этот дом стал легендой, мифом. Рассказывают, что он стоит по сей день; малоправдоподобное утверждение. Никогда больше мы не входили в воротца ограды, не поднимались на площадку третьего этажа, туда, где справа окно и низкий подоконник, а посредине вход на факультет, никогда не заглядывали в угловую, называемую Круглой, аудиторию. Пожилая женщина в кацавейке и тёплом не по сезону платке, отчего она казалась ещё старей, в тёмной юбке, на ногах довоенные фетровые боты, в руках кошёлка, все в этом столетии ходили с кошёлками, — стояла, ожидая конца последней лекции. Студенты гурьбой покидали зал. Она приблизилась, ей нужен был репетитор для внука.

Несколько времени оба топтались в коридоре, шум и толкотня мешали разговору. Но именно так, на публике, следовало произнести первые фразы, мне вас рекомендовали, что-то в этом роде. Может быть, отойдем в сторонку?

В шестом классе, продолжала она, входя в аулиторию. По математике лучше всех, а вот с русским языком беда. Не хотелось нанимать взрослого преподавателя, хорошо, если бы репетитор был товарищем для мальчика.

Что-то недоброе почудилось ему в этой тётеньке, но, может быть, память исказила первое впечатление. Тусклый взгляд, бесцветный голос; вдобавок, произнося отрывки фраз, она прикрывала рот, словно стеснялась недостающих зубов. В опустевшем зале — это и была вышеупомянутая Круглая аудитория — подошли к подоконнику, она смотрела вниз, на пустынную площадь, наклонилась, чтобы увидеть угол улицы Герцена, откуда выворачивал трамвай. Она искала глазами людей, дежурящих на углу, нищего, который сидит перед оградой слева от ворот. Ничего подозрительного, люди спешат по тротуару, подчиняясь единому ритму, тяжёлому, учащённому дыханию города. Уже висел вдоль Манежа длинный плакат с изречением: «Мир будет сохранён и упрочен, если народы мира...» — дальше не было видно, но все знали его наизусть. Всем было известно: мы — за мир! *Мы за мир, и песню эту понесём друзья по свету. Пусть она тра-та-та.* Сбоку над фронтоном, на крыше, рабочие тянули вверх на канатах огромный покачивающийся портрет в литых усах, в мундире с расшитым воротником и звездой Победы.

Она проговорила, всё ещё не глядя на тебя: «Дело вот в чём...» — и студент подумал, что она выставит какое-нибудь особое условие; она поправила платок на голове и коротко, пристально взглянула, видимо, сомневаясь, сможет ли он справиться с обязанностями репетитора.

«К сожалению, — сказала она, — мне надо спешить. И вам тоже».

«Мне?» — спросил он.

«Да. Только ни о чём меня не спрашивайте. Никакого внука у меня нет».

А кто же, задал он нелепый вопрос.

Она посмотрела ему в глаза.

«Обещаете, что никому не слова? И, пожалуйста, никаких вопросов. Вы меня не знаете, я вас не знаю. Вы меня никогда не видели, ясно?.. Вам надо уехать».

Молодой человек воззрился на старуху. Уехать, куда?

«Из Москвы, срочно. Куда-нибудь... чем дальше, тем лучше. Это мой совет вам. Мы не можем долго разговаривать, — говорила она бесцветным, безразличным голосом, — я сейчас уйду, а вы немного побудьте здесь. Вас должны арестовать».

«Меня? Кто?» — спросил он растерянно.

Старуха мелко кивала головой в сером платке: да, да.

За что, спросил он.

На прошлой неделе ты поругался с кем-то в кино, в очереди перед кассами, вы были втроём, ты, она и Аглая, вмешалась милиция. Выходит, милиция?.. Летом на пляже к тебе подошла цыганка, открой десять карт, сказала она, какие будут красные, а какие черные. А что это значит? А то значит, сказала она, что красные к радости, чёрные — к горю, он открыл, все десять оказались красными.

Мы за мир, и песню эту. Понесём, друзья, по свету.

Всё это неслось в голове. Он снова спросил: «Но за что, вы мне можете сказать?»

«Это уж вам знать».

«Откуда вы взяли?»

«В какую-нибудь из ближайших ночей... я думаю, ближе к празднику, это делается ночью. Никому ничего не говорите, маме вашей скажите, чтобы вас не разыскивала, уезжайте, и всё. В глушь, где вас никто не знает».

Что-то ещё удерживало её.

«Главное, не задерживайтесь, уезжайте сегодня же. Лучше ночью, чтобы никто не видел. Это безумие, что я вас предупредила».

Студент остался в пустой аудитории, тупо размышлял о чём-то, вышел, спустился, вышел на улицу и повернул направо, пересёк трамвайную линию, остановился. Он прочёл: «Мир будет сохранён и упрочен, если народы мира возьмут дело мира в свои руки и доведут его до конца». Что означала изречение вождя? — очевидно, ничего, это была словесная конструкция, лишённая содержания. Но ему подумалось, что перед ним тайнопись, зашифрованное сообщение. Он двинулся назад, перешёл снова улицу Герцена.

Он шагал по тротуару, вдоль решетки университета, мимо ворот медицинского института, мимо американского посольства, мимо окон ресторана «Националь», шёл, не оглядываясь, вдруг поверив, уверенный, что за ним идут. Он ничего не знал *о них*, и всё-таки знал: его *накололи*, следят из подъездов, поджидают на углу улицы Горького, он замедлил шаг, нужно было резко изменить маршрут, нырнуть куда-нибудь, но нырнуть было некуда. Люди спешили вокруг, кто-то выругался, наткнувшись на него. Незачем гадать, почему, за что, они всё видят, всё знают, если придут за тобой, значит, есть за что. Никому не известно, что они замышляют, всё — тайна, и кто такие эти они, тоже тайна.

Какие выйдут красные, а какие черные. Вишь ты, одни красные. Или — недоразумение, подержат и отпустят? Но нет, сказал он себе, и как же это мы раньше не догадывались. Весь предпраздничный шум, друг мой, дурачина, и блеск витрин, и сверканье автомобилей, и толкотня на тротуарах, всё это — морок, обман, переливчатое покрывало индийской Майи, а под ним — ночь и туман. *Мы за мир, и песню эту...* И всю дорогу, непрестанно дурацкая мелодия бубнила у него в мозгу.

XIX
Героический эпос бдительности

Вечером 28 октября

Она сказала правду, не было никакого внука, но был сын. И когда, проделав кружной путь, — лишняя предосторожность не мешает, — сперва в другую сторону, в густой толпе пешком к Арбату, потом на метро сколько-то остановок и опять пешёчком до Покровских ворот, — когда она вошла в подъезд старого дома на углу Колпачного переулка, поднялась по лестнице, открыла дверь коммунальной квартиры своим ключом и, неслышно прошагав по коридору, вступила в комнату, когда, наконец, размотала платок и повесила кацавейку, — при этом оказавшись, как мы и думали, не такой уж старой, — то первый вопрос не был произнесен, но был задан одним движением глаз: ну как?

Сын лежал на кровати, костыли стояли в углу. За окном — нежно-фиолетовое, фисташковое, как всегда в это лучшее время года, в этом лучшем из городов, небо, негаснущий, погожий день.

Мать сидела на стуле, боком к обеденному столу, руки на коленях. Виделась ли она с ним. Удалось ли его отыскать? Конечно, сказала она. Сразу узнала. — Так. И что же? — Ничего. — Сказала?

Молчание.

«Да, сказала».

«А он что?»

«Он ничего не понимал. Я боюсь, — проговорила она. — За тебя боюсь».

«Ерунда. Мне ничего не грозит. Ты ему что-нибудь рассказала?»

Словно страдая от невыносимого зуда, так похожего на зуд в пальцах несуществующей конечности, он выпытывал каждое слово: что, как, о чём говорили. Не волнуйся, Юра, сказала мать, никто нас не слышал. Я же говорю тебе: вызвали тебя, потому что ты член партбюро. Всех вызывали, возразил он угрюмо. Вызвали тебя, продолжала она, как коммуниста. Ну и, конечно, репрессированный отец.

Может быть, и других заставили подписать. Кто это может знать? Нет, конечно, ни о чём она не рассказывала. Никаких вопросов, я вас не знаю, вы меня не знаете. И что ваш однокурсник — мой сын, и что его *вызывали*. Удивительное слово тех лет: произнесёшь, и всё ясно, кто вызывал и куда. И зачем вызывали, тоже не надо объяснять. Обречённый ни о чём не подозревает. Его тело всё ещё живёт среди людей, двигается в толпе студентов, с шумом, смехом вывалившихся из Круглой аудитории, только что окончилась лекция. (О французском классицизме, уточнил сын). Но уже накинута на него невидимая сеть, уже одной ногою он *там*, и вот-вот поедет по эскалатору в преисподнюю. Уже невозможно называть вслух его имя.

Пойми, Юра, сказала мать, повторяя то, о чём они проговорили полночи, решив, наконец, что она отправится в университет и предупредит, пойми, ты всего лишь свидетель. Так это у них называется. Ты думаешь, оттого, что ты что-то подтвердил, что-то подписал, его и заберут? Всё решено заранее. Они всё знают без тебя. И знают гораздо больше. Им нужен формальный свидетель — может быть, даже не один. Они всегда действуют по закону. Который сами же сочинили. И твои показания сочинили, и его собственные, на самого себя, это отработанный механизм. За ним следят уже давно, это я тебе гарантирую. Ждут, когда накопятся доносы. Настоящий виновник — это осведомитель, кто-нибудь в вашей группе. Его-то, конечно, вызывать не будут. От твоих показаний ничего не изменится. Этой сетью опутали всех. Уж я-то знаю. Господи, — мальчишка, я же видела, кто он такой: мальчишка.

«Я тебе так скажу, — продолжала она, — и больше не будем возвращаться к этому разговору. Чтобы как-нибудь устроить умственно осталых людей, есть лечебные мастерские. Там слабоумные клеют картонные коробки. А чтобы дать работу садистам, создана эта организация, все эти управления, подвалы, тюрьмы».

«По-настоящему, — сказала она, — надо бы арестовать меня. Я их ненавижу. Я всех их ненавижу. Я ненавижу усатого ублюдка. Твой отец исчез в тридцать седьмом году, через десять месяцев мне ответили: десять лет без права переписки. Что это означает, это мы уже и тогда знали. А твой дед был народовольцем».

Всё так, думал инвалид. Он сидел на кровати, опустив ногу на пол, давно уже стемнело, шелковый абажур освещал стол и лицо матери, все остальное — стены, книги — было погружено в сумрак. Не я, так другой, и ничего бы не изменилось. Свидетели — чистая формальность, всё правильно. И всё-таки, всё-таки!..

А она думала: мало того, что мальчик прямо со школьной скамьи отправился на фронт. Мало того, что пришел с войны калекой. Сколько их вообще осталось — из всего их класса вернулось двое. Так нет же, надо мучить его ещё.

Они вызывают людей, чтобы связать всех единой порукой. Накануне, вернувшись, он рассказал, как было: позвали в деканат. Там говорят — зайдите в секретариат, какие-то формальности. Он отправился в административное крыло. Дом Жилярди выходит на площадь покоем. Клятвенные братья Огарёв и Герцен, в кустах на своих постаментах, могли бы кое о чём напомнить. Университет, оплот русского свободомыслия... эх, эх. Он шёл, опираясь на палки, переставлял ноги. Нашёл ректорат, секретарша взглянула на него, он объяснил, что ему велели явиться. К кому? — спросила она и, не дожидаясь ответа, сняла трубку телефона. Там что-то ответили. Он заковылял дальше. Кум обитал в конце коридора за дверью без таблички. Он постучался, подождав, отворил, там была вторая дверь, он снова постучался. Уполномоченный сидел за столом, это был гладколицый, синеглазый, сдержанно-вежливый человек в штатском, разговор в кабинете за двойной дверью начался с уважительных комплиментов, в них сквозило даже некоторое участие. Юра знал, что такое особый отдел. Но сидевший напротив него не был похож на военных особистов, он говорил без южного акцента, правильным русским языком, не тыкал, говорил «вы». Себя называл «мы». Это была форма, называемая в грамматике pluralis majestatis, множественное величества. Присаживайтесь, — тут он назвал Юру по имени-отчеству, — вы, наверное, догадываетесь, зачем мы вас пригласили. Не догадываюсь, сказал Юра. Хотелось бы, м-м, побеседовать. Речь идёт о... Он назвал фамилию, мягко взглянул на посетителя. В нём было что-то подкупающее, он словно хотел сказать: вот видите, вы ожидали увидеть какого-нибудь дуба, мы совсем не таковы. Не буду от вас скрывать, продолжал он, у нас есть сведения, что...

Откуда это известно, холодно спросил Юра, и в ответ уполномоченный усмехнулся, кинул на свидетеля оценивающий взгляд, как бы прикидывая, что это: наивность, или притворяется? К вашему сведению, сказал он осторожно, органы осведомлены обо всём. — Зачем же тогда...? — Вы хотите сказать, возразил уполномоченный, зачем понадобились ваши показания. Но это ваш долг, долг советского гражданина, коммуниста. А если, спросил Юра, я откажусь. Уполномоченный потянулся за портсигаром, протянул свидетелю, Юра помотал головой. Уполномоченный закурил Откажетесь помочь следствию? — спросил он. — Ваше дело, мы никого не принуждаем. Возможно, придётся сделать соответствующие выводы. Он смотрел на свидетеля ясным взором, в котором можно было уловить насмешку, впрочем, еле заметную. Кстати, хотел бы напомнить, что укрывательство врага — уголовно наказумое деяние. Конечно, до этого дело не дойдёт, вы один из лучших студентов, по окончании партбюро будет рекомендовать вас в аспирантуру, мы поддержим ходатайство.

Какой же он враг, сказал Юра. Он всё ещё упирался. Кум не спорил. Да, пожалуй, правильней будет сказать — не враг, а заблуждался. Мы выясним. Может быть, ограничимся разъяснительной беседой. Вправим мозги. То, что здесь написано, установленный факт, сказал он холодно и взглянул на часы. Сейчас, думал Юра, напомнит об отце. Он видел это по глазам кума. Страха он не испытывал. Сейчас, подумал он, меня вырвет. Прямо здесь, на пол. На всякий случай он отодвинулся. Интересно, как он будет реагировать. А что если спросить: где ты был, сука, во время войны? *Где вы все были, сволочи.* Ему протянули протокол, он расписался. После чего положили перед ним печатный бланк с обязательством о неразглашении, и здесь тоже оставалось поставить подпись.

«Разъяснительная беседа... Держи карман шире», — пробормотала мать с кривой усмешкой.

Тебе не в чем себя упрекнуть, сказала она твёрдо. Если бы ты отказался, ничего бы не изменилось. Оттуда не возвращаются. А тебе бы они отомстили. Да, узнала его сразу, сказала, что нужен репетитор. А когда остались вдвоём, посоветовала уехать, вот и всё. Куда-нибудь в глубинку, страна у нас, слава Богу, большая. Она знала по прежним временам, что такие случаи бывали, людям удавалось отсидеться в глуши, пока там, наверху, не наступит очередная ночь длинных ножей, новые крысы не передушат старых. На другой день писателя не было на занятиях. Не появился он и назавтра, и через неделю, и через две недели. Не то заболел, не то перевёлся куда-то. Кто-то кому-то сказал по секрету, пошёл запашок, слушок: арестован; за что, лучше не спрашивать. Нет дыма без огня — наверное, есть за что. Пошёл слушок, за кражу книг в Ленинской библиотеке. Пошёл слушок — за участие в антисоветской организации. Уже не первая раскрытая организация. Этажом ниже, на философском, тоже раскрыли подпольный кружок по изучению индийской философии. На партбюро секретарь сделал краткое сообщение: органами государственной безопасности разоблачён и так далее; нам всем, товарищи, нужно сделать из этого серьёзные выводы. Не для разглашения. Этим была подведена черта, после чего стало ясно, что писателя вообще никогда не существовало. Кто такой NN? Не было никакого NN.

XX
Побег № 2. Если это вообще возможно

1 ноября 1948

Поезд нёсся мимо закрытых шлагбаумов, пакгаузов, пустырей, поезд стоял на вокзалах, перроны, освещённые могильными фонарями, ночной стук колёс, как стук огромных часов под ухом, рассвет в потёках дождя, пассажир держал рюкзак на коленях, в страхе протягивал билет контролёру, высматривал милицейскую фуражку на платформе, дремал, пробуждался в переполненном вагоне, вновь поднимал голову, налитую свинцом, и в панике проверял, на месте ли деньги во внутреннем кармане, вагон почти опустел. А там новые толпы штурмуют на станциях вагонные площадки, и опять милиция, и опять контролёры, и дежурный в красной фуражке подаёт знак кому-то на платформе, и в каждом из входящих беглец старался угадать переодетого сотрудника. Весть о побеге летела вслед за ним, пересаживалась с поезда на поезд, растекалась по городам. Так он думал. Пассажир смотрел на медленно проплывающие, нераспаханные поля, на таёжные леса, постепенно растущие на горизонте, надвигающиеся, словно оккупационные войска, и вот уже летят, обгоняя друг друга, тёмные ели, опускаются, так что становятся видны верхушки, вагон подрагивает, постукивает, пронзительный свисток локомотива, и полустанок пронёсся мимо, пронеслась будка путевого обходчика, поезд идёт по длинной загибающейся насыпи, над ним необъятное небо, и внизу, сколько можно охватить взглядом, густой неподвижный лес.

И тут тебя охватывает неописуемое чувство, смесь отваги, отчаяния и злорадства; второй раз в жизни, очертя голову, он бросается навстречу небывалому приключению — прыжок с парашютом в пустоту. Voilà! — они явились среди

ночи, как предсказывала эта тётка, — машина остановилась перед подъездом — сверяют номер — кулачищем в дверь — нет, кулаком, наверное, не стучат, длинный звонок — фуражка с голубым околышем — за ним другие — квартира вслушивается, поднимаются головы с подушек — сапоги в коридоре —стук в дверь — вваливаются в комнату, узкую, как пенал. *Здесь проживает такой-то?* А его уже след простыл.

Странная теория — считается, что таким способом можно спастись. Переждать... пересидеть. Оно, конечно, верно, что там всё знают, всё видят, а всё же кому-то посчастливилось ускользнуть. Приедут незваные гости, а он здесь больше не живет. Ночной лейтенант сидит за столом, постукивает пальцами, другие заглядывают за портьеру, под кровать. Уехал, куда? Как же это вы не знаете. И давно? Да он совершенно отбился от рук, живёт своей жизнью. Тэк-с. Пристальный взгляд, пальцами та-та-та. И ведь не могут сказать, зачем пришли: государственная тайна. Удивительная теория, она выворачивает тайну наизнанку и обращает её против тех, кто продуцирует тайну. И что же дальше? А ничего. Дел много, работы невпроворот, отложат, а там, глядишь, переменится погода. Так уже бывало. Оказывается, была даже родственница в Ленинграде, муж был арестован — в двадцать седьмом году голосовал за троцкистскую оппозицию. Решила не дожидаться, когда придут за ней, собралась и укатила с трёхмесячным ребёнком на Урал. И прожила там два года, пока не рухнул Ежов и ветер не подул в другую сторону. Времена, сказала мать, не вечны. И видно было, что она изо всех сил старается в это поверить.

А ты, спросил он. А я, если успею, уеду к сестре. Она металась по комнате. Бог даст, сегодня ещё не придут. Они всегда являются накануне праздника, это известно. Откуда ты знаешь, спросил сын. Это известно, повторила она. Оба ни на минуту не усомнились, безоглядно поверили незнакомке во вдовьем платке. Да и нельзя было не поверить. Такие вещи не выдумывают; значит, знала. Мать провела полдня в очередях перед кассами на Ярославском вокзале. Была глубокая ночь. Писатель сидел, откинувшись на спинку дивана, всё ещё называемого оттоманкой, на котором он спал ребёнком, всё было как в прежние времена — пианино, буфет, только детского столика с книжками давно уже не существовало. Мать металась туда-сюда, забывала, вспоминала.

Подумать только, что делается. Теперь они уже и детей хватают. Но я тебе скажу, — она остановилась с бельём в руках, — ты сам виноват. Ты мне никогда ничего не рассказываешь. Где ты проводишь время, с кем водишься. Шуточки, анекдоты, неужели ты не понимаешь, где ты живёшь. Чего уж теперь говорить. Я для тебя не авторитет. Был бы папа жив, он бы тебя приструнил. Надо переждать. Всё-таки есть справедливость. Например, после тридцать седьмого года, когда сняли Ежова, всё изменилось. Сталин вмешался, и всё это кончилось. Она вздохнула, она действительно вела себя мужественно. Только бы не разбудить соседей. Вот деньги, вот тёплые носки. Где билет? Паспорт не забудь. Слава Богу, страна у нас большая. Везде есть добрые люди. Они приютят. Отсидишься сколько надо, а там и я к тебе приеду. Просто надо выждать. Она вытерла слёзы, высморкалась. Присесть напоследок, иначе пути не будет. Бог даст, времена изменятся. Это долго не может продолжаться. Главное, соседей не разбудить. Писатель сказал, что ему нужно попрощаться. С кем? С Анной Яковлевной. Ты с ума сошёл, не смей!

Она первой вышла из подъезда. Взгляд налево, направо — никого. Тёмные купы деревьев за глухой стеной чехословацкого посольства, конусы жёлтого света под тарелками фонарей. До отхода поезда ещё добрых полтора часа, но лучше выйти, пока не рассвело. Молча двинулись к площади Красных Ворот, теперь она называлась Лермонтовской, по Орликову переулку пешком до пло-

щади вокзалов. Странная история, говорил он себе много лет спустя, но ведь чего только не бывает на свете. И страна, столь реальная, обступавшая со всех сторон, казалась ему в этих воспоминаниях ожившей легендой. Не забылись подробности, но сцепились в причудливый узор. Невидимое и всевидящее око наблюдало за ним со своих высот, но и это осталось предположением, творимой легендой, чем-то таким, что находилось на стыке возможного, вероятного и фантастического; всё было неправдоподобно в этой небывалой стране, вполне реальным был только финал.

Студент высаживается на станции с названием, о котором никто никогда не слышал, но он будет помнить его всю жизнь; никто не встречает, люди равнодушно косятся на его городское пальто, он стоит на остановке, трясётся на продавленном сиденье допотопного автобуса, сумка с московскими продуктами у ног, брезентовый дорожный мешок на коленях. В дальнем селе отыскивает попутчика, и ещё часа три в телеге, а дальше пешком. Кто посоветовал, чьи это знакомые и знакомые знакомых, неизвестно; кто-то кому-то звонил, кого-то нашёл, всё обиняками, род коллективного инстинкта, цепь страха и взаимопомощи; люди понимают, что надо спешить, — и всё тайна, все молчком, искра пробежала и погасла, ты меня не знаешь, я тебя не знаю. И, собственно, это даже не адрес: есть такие места, которых и на карте не отыщешь, куда и почта не доходит, откуда три года скачи, ни до какой цивилизации не доскачешь.

Шёл я и в ночь, и средь белого дня. Близ городов озирался я зорко.

Вот он в действии, неумирающий русский миф. Бегство из крепостной неволи на Дон, в Сибирь, побег с каторги по славному морю, из страны вглубь страны, в неисследимую глушь: исчезнуть, слинять, сорваться. Воля! Сами того не ведая, мы впитали эту идею с молоком матери.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь. Горная стража меня не поймала.

Обмануть всесоюзный розыск, уйти с концами. Жуки на булавках, мы все лелеяли эту мечту.

XXI
Свет не без добрых людей

9 ноября 1948

Он поселился в сторожке на краю джунглей, которые были не чем иным, как одичавшим садом, брошенной заимкой или поместьем давно исчезнувших владельцев. Дальше начинался сырой тёмный лес. На ветхом столике стояла коптилка, лежали спички и толстая, погрызанная временем и мышами книга. Дощатое ложе застелено тряпьём, на гвозде тулуп. В углу — железная печка с трубой, колено подвешено на проволоке и другим коленом выходит из крыши. Измученному долгой дорогой постояльцу ничего не снилось. Утром на столе стояла еда. *Хлебом кормили крестьянки меня*. Он вспомнил — читал — в царское время женщины ставили крынки с молоком на полке перед окошком, для беглецов, бредущих через тайгу.

Он выглянул, светило холодное яркое солнце. Чуть-чуть золотилась пожухлая листва. Всё кругом словно вымерло. Новоселец повалился на топчан, успел подумать о том, что сейчас, должно быть, народ толпится на ступеньках амфитеатра, выходит из Коммунистической аудитории на галерею с колоннами; и тотчас он догадался, что все было сном: и тётка во вдовьем платке, и ночные

сборы — ничего этого не было. Но и пробудившись, сидя на топчане, он как будто переместился из одного сна в другой. Он поднялся, добрел до отхожего места, рядом на столбе висел умывальник.

Писатель листал серые, обломанные по углам страницы, читал наугад, это была история Исхода. И сказал фараон, пусть перестанут громы Божии, отпущу вас, и отправились, числом до шестисот тысяч, не считая детей, как вдруг послышался хруст веток. Это были они, он замер, всё ещё надеясь, что не заметят, пройдут мимо. Бабий голос окликнул его. Он молчал. Дверь приоткрылась.

«Я уж думала, помер ты. Али сбежал».

Куда ещё бежать.

Лохматый зверь семенил навстречу, пролаял: это ещё кто? «Свои, свои», — бормотала старуха. Вошли в избу.

За столом на лавке под образами сидел мужик, весь заросший неседеющим волосом, можно было дать ему меньше пятьдесяти, можно было и семьдесят. Студент поздоровался. Хозяин молча оглядел вошедшего, показал кивком на скамью. Гость выложил на стол банки с консервами и два круга блестящей, темнокрасной копченой колбасы. Стесняясь, положил рядом конверт.

Мужик заглянул в конверт, не вынимая, пересчитал деньги, ничего не сказал, сунул за пазуху. Разлил желтоватую водку по гранёным стаканам. Давай, сказал он, с новосельем. Тебя как звать-то.

Водка оказалась самогоном.

«Сальцом закусите», — сказала хозяйка.

Пёс стучал когтями, кашлял в сенях.

«Чего он там?» — спросил хозяин.

«Соскучил небось».

Пёс вошёл и уселся на вислом заду. Хозяин взял большой нож, рассек колбасу, отрезал ломтик. Кобель по имени Козел вскочил, подобострастно подковылял, не сводя глаз с колбасы. Задрав морду и раскачиваясь на задних лапах, Козёл исполнил танец, следуя, как за магнитом, за ломтиком колбасы, который двумя пальцами держал хозяин.

«Хер тебе», — сказал мужик и положил ломтик себе в рот. Игра продолжалась, Козел снова танцовал на задних лапах, поймал, наконец, колбасный ломтик и проглотил, не успев разжевать.

Напиток бросился в голову писателю, он беспомощно тыкал в тарелку алюминиевой вилкой. Волосатый мужик задумался, угрюмо посматривал на гостя.

«Та-ак, — сказал он медленно, — работать, значит, у нас будешь. А ты чего делать-то умеешь? Небось ни разу лопату в руки не брал».

«Огурчиком солёненьким...»

«Ты, мать, делом займись. Не встревай. У нас свой разговор. Ну чего, рассказывай. Как там жизнь-то?»

«Да никак», — сказал студент.

«Так уж и никак! Ты пей, пей. Здоровей будешь... Из самой Москвы, что ль, приехал? Кто победил-то?»

Студент не понял.

«Крепись, не поддавайся, — сказал хозяин, беря с тарелки пучок лука, — успеешь окосеть... Немец, говорю, в Москве али как?»

Писатель взглянул на свой стакан, взглянул на мужика.

Пёс переступил передними лапами, моргнул, скромно дал знать о себе.

«Пошёл вон... Всё одно. — Хозяин хрустел луком. — Под немцем-то, пожалуй, лучше. А?».

«Да ведь немцев давно уже нет».

«Куды ж они делись?»

«Мы победили».

«Это кто ж это, мы? Ты, что ль? — спросил мужик, прищурясь, и с шумом втянул воздух в волосатые ноздри. — Чтой-то не слыхать, чтоб победили... Васён, — сказал он, — хватит тебе шебаршиться, садись с нами. С ним рядом садись...»

«Чего ты его спаиваешь. Вот, сальцом закусите».

«Ладно, бабка, твоё дело помалкивать. Ты, парень, если что, не бойся. Никто тебя здесь не выдаст. Пока, а там поглядим. Как себя покажешь. Да гони ты его вон! — загремел он. — Суку этого».

Хозяйка поднялась, отворила дверь, и пёс удалился, заметно припадая на задние лапы.

«Зависит, говорю, как себя поведёшь. Небось там делов наделал... Твоя забота. Я тебя не пытаю. У нас тут закон тайга, медведь прокурор».

Затем последовало молчание, хозяин крутил перед собой стакан, выпил не торопясь, схватил новый пучок, нюхнул.

«По-нашему так. Что Гитлер, что Усатый, все одно... С Гитлером-то, пожалуй, лучше, а в общем, один хер. Пущай они там себе глотку перегрызут».

«Уже перегрызли».

«Кому?»

«Гитлеру, кому же».

«А Усатый где?»

Гость пожал плечами. «В Кремле».

«А говорят, Кремль сгорел. Французы спалили».

«Дядя, — сказал студент, — когда же это было!»

«Ну, значит, восстановили. М-да. Надо бы ему, — продолжал хозяин, — девку какую найти, дело молодое».

«Найдём», — сказала Васёна.

«Может, Клавку позвать? Давно не виделись».

«Я-те дам Клавку».

«Да не мне, не мне!»

«Знаю я тебя. Я-те дам Клавку».

«Ладно тебе... Ну, давай, что ли, ещё по одной. Мать! открой консерву, чего он там привез... Тут до тебя тоже один жил, — продолжал хозяин. — Как ты, скрывался... Да ты не трухай, я же не спрашиваю, что ты там натворил. Ешь, пей. Никто на тебя не донесёт. Вот я и говорю, старик здесь жил, в сторожке. Всё молился... Николу видишь? — Он повернулся, показал пальцем. Студент обвел иконы осоловевшим взором. — Да не та, внизу. Учить вас надо... Он оставил. И тулуп евоный. А Богородицу с собой взял».

«Давно?»

«Чего давно?»

«Давно он здесь жил?» — спросил писатель.

«Эва. Тому уж лет сто».

«Как это, сто?»

«Ну, может, чуток меньше. Я его не застал. Люди рассказывали. Лет десять прожил, а потом ушёл».

«Куда?»

«А леший его знает. В тайгу ушёл. А знаешь, кто он был?»

Снова послышалось царапанье, хозяйка отворила, пес воздвигся на пороге.

«Ну, чего тебе?»

«Соскучил», — сказала Василиса.

Кобель вновь намекнул, что непрочь поучаствовать в трапезе.

«Ишь чего захотел».

Не отказался бы и от...

«Ишь ты какая сука, выпить ему захотелось. А вот сопливого моего не хочешь? Пошёл вон».

Пёс вскинул жёлтые брови, пожал плечами.

«Старый стал», — заметил хозяин.

Дверь осталась открытой, Козёл, выйдя из сеней, расставил лапы перед крыльцом и, опустив зад, похезал.

Голос хозяйки донёсся: «Вот я тебя!»

«Так кто же он был?» — спросил писатель.

«Старец? Святой. То-то и оно. Царь».

«Какой царь?»

«Государь император!» — вскричал народный человек.

Студент воззрился на него.

«Он самый, — сказал мужик убеждённо, — кто ж ещё. Помер, проводили как положено, ну, там музыка, лошади с энтими, — он потряс корявой ладонью над головой, — с метёлками. Николашка на трон взошёл. А он, родимый, ночью, когда все разошлись, возьми и встань с одра смерти. И утёк по подземному ходу. Слинял! Там и одёжа была для него приготовлена, вроде как крестьянин. В лаптях поканал. А заместо него верные люди другого в гроб подложили. Вот он тут и скрывался».

(А что, мелькнуло у писателя, может быть, в этом есть и резон — история вне хронологии. История без пресловутого «исторического подхода». Может быть, так и поймаешь за хвост её неуловимый, бессмысленный смысл. Над этим стоило бы поразмыслить, но размышлять было некогда).

Студент заметил, что о старце написал Толстой.

«Это который, Лев, что ль? Правильно, значит, написал».

Писатель сказал, что он однажды видел похороны настоящего царя.

«Это которого?»

«Последнего».

«Врёшь. Это когда же. Тебя тогда ещё и на свете не было».

Подумав, он добавил:

«Видели мы их всех в гробу. Суки поганые... Чтоб им черти на том свете пятки щекотали...»

За перегородкой, где помещалась кухня, Василиса с грохотом свалила охапку дров.

«Да ведь уж топили, Васён!»

Бабий голос ответил:

«Холодно чегой-то».

«Всё сгорит, — бормотал волосатый мужик, — Всё-о-о, — повторил он с видимым удовольствием, — пойдёт прахом! Ну, давай еще по маленькой».

«Егоша, может, хватит?»

«Молчать!»

Выпили еще по маленькой.

«Сказано: всех покараю и не оставлю на камне... Ты читай Писание, там всё сказано. Евреи написали... По-нашему, жиды. Умные, гады, всё знают. А насчёт того-этого, ничего не бойся. Тут закон — тайга. А если спросит кто, нет таких, и гребите отседа».

«Я вот тебе что скажу, — бормотал он. — Раз уж пошёл такой разговор... — Он наклонился и зашептал: — Меня тоже нет. Я уж который год живу как бы вовсе не живу. Спроси меня, кто я такой, я тебе не отвечу. Никто! Понял? Чего ты на меня смотришь? А? — мужик стукнул кулаком по столу. — Небось думаешь, нализался и ничего не соображает. А на самом-то деле кто тут с тобой сидит? С тобой Григорий Петров сидит! А, может, и не Григорий Петров, может, вовсе даже не человек, а так, одна видимость».

«Да что ж это такое!.. Ты его не слушай — болтает незнамо что».

«Нет меня. Убили, пропал без вести. У меня и похоронка есть, там прямо сказано: погиб в боях, за нашу советскую родину. Е...ть её в рот. Нет таких, и всё, и катитесь вы все к едреней фене».

XXII
Путь жизни. Утрата девственности

Ноябрь или декабрь

Старуха нашла для него старые растоптанные валенки, телогрейку, треух, писатель бродил по заснеженной пустоши, возвращался к себе, топил печурку, спал, просыпался, читал вслух ветхую Библию, и зверь внимал ему, сидя на поджаром заду, щёлкал зубами, чесался, ловил блох, помалкивал. Однажды, миновав развалившуюся мельницу, перебрались по льду через речку и углубились в лес, пёс залаял, побежал, махая хвостом, провалился в сугроб, хрустнули ветки, белый пушистый убор посыпался с еловых лап, из чащи вышла снежная королева.

Вышла невысокая, присадистая, полнолицая, молодая, на вид лет сорока, в тёплом платке, из-под которого выглядывал белый платочек, в шубейке и маленьких чёрных валенках. Козёл крутился возле неё, она чесала его за ушами, приговаривая: Козлик. А тебя как, спросила она.

«Не хочешь говорить. А я и так знаю», — и пошла вперёд. Пёс выбежал на лёд. Добрели до мельницы, она сгребла ногой снег с единственной ступеньки, оставшейся от сгнившего крыльца.

«Кабы не проломилась», — пробормотала она.

Писатель опустился рядом.

Пёс осведомился, помахивая хвостом: так и будем сидеть?

«А куды нам спешить».

«Вы здесь живёте?» — спросил студент.

«Живём...»

Помолчали, женщина сидела, вытянув ноги в валенках, поправляла платок.

«Живём — хлеб жуём. Чего тебе, Козя? Домой хочешь?»

Она поглядела на белое ватное небо и широко зевнула.

«Чегой-то спать хочется. К непогоде. Потопали, милые».

По дороге разговорились: она жила в посёлке, километров за семь. Да какой там посёлок, полторы старухи. Небось, скучно тебе здесь, сказала она. Писатель ответил, что хозяева хорошие. И ещё о каких-то пустяках. Григорий Петрович говорит, в сторожке будто бы жил святой какой-то старец. — Какой еще старец, не было никакого старца. — А кто же? — Никого там не было. — Хозяин говорит, давно: сто лет назад. — Ну, это другое дело; мало ли кто жил. Вон у нас помещики жили, баре; ничего не осталось. — Якобы царь. Об Александре Первом тоже рассказывали, что он не умер в Таганроге, а скрывался в Сибири.

«Ты его больше слушай, — сказала Клавдия, — он тебе наговорит».

«Так и не пойму, кто он вообще-то?»

«Кто... — Она усмехнулась. — Никто, вот он кто».

«Они что, тебе родня?»

«Какая родня — седьмая вода на киселе».

Оттоптали снег с валенок и вошли в дом.

В тот раз ничего не было, и, кажется, прошло ещё сколько-то времени, Клава приходила несколько раз, прежде чем — прежде чем что? Впоследствии же всё выглядело так, словно совершалось в один день.

«Давай помогу, что ль», — промолвила она, вслед за Василисой вышла на кухонную половину и вернулась, неся перед собой ухват с шипящей чугунной сковородой. Хозяин, заросший, как лесной царь, восседал под образами. Клава выбежала в сени — «я сейчас» — там была другая дверь — и вернулась в платочке, из-под которого кокетливо торчала ореховая прядь, в пёстром платье с бусами на груди, с неумело накрашенными губами.

«Ишь ты, ишь ты», — проворчала старуха. Григорий Петрович смотрел на Клавдию из-под нависших бровей. Все уселись за стол. Козя, не дождавшись, когда начнут, уже хлебал что-то из миски.

«Вот это другое дело, — сказал Григорий Петрович, по-хозяйски беря со стола бутылку с бело-зелёной этикеткой, — “Карагандинская”! Караганда-то знаешь где?»

«Не знаю».

«И не надо знать. Это даже и не Россия».

«Почему же не Россия?» — спросил студент.

«Где брала?»

«Пей, отец, и не спрашивай. Кушайте, милые».

«Снег-то какой повалил. Завалит нас всех», — сказала Клава, наклонившись к окошку.

«Ничего, откопаем тебя».

«Кушайте на здоровье...»

Несколько времени спустя хозяин объявил:

«Всё, напился, наелся. А теперь вот почитаю вам».

«Да ты уж читал...»

«Пущай послушают. Им будет полезно».

Василиса принесла толстую книгу в пожухлом чёрном переплете, мужик сдвинул в сторону тарелки, нацепил очки, послюнил палец.

Хорошо жить в честном браке, но лучше никогда не жениться.

«Это почему же?» — спросила Василиса.

«Молчать. Слушай и не перебивай».

Писатель спросил, что это за книга.

«Граф Лев Толстой. Слыхал про такого?»

«Слыхал вроде бы», — сказал писатель.

«Вот и помалкивай. “Путь жизни” называется».

Если люди женятся, когда могут не жениться, то они делают то же, что делал бы человек, если бы падал, не споткнувшись. Если споткнулся и упал, то что же делать, а если не споткнулся, то зачем же нарочно падать? Если можешь без греха прожить целомудренно, то лучше не жениться.

«Какой же это грех — женитьба, — сказала Василиса. — Чего он там пишет! Сам небось...»

«У Толстого было тринадцать детей», — сказал студент.

«Вот. Это тебе ученый человек говорит».

«Молчать... Много вас умников».

Губительны для доброй жизни излишества в пище, также и ещё более губительны для доброй жизни излишества половой жизни. И потому чем меньше отдаётся человек тому и другому, тем лучше для его истинно духовной жизни».

«Вот, — сказал хозяин и строго взглянул на Клавдию. — Тебя касаемо».

«Я-то тут причём».

«А при том, что женщина — сосуд греховный».

«Какой еще сосуд».

«А вот такой». Чтение продолжалось.

Говорят, что если все люди будут целомудренны, то прекратится род человеческий. Но ведь по церковному верованию должен наступить конец света; по науке точно так же должны кончиться и жизнь человека на земле, и сама земля; почему же то, что нравственная добрая жизнь тоже приведёт к концу род человеческий, так возмущает людей?

Главное же то, что прекращение или не прекращение рода человеческого не наше дело. Дело каждого из нас одно: жить хорошо. А жить хорошо по отношению половой похоти значит стараться жить как можно более целомудренно.

Григорий Петрович вздохнул и потянулся к бутылке.

«Да уж пил, хватит с тебя», — проворчала Василиса, налила четверть стакана и подала ему. Клава поднесла пучок лука.

«По местам», — сказал хозяин, дожёвывая головку.

Вам сказано, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Слова эти не могут означать ничего другого, как только то, что, по учению Христа, человек вообще должен стремиться к полному целомудрию.

Неиспорченному человеку всегда бывает отвратительно и стыдно думать и говорить о половых сношениях. Называют одним и тем же словом любовь духовную — любовь к Богу и ближнему, и любовь плотскую мужчины к женщине или женщины к мужчине. Это большая ошибка. Нет ничего общего между этими двумя чувствами. Первое, духовная любовь к Богу и ближнему, — есть голос Бога, второе — половая любовь между мужчиной и женщиной — голос зверя.

«Вот — поняли? — Он снял очки, уложил в футляр. — Половая любовь — это, значит, когда это самое, — голос зверя! Блядство, по-нашему. Поклонишься зверю, и огню его, и чаше его. Клавушка, — сказал он неожиданно плаксивым голосом, — совсем ты меня бросила...»

Немного спустя разомлевший и подобревший хозяин, сидел спиной к столу, расставив ноги в валенках и полосатых портах, с гармонью на коленях, разрумянившаяся Клава обнимала и целовала его в ухо, Козёл спал, головой на полу, разложив лапы, хозяйка полезла на полати. На столе среди тарелок с

недоеденной едой, толстых гранёных рюмок, порожних бутылок горела керосиновая лампа, и снег по-прежнему мертво и густо валил за окошками. Со скрежетом растянулись половинки баяна, запели тонкие регистры, заворчали под заскорузлыми пальцами басы, студент неловко обхватил Клаву, почувствал большую грудь женщины, чашу бёдер, оба раскачивались в каком-то подобии танго, она отступила, баян развернулся. Их-э, й-эх! Йих! — Клава подрагивала, помахивала платочком, поворачивалась, поглядывая из-за плеча, мелко перебирала ногами в толстых вязаных носках, бусы подпрыгивали на её груди, двумя руками она манила к себе студента, увернулась, вновь приблизилась, старик кивал, бил ногой, выглядывал из-под свирепых бровей, как волк из кустарника, во всю ширину изогнул половинки баяна, качался вправо и влево, и вместе с баяном раскачивалась вся изба.

Собака нехотя поднялась, потянулась, сладко зевнула, щёлкнув зубами. Козёл пристроил передние лапы на шаткую лесенку, сделал попытку вспрыгнуть. Хозяйка с печи протянула ему руки. Писатель подхватил Козю сзади, и пёс вскарабкался на лежанку. Сильно коптила лампа. Клава подбежала и прикрутила фитиль. Писатель следил, как мужик, босой и взмокший, расставив ноги в портах, держал на коленях женщину, как отколупывал толстыми пальцами пуговки на груди у Клавы. Пёс смотрел сверху на них.

«Козя, чегой-то он делает, а? Сам говорил, сосуд греховный...»

«Клавушка, — лепетал Григорий Петрович, — пойдём со мной...»

«Куда это?»

«На сеновал пойдём».

Клава вздохнула: «Беда мне с вами... Ладно, — сказала она, — повеселились, и будет. Я домой пошла. Ну вас всех...»

«Клавушка, — всхлипнул мужик, — да куды ты пойдёшь. В такую темень... И дорогу-то небось замело».

Они вошли в сторожку. В темноте Клава нашарила на столе спички, засветила коптилку. Писатель сидел на топчане. Женщина развязала платок, расстегнула шубейку, сидела на коленях перед печуркой.

«Старик-то наш как разошёлся, а? На сеновал захотел... Козёл сладострастный. У них и сеновала-то никакого нет, скотину не держат, зачем им сеновал?»

«Ты с ним... у тебя с ним было?» — спросил студент.

«Было, не было, тебе какое дело».

Она насовала в печурку бумагу, щепу, втолкнула поленья, дверца не закрывалась. Повозившись немного, чиркнула спичкой, подождав, затворила дверцу и опустила защёлку.

«Было, да сплыло», — сказала она.

«Слушай, а кто же он всё-таки?»

«Петрович? Зачем тебе знать — так уж приспичило? — Она поднялась, отряхнула коленки. — Дезертир, вот кто! Когда война началась, они с бабкой в городе жили. А у них в деревне дом. Успел он попасть на фронт, али нет, не знаю».

«Сколько ж ему лет?»

«А Бог его знает. Сразу-то не забрали, вроде бы справкой обзавёлся. А потом и до него дошла очередь. Только через месяц он вернулся, говорит, комисовали, а у самого фальшивый паспорт, на чужое имя, это я точно знаю... Ну вот, пожил немного в деревне, а потом сюда, так всю войну и пересидел. Хи-и-итрый мужик».

«Ты смотри не говори, — добавила она, — что я тебе рассказывала».

«Я тоже», — сказал студент. Сказал неожиданно для самого себя.

«Что — тоже?»

«Убежал. Меня вроде бы собирались арестовать».

Пламя гудело в печурке, стало тепло. Клава уселась рядом с ним. Теперь она была без платка, встряхнула ореховыми волосами.

«Взопрела. — Она стащила с себя шубейку. — Давай и ты раздевайся. Чего ж ты думаешь, мы не догадались, что ль».

«О чем догадались?»

«О чём, о чём... Не надо об этом, — зашептала она, — что там с тобой было, никому до этого дела нет... Смотри только, никому больше не говори... Бог с ними со всеми... Обойдётся, забудется. А мы с тобой сейчас поженимся. Давай, сымай».

Она снова присела перед перед печкой, железо уже начало багроветь вокруг трубы. Клава отворила рукавицей дверцу, запихнула ещё два полена в огненное чрево.

«А это нам больше не нужно» — и задула коптилку.

«Вот сюда, — шептала она, засовывая к себе под сорочку руку студента. Её грудь с твёрдым соском влилась в его ладонь. — Поласкай, поласкай... и другую тоже... а теперь вот сюда... И я тебя поласкаю».

Он почувствовал её руку, медленную, гладящую, обнимающую.

«Нет, нет! — сказал он испуганно, — постой!»

«Всё... не буду... Тесно тут... — проговорила она укладываясь на топчан, — ничего, как нибудь... Ну, иди».

Причащение чаше и огню совершилось в несколько мгновений.

XXIII
Слово «документы» в этой стране всегда означает: паспорт

5 марта 1949

Не каждый год, хоть в Азии, хоть в Европе, — а где, собственно, помещается наша Россия, в какой части света, никто толком не может объяснить, мы ведь сами часть света, не Европа и не Азия, — не каждый год бывает такая ранняя весна; тебе, приятель, повезло. Вокруг ещё громоздились пласты жёсткого ноздреватого снега, земля не успела расступиться, а небо уже дышало пьяной влагой, и дорога, в хрупком стекле луж, блестела на солнце. Всё с тем же заплечным мешком странник шагал по обочине, всё та же на нём ватная телогрейка, фантастическая, некогда фетровая, шляпа, на ногах кирза. Он предполагал часа через два добраться до деревни. А что там? Свет не без добрых людей, сказала Василиса: недельку-другую проболтаешься, а там, Бог даст, вернёшься. Да, но... Петрович. Это было одно из тех подозрений, которые никогда не удаётся ни подтвердить, ни опровергнуть.

Две ночи подряд выла собака. Птица билась в окошко. В облаках мелькал серебряный месяц. Старуха гадала на червонного короля, выходило — дальняя дорога. Еще ничего никто не знал. Что-то чувствовалось. Через два дня Клавдия явилась с новостью: ждут какое-то начальство. Может, и облава. На кого облава-то? А кто их знает. Люди бают, а я почём знаю. Да что говорят-то? Постановле-

ние вышло, слышал кто-то: об усилении мер. Вроде банда объявилась, грабят, поджигают.

Сказала и пожалела. Григорий Петрович, волосатый хозяин, сидя в углу под образами, где он, казалось, проводил всё время, вынес решение: не про нас это. Мы не воры, не разбойники, нас не касаемо. А ты, парень, отседа вали. И Василиса снова: ты там побудь где-нибудь, а потом назад вернёшься. Петрович уточнил: поглядим. Да смотри: о том, где жил, у кого, — никому, понял? Было ясно, что он струсил.

Позже Клава объяснила. Начальство начальством, может, и вправду вышло новое постановление, да не в том дело. «Ты что, не усек, что ли?»

Это была ее версия. Старый козёл возревновал. Но это же не новость, возразил студент.

«Что не новость?»

«Что мы с тобой».

До сих пор как-то обходилось. Изредка она уступала ему. Даже, пожалуй, не так уж и редко.

«А что поделаешь. Только я прямо сказала: если его прогонишь, на меня больше не рассчитывай, уйду. А потом и вовсе».

«Что вовсе?»

«Перестала ему давать, вот что!» Значит, почувствовал, что тут настоящая любовь.

Писателя томило неуместное любопытство. Он спросил:

«Скажи, Клава, а кто из нас лучше?»

Она ответила просто:

«Кто лучше умеет? Он».

«Он?»

«Ну да. Милый, — сказала она, — да разве в этом дело?»

«А я думал», — пробормотал он.

«Чего ты думал?»

«Что для тебя это важно. Ты такая страстная...»

Она засмеялась.

«Страстная, да. Только это одно дело, а любовь — другое. Учить тебя надо...»

Словом, Петрович ждал повода. Струсить, может, и струсил. Но главное, искал повод избавиться. Только я ему тоже не подстилка, сказала она.

«Ты там побудь немного, — шептала она, — подожди меня. Я к тебе приеду. Я всё приготовила, у меня и деньги есть, и всё. Поедем в Уфу, у меня там тётка живёт. У неё все знакомые. Паспорт тебе другой выправим. Устроишься где-нибудь. Будем жить с тобой...»

Он хотел спросить: а может быть, Григорий Петрович попросту донёс на него? Известил там кого надо. Решил, наконец, от него избавиться.

Ночью лежали, обнявшись, на жаркой скрипучей кровати у Клавы, засыпали и просыпались, давай напоследки, а вот я тебя научу, ещё так, бормотала она, проявив незаурядную изобретательность, тяжело дыша, лаская и будоража его плоть, и новые силы рождались, словно дело и назначение пола всё ещё не были исполнены до конца. Стало ясно, что означало это предчувствие последних дней, он понял, что эта часть жизни завершилась. Пробудившись, он увидел яркий свет в низких окошках. Сел, мучительно зевая. Было тихо. И пришло отрезвление. Он ничего не понимал. Зачем, собственно, всё это, зачем понадобилось бежать из Москвы? Ложная тревога, и доказательством было то, что

никто так не разыскал беглеца. Никто и не разыскивал. Нелепый разговор со старухой в университете, кто её знает, откуда она взялась. Всё предстало в ином свете: в Египте мы сидели у котлов с мясом. В Египте осталась Наташа.

Клавдия вскочила с постели.

«Батюшки, проспали!»

Писатель ел ложкой яичницу с чугунной сковороды. Клава запихивала в мешок дорожные харчи. Солнце стояло уже совсем высоко, а он всё шёл и шёл, и ничего не было видно впереди, кроме сизой кромки лесов. Медленно наползали оттуда дымные графитовые облака.

Неизвестно, в котором часу он добрёл до деревни; начинало смеркаться. Сыпался лиловый снег. Ни звука, ни лая собак. Избы заколочены досками крест накрест, кое-где висели на окошках полуоторванные ставни. Кто-то обитал за этими окнами; деревня, явно не та, о которой говорила Василиса, была населена призраками. Тем лучше. Снег шёл всё гуще. Давно уже промокли сапоги, одежда набухла влагой. Попрошусь, думал он, переночевать. Так он дошёл до конца короткой улицы, из мглы явились остатки кладбищенских ворот, церковь со сбитой маковкой. Тут он увидел, что в проломах окон мерцает огонь.

Странник вступил на паперть, приоткрыл тяжёлую дверь. Пахло дымом, в полукруглом каменном зале на полу был разложен костёр. На стенах смутно виднелись полустёртые лики святых. Вокруг костра на тряпье сидела компания. На вошедшего обернулись. Он поздоровался.

Никто не ответил. Студент топтался, не решаясь что-нибудь сказать. Кто-то промолвил: «Эва, да это Андрюха». Другой возразил: «Какой тебе Андрюха».

Спросили: «Ты кто такой?»

Он пожал плечами.

«Ты чей будешь-то?»

«Ничей», — сказал студент.

«А ничей, так садись».

Ему подстелили что-то. Он снял мешок с плеч и опустился на пол.

«Вот, — сказал он, выложив свои припасы. — Не хотите?»

«А выпить не найдётся?»

Писатель вытащил бутылку, заткнутую бумагой, сокрушённо развёл руками.

«Воды у нас тут и так хватает, — сказал старшой. — Ну давай, что там у тебя».

Компания оживилась, старшой крякнул. Тащи из нашего эн-зэ, сказал он, раз такое дело. Поднялась фигура в лохмотьях. Пошёл следом за ним и старшой, тощий бородатый мужик. Несколько минут спустя он вышел из царских врат, облачённый в старую фелонь, с медным наперсным крестом и в камилавке, за ним шел второй с бутылью.

«Благослови, Господи!» — вогласил старшой. В костер полетели щепки, обломки досок. Скудная снедь была разложена на чём-то. Мутный самогон пошёл по рукам.

Что же произошло потом? Всё приключение было недолгим, по крайней мере таким казалось впоследствии. Засыпая, писатель думал о том, что это, пожалуй, неплохой выход — прибиться к ним на какое-то время.

Он увидел себя на дороге, или это был переулок его детства, кто-то шёл навстречу, раскрыв объятья, говорил, кричал ему в ухо, как он рад, что всё так счастливо сложилось. Писатель открыл глаза, его ослепил карманный фонарик. Человек в чёрных валенках с галошами, в шинели и шапке тряс его за плечо.

«Что? Кого?» — пробормотал студент.
«Ваши документы».
«Какие документы?»
«А ну, поднимайся», — сказал милиционер.

XXIV
Смерть — если это была смерть

1953 год

1.

Карлик знал, что он излучает страх, поле страха окружало его, как электромагнитное поле, чье напряжение возрастает обратно пропорционально квадрату расстояния от генератора: самый большой страх испытывали соратники. Карлик гордился этой способностью и должен был постоянно тренироваться, чтобы сохранить форму, как тренируется спортсмен или упражняется музыкант-виртуоз.

Как всякий, кто убил очень много людей, он сам был одержим страхом за свою жизнь; оттого, быть может, это чувство было ему ближе и понятней других человеческих чувств. Но ужас сродни восторгу — карлика можно было только обожать; страх, думал он, не может быть ничем иным, как доказательством любви; страх — это и есть любовь. Сидя в одиночестве в глубоком кресле, в углу тёмной ложи, он смотрел на злого волшебника Ротбарта, который махал красными матерчатыми крыльями, наскакивая на отважного серебристо-голубого принца Зигфрида, а снаружи, над двухколесной повозкой греческого бога, над восьмиколонной глыбой театра и опустевшей площадью, вокруг могильных фонарей, металась мокрая зима. И танцовщики, и оркестранты, и дирижёр, и рабочие сцены, и переодетая охрана в партере и на ярусах, в фойе, в коридорах и на лестничных площадках, за кулисами и позади колосников — все испытывали на себе воздействие радиационного поля вождя. Но случилось так, что дирижёр, тучный старик во фраке со звёздочкой лауреата, как-то по особенному, слишком высоко взмахнул палочкой, и неслышно распахнулась тайная дверь ложи. Пахнуло холодом, карлик занёс указательный палец над кнопкой тревоги, — сработал мгновенный рефлекс, — и медленно повернул седую голову. Бледная особа, вся в белом, подчёркивающем её худобу, вошла, готовая к услугам, приложив палец к губам. Силуэт дирижёра в оркестровой яме размахивал руками, кланялся и раскачивался. На сцене бушевал ураган. Всё поехало в сторону; он не успел нажать кнопку из-за внезапного головокружения. Бледная дама исчезла. Таковы были обстоятельства первого предупреждения.

2.

Карлик знал, что история абсолютно детерминирована, подчинена железному закону, и знал, что закон, безошибочно правящий историей, — это он сам: без этого убеждения он не мог бы стать тем, кем он был. Ошибки совершали другие. Однажды некий писатель, прибывший по приглашению, как все

они, чтобы восхищаться, теперь уже невозможно вспомнить, как его звали, расхрабрился и задал вопрос: зачем столько портретов человека с усами? Вопрос понравился карлику, он объяснил. Зарубежный гость не понимал, что всеобщее поклонение было не чем иным, как гордостью за страну: с ним, под его руководством она стала первой в мире. Он ответил, что не может отвечать за других: народ любит его, ничего не поделаешь. И это было правдой. Ни на одно мгновение народы не должны были забывать, что он здесь, со всеми и над всеми, что в его окне, в Кремле, всю ночь горит свет. Всю ночь, полный дум, он расхаживает в своём кабинете. Карлик был цельным человеком. То, что не удавалось другим — писателям и политикам, — монолитная мысль, — достигалось ценой гениального упрощения. Ухватиться за главное и вытянуть всю цепь. Вот решение задачи, какой бы запутанной она ни казалась. Как если бы всё можно было вытянуть в цепь, выстроить в одну линию. Но ведь надо только уметь взяться, и окажется, что так оно и есть.

Не зря подростком он учился в семинарии. Сказано в Писании: твоё да пусть будет да, твоё нет — нет. И дальше что-то о тёплом — ни холодном, ни горячем. Эти церковники были не дураки. Нет, тепленьким он никогда не был. Он был холоден, он был горяч. Он ненавидел историков, вечно твердивших о том, что события надо рассматривать одновременно и так, и сяк. Карлик смотрел в корень. Он упростил историю. В этом была его сила, его гений. Раньше других он внял тайному зову истории. Из глубины веков ему подавали приветственные знаки его предшественники, великие государи Руси. Он сам стал величайшим русским государем. Не только восстановил в её исконной целостности российскую державу, но раздвинул её границы ещё дальше.

Он был по-своему неглупым, этот человек с седеющими усами. Две вещи он усвоил основательно: что власть окружает властителя особым ореолом и что властителю нужен стиль. По поводу первого пункта следует сказать, что существует очарование власти. Власть рождает величие, а не наоборот. Люди жаждут иметь над собой повелителя, наделённого всемогуществом, всеведением, всевидением, — носителя абсолютной правоты. Таким его делает власть. Он внушает священный ужас, чтобы тотчас смягчить его доброй улыбкой, незлобивой шуткой. И чудо: в его устах плоский юмор превращается в тонкое остроумие, банальность — в прозрение, пустые, ничего не значащие слова заключают в себе высшую мудрость. Всё это делает власть.

Следует отметить: принцип единоначалия не противоречит марксизму. Впрочем, и великое учение требует поправок. Нужен новый вклад в сокровищницу. Учение учением, а политика есть политика. Она предъявляет свои требования.

Что касается стиля, то он выработал его по контрасту. Он создал противовес говорунам, окружавшим Ленина, которых он ненавидел, и первому среди них, умевшему зажечь толпу на митингах. И самое главное — противовес заклятому врагу, в котором увидел было союзника. Этот горел, пылал, бесновался, яростно жестикулировал, шагал вдоль шеренги своих янычар, с выброшенной рукой, задрав туфлеобразный нос под лакированным козырьком. Это был нерусский стиль. Русскому народу претит всякая театральность. Карлик был воплощённая скромность. Он был спокоен, прост, в полувоенном френче и фуражке скупо приветствовал ликующие массы, скупо, вдумчиво ронял слова, подкреплял их коротким указующим жестом.

3.

Вскоре после этого последнего, как оказалось, посещения «Лебединого озера» он призвал ближних соратников, как обычно, смотреть кино: в полумраке сидели в низких уютных креслах в маленьком зале, это была «Клятва», эпохальный фильм с любимым артистом Геловани. Да, карлик был скромен. Но народу нужен не только такой вождь: ещё больше нужен двойник в белом мундире с брильянтовой звездой на шее, в широких золотых погонах, чуть-чуть седеющий, нестарый и нестареющий. Искусство и Судьба уготовили артисту эту историческую роль. С некоторых пор ему было запрещено бывать на людях. Геловани скрывался в своём замке в Кутаиси, соратники видели его, как и обычные люди, только на полотне. Карлик смотрел картину много раз, знал её наизусть, и всякий раз испытывал чувство, что это и был настоящий вождь, его подлинное воплощение, а сам он лишь замещал вождя. Нельзя сказать, чтобы это двойственное чувство было таким уж неприятным. В нем содержалась толика гарантированного бессмертия. Не то же ли ощущали его соратники? После кино все отправились на ближнюю дачу. Карлик шутил, пил и ел с аппетитом, играя, замахивался на сотрапезников; было видно, что недавний отдых на Кавказе пошёл ему на пользу. Между делом обсуждались дела.

Было выдвинуто предложение (как выразился кто-то из сотрапезников, «думается, назрело время») ввести новый термин, венчающий великое учение. Вместо «марксизм-ленинизм» — *марксизм-ленинизм-сталинизм*. Для начала целесообразно применить в лозунгах ЦК к Первому мая. Роль терминологии, новых слов чрезвычайно велика. Они знаменуют новый этап. Карлик слушал, но ничего не сказал. Предложение повисло в воздухе.

Говорили о погоде, о югославском ренегате и о только что открывшемся новом заговоре. Разливая вино, карлик поинтересовался ходом следствия, и все глаза обратились к первому человеку. Ждали подвоха. Тучный шеф государственной безопасности засопел мясистым носом, блеснул стёклышками пенсне, нити заговора врачей-убийц, сказал он, ведут глубоко. Это было то, чего ожидал от него карлик-полубог. Он погрузился в задумчивость, покрутив бокал, взвешивая каждое слово, заметил, что напрасно кто-то думает, будто старые заслуги освобождают от ответственности. Жутким ветерком повеяло. Вот так, сказал он веско и снова взялся за бокал, тотчас вознесли свои чаши все остальные. Вино было проверено, на всякий случай он проследил, чтобы сделали несколько глотков. Было нелегко отделаться от тяжёлого предчувствия. Вождь отхлебнул сам. Всё-таки это был хороший признак. Настроение улучшилось, заговорили о том, о сём; на рассвете, сильно нагрузившись, выбрались из-за стола, хозяин был или казался навеселе, однако твёрдо держался на своих коротких ногах, обутых в мягкие сапоги, поглядывал снизу вверх каждому в глаза, похлопывал по плечу. Было около шести часов утра. Огромные чёрные лимузины развезли сопящих, полуживых сотрапезников по домам. Розовая заря осветила зубчатую цитадель. Ничто не предвещало беды.

В полдень раздался звонок из подмосковной дачи. Голос дежурного генерала доложил, что вождь не вызывает к себе, как обычно делал в этот час.

4.

В то роковое утро он видел сон, в тягостном сознании, что его постоянно отвлекают от важного дела; просыпаясь, он думал: какое это дело? Солнце его жизни клонилось к закату, карлик отбрасывал длинную тень гиганта. Долгой

казалась ему его жизнь и вместе с тем — неоспоримый признак старости — как бы вчерашней. Иногда он был даже убеждён, что так оно и есть, и поправлял себя: не сколько-то лет тому назад, а на прошлой неделе.

Подобно спириту, он искал подбодрения и совета у предков. Некогда царь Иван Грозный притворился умирающим, чтобы увидеть, кто из ближних ждёт его смерти. Это была неглупая мысль. На последнем пленуме отчётный доклад вместо карлика делал второй из ближайших, тучный, мучнистый, с некоторых пор при перечислении имён его имя стояло сразу после имени вождя, что давало повод для тайных злорадных размышлений о кураторе госбезопасности, который как будто оказался передвинутым на второе место. Закончив, как полагалось, здравицами, докладчик переждал аплодисменты, вернулся на своё место за столом президиума и возгласил: «Слово предоставляется товарищу...» Этого ждали и не ждали. Зал, едва успевший отхлопать ладони, снова грохнул аплодисментами. Теперь карлик поднялся со своего места, медленно сошёл по трём ступеням к пульту. Всё ещё продолжалась, не могла утихнуть неистовая овация. Вождь свирепо усмехнулся. Поднял, наконец, руку, укротил восторг, дал понять, что время заняться делом. Сумрачным взором обвёл притихший зал. И заговорил глухим желудочным голосом. Знал ли он о том, что это его последняя речь?

Как всегда, он был мудр, нетороплив, загадочен. Поразил всех. Он сказал, что он стар и близится время, когда другой займёт его место. Этого никогда не могло случиться, но так он сказал. Другой взойдёт на его место. Но кто? Сумеют ли преемники закрепить и умножить достигнутые успехи, проявить твёрдость в борьбе с врагами? Нет, — и он скорбно покачал седой головой. Одного примера достаточно: стоило только удалиться на несколько дней, дать себе короткий отдых, как они наделали уйму ошибок. Так он подверг большевистской, ленинской, нелицеприятной критике ближайших соратников. Их поведение граничило с преступлением. Услыхав это, шеф безопасности блеснул стёклышками пенсне. Так, взлетев, вспыхивает на солнце топор палача.

И тут он остановился, сделал паузу и совершил гениальный ход конём. Сказал, что готов и дальше выполнять свой долг, оправдать доверие и нести бремя. Готов оставаться Генсеком, а также по-прежнему исполнять обязанности председателя Совета министров. Но от должности ведущего заседания Секретариата просит его освободить.

Он был разочарован, когда после мгновений всеобщего замешательства тот, с тестообразным лицом, второй из ближайших и, несомненно, метивший в наследники, воздел руки, громогласно простонав: «Нет, просим остаться!» И тотчас зашумел, взроптал Свердловский зал. Просим остаться! Просим остаться! Карлик понял — как понял Грозный, — что кто-то там в президиуме клюнул было, но опомнился, кто-то чуть было не выдал себя, но во-время разгадал игру.

5.

Не следует ожидать от хрониста (или кого бы то ни было), что он представит единственно верную сводку событий; было бы странно, если бы дальнейшее выглядело неопровержимым, а не осталось зыбким, так и сяк истолкованным, если бы конец карлика не был опутан клубком сплетен, квази-исторических версий и легенд. История, как и религия, апеллирует к фактам, но требует веры. Трещины действительности тем глубже, чем меньше мы ей доверяем.

Спустя немного времени в кабинете на подмосковной даче зажёгся свет, стража вздохнула с облегчением. Но отшельник по-прежнему не давал о себе знать. Сколько часов прошло после этого, никто не знает. Прибыли соратники. Когда после долгих сомнений, тревожного перешёптыванья, пререканий, кто первым откроет дверь, все вместе, наконец, втиснулись и вошли, оказалось, что спальня пуста. Карлика нашли в большой столовой на полу, в ночной сорочке и пижамных штанах. Было одиннадцать часов вечера, карлик спал.

Он спал, но это был необычный сон. Карлика перенесли на диван в малую столовую. Снова споры и колебания: дать ли ему выспаться? Вызвать врачей? Оба решения были одинаково опасны, ибо явление белых халатов означало бы, в случае если вождь проснётся, что они сочли его опасно больным. Отсутствие же врачей можно было истолковать как желание дать ему окачуриться беспрепятственно и поскорей. В итоге прений сочли за благо удалиться, дабы карлик, пробудившись, не увидел, что они оказались свидетелями происшедшего: спящий обмочился. Больному человеку это простительно; но тогда получается, что он в самом деле нездоров, — и они вышли на цыпочках, с величайшей осторожностью, а место возле ложа в малой столовой заняла, незаметно явившись, ни с кем не здороваясь, высокая дама в белом.

6.

Наступил первый день марта, годовщина убийства императора, когда грянул взрыв, покалечивший лошадей, и самодержец вышел из кареты, и второй злоумышленник, подбежав, бросил пакет с бомбой между собой и царём; роковая годовщина, о которой карлик, всё больше ощущавший себя византийцем, запретил вспоминать.

Минувшая ночь казалась далёкой, снова прибыли на дачу; уже много часов из покоев вождя не поступало сигналов. Профессора и академики медицины первыми вошли в малую столовую, и вслед за ними соратники.

Никто не решался приблизиться к карлику, словно он был под током в тысячу вольт. Главный академик первым притронулся пощупать пульс. Правая рука и правая нога были парализованы, лицо, изрытое мелкими рытвинами, след перенеённой оспы, было перекошено, и левая щека отдувалась при дыхании. Больного переодели и внесли в большую столовую, где больше воздуха. Карлик издавал неясные звуки. К нему входили в носках. Как тяжесть перекрытий распределяется по опорным столбам, так члены консилиума разделили между собой тяжкое бремя ответственности. Было назначено безопасное лечение: кислородные подушки, уколы камфоры и кордиамина. Все понимали, и никто не смел признаться себе, что лечение уже не поможет. Однако на другой день приоткрылся один глаз, перекошенное лицо зашевелилось. Карлик улыбался. Поднял левую руку, показывал пальцем в пустоту. Возможно, в эту минуту дама-сиделка в белом, на которую старались не обращать внимания, появилась в дверях, он первым её увидел. Шеф тайной полиции склонил над ним мясистый рубильник, воззвал: «Товарищ С.! Здесь находятся члены Политбюро. Скажи нам что-нибудь». Карлик подмигнул и ему. Вдруг послышался шум, крупное цоканье сапог, в расстёгнутой генеральской шинели в столовую ввалился Василий, он был пьян. «Суки, сволочи, загубили отца!..» Он стоял, закрыв лицо ладонями и надрывно рыдал. Академики не решились отменить лечение, задачей которого было не дать повода для подозрений. Пора было принимать ответственное решение. Поспешно прибыл перепуганный до немоты главноначальствующий всесоюзного радиовещания. Шеф безопасности

лично составил текст. И голос главного диктора страны, торжественно-загробный голос, в квартирах и на столбах, в далёких городах, где солнце, поднявшееся из-за Курил, уже клонилось к закату, в горючих степях и за Полярным кругом, в тайге, в бараках для заключённых и казармах охраны, возвестил о тяжком недуге вождя.

Новость дошла до всех ушей, но никто не решался признаться, что он понял истинный смысл этих слов: «потерял сознание». В школах плакали учительницы. В таёжных дебрях рыдали медведи и лоси. К платформе Белый Лух сто второго километра лагерной железной дороги подошёл состав с уголовной шпаной, в узком зарешечённом окошке под крышей вагона показалось высосанное лицо подростка, и гнусавый аденоидный голос заорал:

«*Ус подох*!»

7.

Если это был он. Сказание о двойнике — секулярная оболочка бессмертия. Некогда в дни Первомая и Седьмого ноября, вождь с трибуны мавзолея приветствовал свои портреты на знамёнах, на палках, на брусьях-носилках. Народ изображал демонстрацию. Демонстрация изображала Народ. Был ли (логически рассуждая) стоявший на трибуне в свою очередь изображеньем Вождя? Издалека, за цепью охранников, видели великого человека в усах, в шинели и фуражке. Карлик вёл мистическое двойное существование. Но кто бы ни был тот, на трибуне, он был *кем-то*, был во плоти. Мало-помалу, однако, он растаял и растворился в субстанции жизни, как Бог пантеистов в природе или как беллетрист в своём романе. Остались портрет и глухой желудочный голос. Этот голос обратился к подданным на двенадцатый день после вражеского вторжения. В замечательном фильме «Клятва» карлик-великан в белом мундире, в День Победы, выходил из самолёта к народу. Когда же, наконец, по прошествии лет, карлика увидели в его неподдельном естестве, его уже не существовало; получалось, что он вернулся к действительности, когда его больше не было, явился во плоти после того, как плоть умерла.

Он лежал в цветах и лентах, в мундире, застёгнутом на все пуговицы, в золотых погонах, со звездой, усыпанной брильянтами, лежал по стойке «смирно», вытянув руки вдоль короткого туловища, смежив орлиные очи. Бледная дама уже не раз появлялась в эти дни и на этих страницах; сейчас она сторожила у изголовья. Выскочил откуда-то черный мальчик, ангел со стрекозиными крылышками, ее сын, вскарабкался к усопшему и поцеловал его в усы. Никто не обратил на него внимания, в рассказах очевидцев о нем нет ни слова. Он стал у ног почётного караула: по обе стороны гроба застыли тучный шеф тайной полиции, мучнисто-ожирелый наследник, впавший в детство первый маршал и другие. Рыдала музыка, отдалённо напоминавшая траурный марш Шопена. Но был ли тот, чей профиль виднелся над пышным кружевным глазетом, тот, мимо которого, подгоняемая стражей, семенила, спешила толпа плачущих, смертельно напуганных и осиротевших, — ибо никто не знал, что с ними будет дальше, — тот, чью реальность удостоверил факт смерти, так что нельзя было уже сомневаться, существовал ли он на самом деле, — был ли он *Тот самый*?

Между тем человеческий фарш запрудил все пути к Колонному залу. Живое месиво колышется на Манежной площади, в Охотном ряду, на Театральной площади и площади Революции. Ожило древнее чувство конца времён. Храпят, задирая морды, кровные кобылицы, переступают точёными ногами,

конная милиция подаётся, теснимая толпой. Визжат женщины, вскрикивают затёртые и затоптанные. Люди ищут спасения в подъездах и подворотнях. Темнеет. В плачущем свете фонарей толпы всё ещё волоклись, не зная пути, пробивались к возалам, искали ночлега. Солдаты спрыгивали с грузовиков, собирали трупы задавленных, раненые лежали вповалку в приёмных отделениях больниц.

Чем меньше мы верим в действительность, тем шире, как на треснувшей льдине, расходятся в стороны её расщелины. Слухи о том, что народу показан был кто-то другой, почти приблизились к градусу достоверности, когда стало известно из неизвестных источников, что вождь, преданный соратниками, скрывшийся от врачей-убийц, никем не узнанный, переодетый, в ожидании своего часа, жив и работает подметальщиком в Мавзолее. Это был Геловани.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

XXV
Человек-призрак

15 апреля 1955

Почеши в затылке, приятель, признайся: когда думаешь о событиях, именуемых судьбоносными, о войне народов, об отечестве лагерей, ты кажешься себе плохим патриотом, тебя не оставляет холодная, безнадёжная мысль. Охватывает злое, обывательское, подозрительное чувство, что *они* хотят тебя погубить, сгноить и только и ждут удобного случая, что *им* это ничего не стоит. Кто же эти «они»? Им нет имени. Таково твоё чувство Истории.

Ты её раб, ты не ведаешь, кому и чему ты служишь, ты мобилизован на какое-то изнурительное строительство, за которым последует разрушение, и новое строительство, и снова развал, и так без конца, — а меж тем биотоки мозга, биение сердца, таинственная озабоченность желёз внутренней секреции ткут твою душу, и она покидает тленный субстрат, чтобы взвиться над миром и соединиться с душами других людей, — что для неё войны и перевороты?

Человек сотворил этого Голема для того, чтобы Голем расправился с ним. Человек откармливает историю, чтобы злобное животное принялось затем по кускам пожирать человека. Надо сопротивляться. Надо сопротивляться! Хотя бы это было то же, что сопротивляться вращению Земли. Постарайся же уцелеть — вот в чём твоё единственное достоинство. Выжить — единственная форма сопротивления. С точки зрения истории твоя жизнь значит не больше, чем жизнь дерева в тайге. Лагерные электропилы валят деревья одно за другим. Топоры обрубают верхушки и ветви, корилки сдирают кору. Бывшие артиллерийские, выбракованные и свезённые на край света лошади из последних сил выволакивают нагие стволы с делянок на лесосклады. Зелёный убор сгорает на кострах. Остаются кладбища пней и поля чёрного праха.

Ясным утром, в шестом часу московского времени, мимо вагонов только что прибывшего экспресса, мимо потного и отдувающегося локомотива, в толпе усталых пассажиров брёл, таща за полуоторванную ручку перевязанный верёвкой деревянный чемодан, приезжий из дальних мест.

Милиционер, скучавший у входа в пассажирский зал, издали наколол его опытным взглядом, подождал, когда тот приблизится, поманил пальцем.

«Ваши документы».

Мы уже знаем, что это означало, но путешественник не имел паспорта. Путешественник извлек из глубин своего одеяния сложенный вчетверо листок. Сержант развернул справку, посмотрел на приезжего, на фотографию и снова на приезжего, оглядел с головы до ног, от буро-рыжих валенок до шапки-ушанки с оттопыренным козырьком рыбьего меха, и повёл за собой в дежурную комнату.

В чемодане оказались книги. Это по-каковски же будет, спросил сержант с некоторым разочарованием, встряхнуд и полистал наугад две-три книжки. По-французски, робко сказал приезжий, и дежурный, поколебавшись, кивнул и махнул рукой: дескать, проваливай. Пассажир следовал по месту назначения, указанному в документе, от столицы сто километров с гаком, конечная остановка пригородных поездов, ну и шагай куда положено, на другую платформу; путешественник так и сделал. Но, спустившись вниз по лестнице подземного перехода, помедлил, вернулся назад и, оглядевшись, поспешил к выходу на вокзальную площадь.

Некогда император Карл Пятый похвалялся тем, что над его владениями не заходит солнце. Писатель имел счастье жить в стране столь обширной, что и над ней, как над империей Карла, не заходило солнце; только это было ночное солнце. Ночь спешила навстречу, покуда на плохо смазанных, визжащих колёсах вагоны континентальных поездов везли его, громыхая на стыках.

Не оглядываться! Превратишься в соляной столп. Громыхнул засов, и, выйдя из проходной, с чемоданом на плече, по знакомой дороге он двинулся к станции. Раз в сутки отправлялся на юг по местной узкоколейной дороге поезд, состоявший из двух трофейных пассажирских вагонов для военнослужащих и вольнонаёмных и полудюжины теплушек для контингента. В тамбуре, где сидит конвой, топится железная печурка, отсюда и название. В самом же вагоне, запахнувшись поплотней в ватные рубища, слипшись в неразличимую массу, сидит на полу, клацает зубами контингент. Арестант, всё ещё арестант, всю ночь ехал до комендантской столицы, единственного населённого пункта, который можно было найти на картах этого края. Сутки заняло оформление вышеупомянутой справки. У него спросили: куда едешь? Он ответил. Ему сказали: туда нельзя. Он это знал заранее и назвал городок за сто первым километром, ему выдали билет.

Подошёл поезд из Котласа, пассажир спал, качаясь на багажной полке под потолком, подложив под голову чемодан. В Горьком толпа, штурмом бравшая вагон на Москву, едва не сбила его с ног. Он смотрел на них: это были свободные люди. Провёл ночь на вокзале и ещё одну в вагоне.

Под нежнорозовым, перламутровым небом пустынная привокзальная площадь отсвечивала тусклым металлическим блеском, блестели, как слюда, окна домов, розовели лужи, ночью прошёл дождь. Путешественник вспотел в ватных доспехах и дрожал от холода в непросохших валенках. Время от времени он чувствовал себя персонажем чьего-то сна. В этом сне он стоял на кромке тротуара, не решаясь приблизиться к веренице машин с кубиками на бортах. Таксист презрительно косился на его одеяние. Приезжий протянул смятую трёшку.

Он высадился в переулке напротив чехословацкого посольства, брёл в своих валенках, оставляя на тротуаре влажные следы. Ничего не изменилось в подъезде дома, построенного бароном Терентием Карловичем Тарнкаппе. Всё те же три истёртые ногами поколений каменные ступени, и по-прежнему из окна наверху, между маршами лестницы, сочится призрачный свет. Сто лет назад нужно было подпрыгнуть, держа наготове палочку, чтобы ею достать до кнопки звонка. Он надавливает на пуговку и слышит робкое треньканье звонка в коридоре. Тишина, бесконечно тянущееся время, незваный гость нажимает ещё раз. Наконец, шаги, чужой женский голос. Я, сказал путешественник. Там не расслышали; голос повторил: кто там? Дверь приоткрылась, насколько позволяла цепочка. Он увидел бледное лицо, встрёпанные волосы, блестящие заспанные глаза, женщина стояла в халате поверх длинной ночной рубашки.

«Ты?!» — произнесла она наконец. Гость кивнул, пожал плечами.

Спохватившись, она захлопнула дверь, несколько времени длилась тишина, звякнула цепочка, дверь открылась, ш-ш, прошептала она, приложив палец к губам, теперь плотно запахнутый халат был перетянут пояском. Писатель подумал, что она не одна. Как ни удивительно, она его узнала. Тусклая лампочка освещает коридор, справа от входа висит счётчик Сименса-Шуккерта, в квартире все спят, и сундук по-прежнему загородил дорогу. Те же золотистые, почти рыжие глаза; в первые минуты ему кажется, что племянница ничуть не изменилась. Она открыла дверь, пропуская в комнату гостя.

Но в ушах звучит не ее голос, а причитанья Анны Яковлевны, кашель из-под одеяла, и тотчас происходит *это*, в комнате появляется девушка.

В комнату входит племянница, вернее, внучатая племянница, забежала на полпути; та самая, о которой ночью говорил отец; та, что стоит спиной к окну, и волосы окружают светящимся нимбом её лицо, погружённое в сумрак. Кажется, она собиралась стать актрисой, какую же пьесу вы ставите, спросила Анна Яковлевна.

«Твоя мама в больнице, — сказала племянница. — Уже третий месяц».

Странник стянул ушанку с остриженной головы. В комнате было полутемно, широкое трёхстворчатое окно выходило во двор. Комод на прежнем месте, но картина в роскошной облупившейся раме, нагая девушка в бокале, исчезла, нет иконы, не стало фотографий, и к запаху пыли и старины примешивается душно-сладковатый аромат женщины. Под халатом дышало и двигалось её тело. Рассвет затушевал черты её лица. На диване — но это уже не тот диван, без спинки, на которую так удобно было опираться, — на раскладном диванном ложе скомканное одеяло, подушка с вмятиной от головы; одна подушка, отметил он. Туалетный столик, заставленный баночками, флакончиками, заваленный безделушками. Новые вещи вперемешку со старой рухлядью. Слева от двери на плечиках, занавешенные простыней, висели её платья.

Писатель попросил разрешения оставить в комнате чемодан с книгами.

«В какой больнице?» — спросил он.

Она оглядела его, качая головой: «Тебя, в таком виде...» — ватное рубище, буро-рыжие, расширяющиеся книзу валенки на толстых подшивках. К тому же она не знала, где эта больница, надо сходить в поликлинику.

А комната, спросил он, что с комнатой.

Длинная, как пенал, комната родителей, откуда бежал он в ту далёкую ночь, и мать провожала его на вокзал, и далее потянулась вереница дней, почти уже нереальных, волосатый мужик, и жизнь на заимке, и жаркое тело Клавы, время, остановившееся на время, застрявшее, как он, пока не подъехал к полуразрушенным воротам милицейский фургон, чёрная шинель вошла и растолкала его.

Пили чай. Житель потустороннего мира был благодарен Валентине за то, что она не интересуется, не расспрашивает ни о чём. Он понял, это был род неписанного этикета. Где был, откуда явился — никаких вопросов. И слава Богу. Писатель сказал, что ему нужно ехать в N, подыскать жильё, получить паспорт, прописаться. Она кивала, словно всё, что он говорил, разумелось само собой и всё, о чём он мог бы рассказать, было и без того известно.

XXVI
Философия паспортного режима

10 мая 1955

Похоже, что никто больше не интересуется сочинителем этой хроники. Его оставили в покое — надолго ли? Бывший узник, — впрочем, что за выражение, слово, никогда не употребляемое нашим братом, подобно тому как солдат никогда не скажет о себе: воин, — пошлая риторика журналистов, — как же тебя наименовать? — некто *бывший* обретается на окраине населённого пункта, который не назовёшь ни городом, ни деревней, живёт у полубезумной хозяйки, в комнатке с низким окошком, щелястым полом, с топчаном, на котором лежит соломенный тюфяк, какая-никакая простыня, одеяло, подушка; ты сидишь или, лучше сказать, восседаешь за дощатым столом под свисающей с потолка лампочкой, наслаждаясь покоем и одиночеством, в том особом, ни с чём не сравнимом состоянии человека, который знает, что никто не погонит его на работу.

Жидкое солнышко, косясь, заглядывает в твоё жильё, ты спал, сколько было душе угодно, встал, не заботясь о времени, с восхитительным сознанием, что можно было и не вставать; сегодня воскресенье, но и это не имеет значения, для нас каждый день воскресенье. О-о, какое блаженство не работать, мечта миллионов. Время, похожее на время юности, когда его так много, что о нём не стоит жалеть.

Право же, если кто-нибудь ещё верит в светлое будущее, то потому, что представляет себе коммунизм как царство, где никто не работает.

Итак, продолжим наши размышления об истории. Тот, кто некогда начертал замечательные слова: *есть великая славянская мечта о прекращении истории*, не представлял себе, насколько он прав.

Мечта осуществилась. Это было нечто новое: образовались лакуны, и в них провалилась история. Государство стало похожим на дырявый сыр. Но ненадолго: как растёт плесень в сыре, так и в этих пустотах выросла новая цивилизация. Ожила и двинулась своим путём псевдоистория. Вот и толкуйте после этого, что география не имеет значения; лагерная цивилизация не могла бы расцвести в иных географических условиях. Страна, посрамившая империю Карла V, держава, размеры которой превосходили воображение, была словно создана для того, чтобы сделаться обетованной землёй каторжного труда. И труд преобразил страну. Круг замкнулся — эта цивилизация вернулась в лоно истории. Но теперь стало невозможно разгадывать историю и судьбу страна, храня молчание о главном: о лагерях.

Довольно об этом. Дело сделано. Паспорт лежит на столе. Читайте, завидуйте, как некогда пел поэт. Вольноотпущенник размышляет о тайне серой дермантиновой книжечки. Так аскет-пустынник погружается в созерцание Распятого.

Прямо скажем: насколько проще, понятней, — он чуть было не подумал, честнее, — была его справка с физиономией выходца из лесов. Там, по крайней мере, всё было ясно, там стоит чёрным по белому, женским почерком барышни-делопроизводительницы спецотдела: статья, срок, где отбывал. Там расставлены красные флажки. Обозначено силовое поле документа. *Видом на жительство не служит. При утере не возобновляется*.

Между тем как власть и могущество паспорта состоит в том, что пределы этой власти неизвестны.

Могущество постановлений заключается в их секретности. Мина, скрытая под дермантиновым переплётом, необстрелянному взгляду не видна. Но ты-то знаешь, где она зарыта: на второй страничке. Графа *На основании каких документов выдан паспорт.* Там, где рукою другой барышни вписано: *На основании справки БО № 0004458 и Положения о паспортах*. Синяя татуировка раба. Стигма государственной неполноценности.

Никто никогда не видел это Положение, и не увидит. Но это и не требуется. Существует версия, — порхает слух, — что таинственное Положение вовсе не существует. Важно не Положение, а упоминание о нём.

Человек без паспорта как бы уже вовсе не человек, его имя ничем не подтверждено, его происхождение никак не удостоверено, у него нет возраста, нет профессии, нет национальности, нет даже пола: он никто, вот он кто. Отсутствие паспорта не может быть восполнено другими бумагами — справками, удостоверениями, дипломами, аттестатами; напротив, делает обладание ими подозрительным и преступным. Невозможно и поселиться где бы то ни было, ибо нет документа, на котором можно оттиснуть соответствующий штамп. Могущество паспорта даёт себя знать в полной мере, когда паспорт отсутствует.

Однако паспорт паспорту рознь. Когда-то нужно было скрывать незаконорожденность, марающий честь поступок, разорительные долги или дурную болезнь. Теперь надо скрывать пометку в паспорте. Она как глубоко в теле созревший гнойник, от которого время от времени сотрясают приступы лихорадки, но удалить его невозможно

Сердце паспорта — его номер; венец всей длинной череды номеров, под которыми ты числишься в папках и картотеках различных ведомств. Государство шифров, империя номеров. Писатель спросил себя, когда это началось. Уже сто лет назад можно было сидеть, как Герман, в 17 нумере Обуховской больницы, носить на фуражке номер полка, одалживать у Федосей Федосеича дельце за № 368. Когда же мы окончательно запутались в цифровых тенётах? Номер метрического свидетельства, номер военного билета, номер ордера на арест, номер камеры, номер следственного дела, номер оперативного дела, номер и шифр комендантского лагпункта, шифр и номер справки об освобождении. Но не может быть, чтобы буквы и нумерации существовали сами по себе. Должен быть верховный номер. Это и есть номер паспорта.

Мысли проносятся мимо, как мусор на ветру; ты покоен, ты счастлив.

XXVII
Соты вечного успокоения.

22 июня 1955

Опять-таки не назовёшь улицей просёлок, ещё не просохший после дождей; громыхающий грузовик обдаёт прохожего грязью. На вокзале безлюдно. В гремучем полупустом вагоне сочинитель сидит у окна, ждёт, когда войдут контролёры, войдёт добровольный патруль, войдёт милиционер. В толпе пассажиров, неузнанный, не разоблачённый, он шагает по перрону Ярославского вокзала, сегодня, кстати, началась война. Он шествует по перрону, он семенит, догоняя мать, кругом колышется человеческое желе, в суматохе поспешной эвакуации, с баулами, с чемоданами, с швейной машиной они не

могут отыскать свой вагон, теряют и нагоняют друг друга. Они стояли в просвете забитого людьми и вещами пульмана, ждали, искали глазами отца, и вот он протискивается, он успел придти попрощаться. Но разговаривать невозможно, отец машет рукой. Гремят репродукторы. Над толпой, штурмующей поезда, раскатился хищно-радостный баритон. *Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...* Могучий хор. Ансамбль красноармейской песни и пляски. *Вылетают кони шляхом каменистым. Встретим мы по-сталински врага.* Солнце палит с небес, лето в разгаре. Какие там кони. Говорят, уже сдали Смоленск, моторизованное полчище катится к Москве, как океанский вал. *Не скосить нас саблей острой.* Где эти сабли... Отец стоит у вагона. Завтра скороспелое войско, именуемое народным ополчением, как во времена гражданина Минина и князя Пожарского, выступит в поход, через два месяца от этого ополчения ничего не останется.

Писатель... — но по какому праву ты величаешь себя писателем, не оттого ли, что история, как кто-то сказал, есть род литературы и, собственно, становится историей лишь после того, как она написана кем-то; не потому ли ты лезешь в писатели, что биография, подобно истории, начинается на бумаге, станет биографией лишь при условии, что твоя жизнь станет литературой? — писатель едет по узким ветвящимся переулкам и думает о том, что его жизнь — единственный материал, которым можно склеить распавшееся время. Соблазнительная идея. Трамвай выворачивает на главную улицу. А там уже показались башни и луковицы, он шагает вдоль крепостной стены, мимо пышно распустившихся деревьев, огромный монастырь нависает над ним из-за кирпичной ограды, снизу кажутся приплюснутыми его почернелые главы. Поодаль высокая прямоугольная труба крематория и контора. Секретарь смерти протянул руку — где ваш паспорт, как же иначе, и с привычным трепетом посетитель извлекает новенький, в серых корочках, волчий билет. Человек-лемур нацепляет очки, разворачивает книгу судеб, слюнит палец, листает страницы, водит пальцем по строчкам.

Двадцать восьмой колумбарий. Сто тысяч тонн бананов из Колумбии. Сколько-то времени провести перед табличкой, где стоят две даты и пустой овал дожидается фотографии матери. Вспомнить фантики, марки, комнату-пенал, древнее пианино, портьеру, отгородившую кровать родителей. Бедные, они даже не знали, где находится эта Колумбия. Теперь дальше. Мимо окошек с засохшими цветами, откуда выглядывают детские, юные, старые лица, с датами, с почернелыми буквами, — двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый — и ещё один, и ещё: вот он! Халдеи знали, пифагорейцы знали, мир построен из предвечных чисел. Под каким числом нам предписано покоиться в узком сосуде, за дощечкой поддельного мрамора? Не одному тебе знакомое, странно тревожащее чувство неживой жизни, которая обитает здесь, существует, не существуя, подглядывает, подслушивает, прячется там, среди кустов и холмиков по другую сторону аллеи.

Кое-где выпали таблички, в тесных нишах стоят почернелые вазы, и вот оно, наконец, в мутном овале уже покусанного алмазным зубом времени медальона жалкое, улыбающееся лицо Анны Яковлевны Тарнкаппе. Крест и надпись... ты читаешь дату её ухода. Ты стараешься вспомнить, отыскать этот день, как песчинку в песке. Где ты был, Адам? Что ты делал в тот день, что с тобой делали? Почуялось ли тебе, что за тысячу вёрст, в переулке у Красных ворот, в комнате-келье с фотографиями, комодом, диваном, источающем запах её папирос, в эту минуту закрылись ее глаза? Чтобы потом открыть их уже здесь, на фаянсовом медальоне. Умерла ли она на своём диване или за ней тоже пришли? Смерть приезжает ночью в машине, входит в подъезд, цокает подковками

по ступеням, истоптанным ногами поколений. Слава Богу, этого не случилось, ведь тогда она не оказалось бы здесь. Не было бы никакого медальона, и вообще оказалось бы, что никакой Анны Яковлевны никогда не существовало. Писатель бредёт по пустынной аллее, перед ним бежит его короткая тень, слева стена колумбария, справа грибницы крестов и надгробий. Не дойдя до ворот, оборачивается.

Он сощурился от слепящего света, там кто-то стоит, новые посетители. Приставил руку к глазам: две женщины, старая и молодая, у Анны Яковлевны в гостях. Если не она сама собственной персоной. Помедлив, он возвращается.

Она сидит на скамейке.

«Представь себе, мне показалось...»

«Что показалось?»

«Что ты стоишь с Анной Яковлевной!»

Валентина оглядывает писателя. Совсем другое дело, теперь у него человеческий вид. Где ты живёшь? Зашёл бы хоть раз. Он пожал плечами. Работаешь? Писатель покачал головой, никуда не принимают. (Он особенно и не старался. Встаёт вопрос, на что он живёт). Тишина, они сидят против 33-го отсека, и жизнь, вечная неживая жизнь витает вокруг, прячется в листве. Не хочется ехать на вокзал, возвращаться в пустое жильё из этого солнечного царства. Помнишь, проговорил он, как ты однажды пришла, Анна Яковлевна болела. Ты стояла у окна, спиной к свету, и волосы светились, как нимб.

Нет, она не помнит.

«Ты училась в театральной студии».

«Было дело».

«А даму в бокале помнишь?»

«В бокале? Какую даму?»

«Картину».

«А-а, хи-хи...»

«Куда она делась?»

Она пожимает плечами, покачивает кудрями.

«Твой портрет».

«Скажешь ещё».

«Я это понял, — сказал писатель, — когда ты ушла».

«Но она же голая. Сколько тебе было лет?»

«Я смотрел на картину другими глазами. Я не видел наготы. Можешь мне поверить, — он усмехнулся, — я смотрел на неё и видел тебя. Давно было дело».

«Давно».

Ещё посидели; он спросил: а доктора Каценеленбогена она помнит?

Доктора помнит: толстый такой. Он ещё на неё заглядывался.

«Тоже, наверное, где-нибудь здесь».

Оба смотрят туда, где чернеет, белеет, улыбается медальон.

«Ты её любила?»

«Не знаю; не очень».

(Спрашивается, почему же она пришла).

«А она тебя?»

«Я думаю, — сказала племянница, — она была ведьма».

«Она была, — возразил писатель, — как бы это сказать... — и попытался восполнить недостаток слов слабым кивком, неопределённым мановеньем руки. — Одним словом...»

(Он знает, что Анна Яковлевна принадлежала к породе людей, вокруг которых совершаются чудеса. Это свойство она отчасти передала ему).

Ещё немного побыть перед тридцать третьим колумбарием.

Ей, однако, пора.

«Заходи, — сказала она, поднимаясь, — буду рада».

Писатель смотрит ей вслед. Блузка, под которой просвечивают бретельки бюстгальтера, тесная юбка, сужающаяся книзу, подрагивающие бёдра, мелко, быстро шагающие ноги в модных золотистых чулках.

XXVIII
Сатурн

15 августа 1955

1.

Назад, назад, моя исторья, к началу времен... Трижды бородатый Ной выпускал голубя из ковчега, и на третий раз не вернулся голубь. Вода сошла, сыновья разделили землю. Симу достался восток, Хаму — юг. Иафет же, самый младший, получил во владение ночные страны; там и осела славянская Русь вперемежку с разные племенами: чудью, мерей, муромой, весью, мордвой, печерой и прочими, до самого Варяжского моря.

И было земли немерено, таёжных лесов, болот, рек и пустошей глазом не охватишь, дикого зверя и рыбы — невпроворот, и всё это поделили между собой конунги и князья. Каждый правил из своей деревянной крепости, нанимал и кормил дружину, оружейников, сборщиков дани и прочих нужных людей, а кругом расселился народ: кто промышлял рыбной ловлей, кто охотился на зверя, кто сводил тайгу и распахивал землю, кто побирался и грабил на лесных дорогах. Поклонялись богам: Перуну — будущему Илье-пророку, Велесу — святому Власию, Яриле, который стал святым Юрием, и приносили жертвы плодами, телятами и людьми. Так понемногу основалось наше отечество.

Новые владетели пришли на смену старым, и раздвинулись границы могущественных княжеств, народишко между тем редел, хирел и вырождался, и пришлось завозить новых людей для работы. Не было больше ни чуди, ни мери, а был единый великий народ, называемый контингентом.

2.

Великие открытия часто обгоняют своё время. Так произошло с изобретением колючей проволоки. Родина колючей проволоки, как считают, экзотический остров Куба, по другим сведениям — Трансвааль: англичане во время войны с бурами сгоняли население в концентрационные лагеря. Однако в то время колючая проволока, крупнейшее техническое достижение нашей эпохи, ещё не нашла широкого применения.

Проволока толщиной от 8 до 10 *мм* изготовляется горячей прокаткой и волочением из углеродистой стали. Готовая продукция поставляется заказчику в виде мотков длиной до тысячи метров. Основным элементом проволоки

является насадка, именуемая также бабочкой или касатиком. Устройство касатика вкратце может быть описано так: он состоит из двух отрезков проволоки с заострёнными концами, плотно намотанных на основной провод навстречу друг другу, так, чтобы концы длиной до 30 *мм* оставались свободными и торчали наружу. Различают два верхних конца, левый и правый, и соответственно два нижних. Касатики расположены на расстоянии 80 *мм* друг от друга. При необходимости по проволоке может быть пропущен ток.

Наружное заграждение из колючей проволоки в десять рядов протягивается между столбами, вбитыми в грунт через каждые пять метров, и дополнительно укепляется двумя диагональными нитями. Внутреннее заграждение состоит из 5—7 нитей, который крепятся на наклонных рейках над тыном, окружаюшим зону. На концах реек находятся лампы, образующие так называемое осветительное кольцо.

Необычайная ценность колючей проволоки доказана многолетней практикой её использования во всех климатических зонах. Колючая проволока вошла как обязательный поэтический элемент в лагерную мифологию и фольклор, воспета лагерными стихотворцами, упоминается в былинах и преданиях.

3.

Часто бывает так, что новому изобретению дают старинное название. Польское *nary* известно с конца XVI столетия. Невозможно с точностью сказать, когда оно перекочевало в наш язык, где превратилось в термин; важно отметить, что, введённые в общенациональный обиход, нары представляют собой вполне современное сооружение, отнюдь не напоминая о старине. По имеющимся данным, нарами пользуются от 30 до 70 процентов населения страны. Но, в отличие от колючей проволоки, нары поставляет в готовом виде местная промышленность. Соответственно и породы дерева, из которых изготовляются нары, могут быть различными в разных регионах. В лагерях, колониях и родственных им учреждениях средней полосы на постройку нар идёт сосна, в Заполярье и на островах Северного Ледовитого океана — карликовая сосна, в Южной Сибири, на Дальнем Востоке и в ряде других районов — берёза, ель, пихта, лиственные породы. Использование искусственных материалов, а также спрессованных опилок, переработанного камыша и пр. для строительства нар себя не оправдало.

Различают два основных вида нар: сплошные, чаще используемые в тюрьмах, и двухэтажные — лагерные; ради экономии места здесь речь будет итти о втором виде нар, называемых вагонными (за пределами нашего описания остаются также редко применяемые трёхэтажные нары и земляночные полуярусные нары).

Нарокомплекс конструкции инженера, лауреата Сталинской премии Дымогарова (дымогаровская вагонка) состоит из четырёх лежачих мест — двух верхних и двух нижних. Места на нарах занимаются по обычным правилам лагерной иерархии: почётными считаются нижние этажи. Возможно также использование мест под нарами.

Нары состоят из вертикальных брусьев с приступочкой для влезания на верхний этаж и дощатых настилов с подголовниками. На настил укладывается плоский матрас, набитый тряпками, на подголовник — тряпочная подушка. С наружной стороны лежачее место ограждено невысокой доской для предохраненинья спящего от падения. Фанерная бирка с фамилией, статьёй и сроком прибивается к ножному краю.

Хотя нары представляют собой горизонтальное устройство, ошибочно думать, что на нарах только спят. На них лежат, сидят, принимают пищу, выясняют взаимоотношения, играют в самодельные карты, прячут разнообразное имущество и так далее. На нарах *живут*.

4.

Век стоит на раскоряченных лапах, слепой динозавр. Радуйся, о, радуйся забывчивости начальства. Ветер перемен утих. Благослови этот соломенный тюфяк, эти первые времена, шаги на воле, подобные первым шагам младенца. Ты живёшь двойной жизнью. Книжки лежат на столе, и в комнату просочилась луна.

Если бы (говорит Паскаль) сапожник каждую ночь видел во сне, что он король, он был бы не менее счастлив, чем король, которому еженощно снилось бы, что на самом деле он сапожник. Если во тьме тебя обступают лесные и болотистые края, а утром, проснувшись, видишь себя лежащим на тюфяке в комнате у хозяйки, то что это, собственно, значит: *на самом деле*? Два сна, два зеркала лицом друг к другу, и в одном отразилось одно, в другом другое; и во сне ты пробуждаешься от сна и вспоминаешь о возвращении, как вспоминают сон; на самом деле ты *там*, и ничего не изменилось. И всё так же сбивается с ног конвой, торопясь в казарму, спешит изо всех сил крысиное шествие серых бушлатов по шпалам, торопясь из рабочего оцепления в зону. Все так же подавальщики в столовой, с тремя этажами оловянных мисок на деревянных подносах, выкрикивают зычными голосами номера бригад, и тридцать глоток за длинным дощатым столом, от которого пахнет кислыми тряпками, орут: «Сюда!», тридцать рук зачерпывают жидкую перловку, облизывают ложку и запихивают в валенок. Всё так же вдоль стен стоят с провалившимися лицами мисколизы, хватают миску из рук, допить, долизать остаток. Назавтра снова в предутренней тьме ты выходишь с бригадой из ворот, полукругом, хищно зевая, сидят на поджарых задах овчарки, ты расстёгиваешь бушлат, чтобы дать себя обыскать, обхлопать, облапать под мышками и между ног, ты стоишь в строю, ждешь хриплый возглас, команду конвоя, шагаешь в колонне по шпалам одноколейки.

Узкая загибающаяся насыпь, слишком короткое расстояние для мужского шага, если со шпалы на шпалу, слишком большое, если перешагивать через шпалу. Колонна по четыре в ряд, двое между рельсами, двое по торцам, опустив головы в рыбьих ушанках, глядя под ноги, чтобы не споткнуться; впереди конвой, два стрельца с автоматами поперёк груди, — шире шаг! — позади конвой, замыкающая пара, поспешает, чтоб не отстать, а вокруг тонут в морозном тумане заснеженные поля скованных льдом болот, остатки штабелей под сизыми шапками снега, поломанные куртины, лиловые небеса. И медленно зреет рассвет.

XXIX
Любовь

1955 или, что то же самое, 1952

...И, как бывало уже не раз, без повода, будто бы ни с того ни с сего, но на самом деле в силу тайного сцепления вещей, вспомнилась изумительная красота Вселенной, открылся мерцающий каплями ртути небесный ковш рукояткой вниз, направо в пустыне звёзд крупным брильянтом сверкал Юпитер, левей и выше переливался голубоватый Сириус. Это было всё, что он мог назвать и опознать, да ещё скромная Полярная звезда в вышине и семеро сестёр — Плеяды. Невдалеке темнела казарма, ближе к зоне располагались службы, магазин для вольнонаёмных, сарай пожарной охраны. И, наконец, зона: с угловой вышки вдоль увешанного лампочками древнерусского тына, вдоль запретной полосы, по рядам колючей проволоки бил прожектор. Сторож в ватном бушлате, в растоптанных валенках, в каком-то тряпье вокруг шеи и на остриженной наголо голове, в ушанке с завязанными ушами расхаживал перед магазином, останавливался, задрав голову, оглядывал звёздную россыпь, хлопал себя по бокам, бил одна о другую ноги в негреющих валенках, изрыгал морозный пар. Сторож был бесконвойным, *малосрочником*, отсидевшим две трети срока, большинство же имело четвертной — двадцать пять и пять *по рогам*. Было около полуночи. Он научился угадывать время без часов. Он шагал, отходя всё дальше от магазина, возвращался, вновь отдалялся, чутко прислушивался, приглядывался. Вдалеке на угловой вышке спал стоя перед своим пулемётом караульный солдат-попка, огненный глаз прожектора струил свой луч поверх древнерусского тына. Донеслось нежное позванивание, побрякивание кольца на проволоке, овчарка, трусившая по ту сторону тына, остановилась — сторож тихо пощёлкивал языком — она узнала его и молча потрусила обратно. Сторож постоял, подумал и двинулся, сперва медленно, потом всё быстрей и уверенней, скрипя валенками, обогнул казарму и погрузился в ночь. По глухой, еле видной во тьме таёжной дороге он шагал, не сбиваясь с пути, стало жарко от быстрой ходьбы, он расстегнул бушлат, развязал и стащил с головы ушанку — холодный пар окутал лоб и взмокший платок на голове. Он снова нахлобучил ушанку. Так прошло, может быть, полчаса, лес расступился. Путник съехал в овраг с оледеневшим ручьём под ковром снегов. За оврагом находилась деревня, полтора десятка угластых крыш; нигде ни огонька.

Ты взошёл на крыльцо, стряхнул с себя снег, оттопал с валенок. Никто не отозвался на тихий стук в дверь; тайный гость спрыгнул с крыльца, пробрался к окошку, немного погодя брякнул засов. Блестя во тьме заспанными глазами, женщина стояла, дрожа от холода, босая, в деревенской ночной рубахе, накинув на голову платок. Из сеней вступили в жарко натопленную избу, Маша чиркнула спичкой, коптилка стояла на столе, в заиндевелых окошках отразились их лица. Смуглый лик Богородицы в жестяном окладе метал тусклые отсветы, большая почернелая печь отгородила горницу от кухни, на полатях спали дети, мальчик и девочка, в углу под иконой стояла деревянная кровать. Висела одежда на гвоздях, висели фотографии между окнами и плакат «Все на выборы», постукивал маятник размалёванных ходиков. Гость запасся гостинцем, бережно извлёк приношение из кармана в подкладке бушлата. Кровать ждала их. Долгая ночь оберегала до рассвета.

И медленно вращался вокруг неподвижной точки небесный купол, сиял Юпитер, медлила показаться голубая Венера, подкрадывался невидимый глазу

Сатурн, планета-покровительница концлагерей. И, уже возвращаясь (было всё ещё темно), спеша по невидимой дороге, он услышал марширующие сапоги, увидал впереди две тёмных фигуры, это шагали навстречу два солдата; глядя под ноги, он прошёл мимо них. Они не сказали ни слова, не остановились, это был молчаливый сговор невольников. К кому они шли: *к ней*? Нет, разумеется; вся деревня — десяток баб — обслуживала казарму

И оттого, что ты знал — она спит, утомлённая, запершись на все засовы, — невозможная мысль пришла тебе в голову: что всё, что с тобою случилось, было лишь предварением, было подстроено судьбой, чтобы в конце концов ты очутился в этом краю, под лиловым лучом окольцованной планеты лагерей, чтобы с риском быть пойманным брёл по лесной дороге, входил в тёплую избу и видел в полутьме блестящие глаза, обнимал сильное, жаркое тело, чтобы, изнемогая от счастья, понял, что всё — прах и тлен в сравнении с этой встречей.

Ты — или это был кто-то другой? — спросил писатель, поворачиваясь на своём ложе, и не мог найти ответа.

XXX
У того, кто раньше умрёт, останется больше времени побыть среди мёртвых

1952, 1953

1.

И вновь завершился круг, один из тех, подобных планетным орбитам, кругов его жизни, и уже невозможно было припомнить, когда он потерял Машу из виду; словно деревню окончательно погребло под снегом; но, как и прежде, старому лагернику не надо было вставать со всеми в утренней тьме, когда нарядчик стучит по нарам своей доской, на которой расписаны бригады и сколько народишку выходит к воротам. В этот час ты возвращался, предвкушая сладкий сон в опустевшей секции, зато вечером, когда барак наполнялся усталыми и возбуждёнными работягами, ты приступал к сборам, влезал в ватные штаны и всаживал ноги в валенки, голову повязывал тряпкой, чтобы не дуло в уши и затылок, нахлобучивал шапку, надевал бушлат и запасался латаными мешковинными рукавицами. В синих густеющих сумерках ты стоял перед вахтой. Гремел засов, ты выходил, предъявив пропуск бесконвойного. По тропе в снегу брёл до угловой вышки, сворачивал на дорогу, ведущую к станции. Слева, между сугробами находилась площадка, усыпанная щепками и корьём, высились штабеля дров, темнел большой дощатый сарай, похожий на пароход, с железной мачтой-трубой на проволочных растяжках. Сквозь ртутное мерцание звёзд, безустали грохоча, дымя плотным белым дымом, шёл вперёд без огней и флагов опушённый снегом двускатный корабль. Еженощно его утроба пожирала восемь кубометров берёзовых дров.

Всю ночь свет горел в зоне на столбах и бараках, в посёлке, в казарме, в пожарном депо. Ток подавался на кольцо. Всё могло выйти из строя, но венец огней вокруг зоны и белые струи прожекторов, бьющие с вышек, не смели померкнуть ни при какой погоде. Дровокол принимался за дело. Расчистить рельсы для вагонетки, сгрести снег со штабелей. Обухом наотмашь — по смёрзшимся торцам, чтобы развалить штабель. На столбе под чёрной тарелкой кача-

лась на ветру хилая лампочка, колыхалась на площадке, махая колуном, тень в ватном бушлате. Становилось жарко, он сбрасывал бушлат, разматывал бабий платок.

Толкая по рельсам нагруженную тележку, он довёз её до сарая, толкнулся в створы низкого входа, и оттуда вырвался оглушительный лязг. В топке выло пламя. Облитый оранжевым светом, полуголый глянцевый кочегар висел грудью на длинной, как у сталевара, кочерге, ворочал дрова в печи. Кочегар что-то кричал. На часах, висевших между стропилами над огромной, потной и сотрясающейся машиной, было два часа ночи. Механик спал в углу на топчане, накрыв голову телогрейкой.

Кочегар крикнул — звонят с вахты. Дежурный ругается. Кольцо вокруг зоны тускнело, когда топку загружали сырыми дровами. Дровокол вывалил в сарае содержимое вагонетки. Или это был не ты?

Ты! — возразили ему, проснись, зашептал голос из тьмы безвременья, и увидишь, что тот, другой, был тобою в тот год, нескончаемый, как год на Сатурне. В стране, где солнце — лиловой звездой, в те дни и ночи, когда в смутных известиях, нёсшихся, словно радиоволны, из одного таёжного княжества в другое, в ночных толковищах вполголоса на скрипучих нарах, в лапидарном мате крепла уверенность людей, которых считали несуществующими, в том, что только они и существуют, что повсеместно паспорта заменены формулярами, одежда — бушлатом и вислыми ватными штанами, человеческая речь — доисторическим матом, и что даже на Спасской башне стрелки заменены чугунным обрубком, который показывает один-единственный год; когда рассказывали о том, как старичок председатель Верховного Совета, в очках и в бородке клинышком, крестьянский сын, народный староста, едри его в корень, лишь только доложат, что прибыл состав, канает на Курский вокзал, стучит палочкой по перрону вдоль товарных вагонов, гружёных помиловками, то бишь просьбами о помиловании, а сзади ему подают мел. И старичок-козлик, мелом наискосок, на каждом вагоне — резолюцию: *Отказать*, и состав, как был, восемьдесят вагонов, катит обратно; когда рассказывали и расписывали, как маршал государственныой безопасности, в пенсне на мясистом рубильнике, в погонах, как доски, с животом горой, докладывает, сколько кубов напилили за день по всем лагерям, и Великий Ус, погуляв туда-сюда по просторному кабинету, подымив трубочкой, подходит к большин счётам наподобие тех, какие стоят в первом классе, перебрасывает костяшки, щурится: мало! *Пущай сидят*.

А то еще ходил достоверный рассказ про то, как один мужик забрался ночью в кабинет оперуполномоченного и спросил: правда ли, что вся Россия сидит? И что будто бы портрет над столом, ухмыльнувшись половинкой усов, ответил ему загадочной фразой: *Благо всех вместе выше, чем благо каждого*. Мужик не понял и спрашивает снова: правду ли болтают, что никого на воле уже не осталось? И Ус ему будто бы ответил:

«Ща как в рыло въеду, не выеду».

2.

Дровокол вывез пустую вагонетку из сарая. Волоча кабель, поплёлся к штабелю с ёлкой, она будет посуше, выкатил несколько баланов, разрезал, электрическая пила стрекотала, как пулемёт, рукоятка билась под рукавицей. Дул пронзительный ветер, колыхался жёлтый круг света, лампочка раскачивалась на столбе под чёрной тарелкой. Как вдруг свет погас. Пила замолкла. Открылся сумеречный, сиреневый простор под усыпанным алмазными звёздами небом.

Агрегат по-прежнему рокотал в сарае, из железной трубы валил дым и летели искры.

В темноте дровокол расхаживал вдоль расставленных шеренгой полутораметровых поленьев. Ель — не берёза, литые берёзовые плахи на морозе звенят и разлетаются, как орех, а ёлка пружинит. Колун завяз в полене, было плохо видно. Колун ждал, и когда дровокол наклонится над обухом, вырвался и саданул дровокола обухом в лицо. Писатель полетел назвничь. Милость судьбы: нагнись он чуть ниже, он был бы убит.

Кочегар заметил, что перегорела лампочка на площадке и выглянул в темноту. Писатель сидел на снегу, горячие красные сопли свисали у него изо рта и носа. Несколько времени погодя он доплёлся до зоны и утром получил в санчасти освобождение, но положенных дней не хватило, пришлось ехать на больничку, с замотанной физиономией под конвоем топать на станцию, следом за подводой, в которой везли еще трёх, совсем уже немощных.

И опять, невидимый, во второй раз стоял над кромкой лесов мертвенно-бледный Сатурн. Лицо зажило, передний зубы были обломаны наполовину. Злодейская планета покушалась на его жизнь; неудачно; и она ждала случая повторить эту попытку. Новое приключение вторглось в ночные грёзы; вспомнилось, как бывает при слабом повороте калейдоскопа, любимой игрушки детства; сместились цветные стёклышки, явился другой узор, выстроилась другая картинка.

После долгой дороги буханки плохо пропечёного хлеба, укрытые одеялом, которые он вез в в 156-й квартал, оказались побиты, разломаны, бригада с кулаками набросилась на возчика, расхватали куски, затем подошёл состав, с высоких штабелей на ветру грузчики в дымящихся от пота рубахах скатывали по лагам на платформы баланы авиасосны, шпальника, резонансной ели, свисток паровоза возвестил об окончании смены, состав шёл в северную гавань, там другие заключённые грузили лагерную продукцию на океанские пароходы — лес, всё ещё хранивший дурман тайги, плыл на волю, в чужие страны.

Возчик ночевал в бараке погрузколонны, навалил на себя несколько одеял с соседних лежаков, не мог согреться; наутро, не дожидаясь рассвета, двинулся в обратный путь. Он чувствовал себя нездоровым, несколько раз останавливал лошадь, чтобы тут же, на дороге, спустить ватные штаны, и по возвращении едва успел распрячь, еле-еле успел добежать до барака.

Отхожее место представляло собой холодное полутёмное помещение в конце коридора между секциями; на дощатом помосте, на корточках всегда кто-нибудь, кряхтя, справлял пахучую полужидкую нужду. Отдохнув немного, он слез с нар и поплёлся снова, вскоре дело дошло до того, что приходилось то и дело выбираться из секции, карабкаться на помост; казалось, он извергнет из себя весь кишечник, вместо этого вылетал кровавый плевок; так прошли день и ночь.

Назавтра он уже не вставал, спустя сутки, под вечер был отвезён на станцию, конвой стоял у колёс, те, кого вместе с писателем отправляли на больничку, втащили его в вагон. В третьем часу ночи — пол всё ещё качался под ним, колёса постукивали на стыках — писатель умер.

Так он попал на тот свет.

Светлым он не был, этот потусторонний мир, и состоял из одной комнаты, сумеречный свет сочился из двух окон, было холодно. Голый, как все, новичок дрожал на койке под тонким саваном. Слава Богу, прекратились спазмы, измученный кишечник обрёл покой. Исчезло время. Вошёл санитар, бородатый мужик в белом, талдычил что-то; наконец, дошло. Это был загробный мир

заключённых, людей с похоронными формулярами вместо паспортов, и апостол Пётр, само собой, был тоже с формуляром. Пётр сказал, что не стоило так суетиться, и бояться не стоило, ибо здесь всё то же самое. Сроков здесь не бывает. О статье никто не спрашивает. Кто хлебал баланду там, будет жрать её и здесь. Кто сюда попал, никогда отсюда не выйдет. И к лучшему.

XXXI
Жизнь — осколок бутылочного стекла под луной

Той же ночью и сколько-то лет тому назад

1.

Чтобы попасть внутрь, надо было пройти через стеклянную дверь, за которой клевал носом сторож швейцар в шапке, надвинутой на брови, в пальто с крысиным воротником и валенках, олицетворение атараксии, этого идеала древних мудрецов; его не волновала ни погода, ни поэзия, он грезил о какой-нибудь зелёной речке на Смоленщине, где теперь оборванные женщины бродили между печными трубами сожжённой деревни, среди зарастающих травой и бурьяном окопов и клочьев ржавой колючей проволоки. В тёмной раздевалке стояли пустые вешалки — никто не раздевался; с двух сторон парадную лестницу сторожили колонны, выкрашенные под серый мрамор, — тому, кто не каждый день обедал и по большей части питался морковным чаем и хлебом, колонны эти напоминали ливерную колбасу или плёнку молока на остывающем кофе. Наверху, с площадки, где раздваивалась лестница, мраморный кумир в парике взирал на девочек и юнцов, сияло позолотой незабываемое: *Дерзайте, ныне ободренны, раченьем вашим показать...*

Удивительно, как до последних мелочей, с филигранной точностью всё это отпечатала полусонная бредящая память.

Не поднимаясь, мимо аппетитных колонн поворачивали налево. В узком коридоре висели плакаты, объявления, пожелтелые правила пожарной безопасности, кучками теснился народ, стихотворцы, кто в шинели с гражданскими пуговицами, кто в коротком полуребяческом пальтеце, глядя в одну точку, рубили кулаком, читали стихи. Другие смотрели вниз, сдвинув брови, расставив ноги, это были критики, готовые вынести приговор.

До войны было детство, смутная и нереальная пора, её стыдились, от неё открещивались, и, право, не было худшего оскорбления, чем напоминание о детстве; после войны остался голый мир, холодный и неуютный город, населённый поэтами; ничего не было важнее и нужнее стихов, все читали друг другу стихи, грезили о стихах, шатаясь по тусклым улицам, бормотали короткие строчки, похожие на обрубки конечностей. Сильные, но неясные ощущения, беспредметное вожделение, с которым не знали, что делать, искавшее на ком остановиться, и боль, исходящую непонятно откуда, и ожидание чего-то — всё это можно было выразить только в короткой фразе, на конце этой фразы болталась приблизительная рифма.

Длинные периоды казались порождением лицемерно-болтливого довоенного мира. Теперь над всем господствовала кованая строка. Чтение напоминало прыжки на костылях. Это был марш инвалидов. С кровавых полей — на Парнас. Короткая фраза выражала краткость прожитой жизни. В этой фразе, как

огонёк в коптилке, жил образ, родившийся из удачно найденного слова. Здесь ценили метафору. Здесь можно было стать знаменитым благодаря единственному, неожиданному образу, он был патентом на талант. Его хватало на целое стихотворение. Он заменял мысль.

Растворились двери, и народ ввалился в клубную комнату; как всегда, не хватает стульев. В углу у рояля поминутно поправляет очки девушка в звании секретаря, в пальто, съезжающем с узких плеч. Искрится в тусклом свете затканное изморозью полукруглое окошко под потолком. Меж тем по опустевшему коридору, в шубе, потёртой шапке и фетровых ботах шествует знаменитый поэт, старик с нависшими, загибающимися кверху, как усы, бровями. Расцепив крючки шубы, усаживается за стол.

Заседание клуба молодых поэтов началось.

2.

Было что-то отрадное, утолявшее горечь, было оправдание длинной и бесполезной жизни старого виршеслагателя в этом собрании устремлённых на него блестящих глаз. Маленькая поэтесса, стоя у стола, лепетала о безответной любви, её сменил, отстранил двадцатилетний трубноголосый ветеран.

Эта молодёжь не могла себе представить, что можно жить в дальних воспоминаниях, как в мутно-светящемся водоёме, откуда внешний мир различим как бы в тумане.

Старик склонил бритый, лоснящийся череп, сдвинул усоподобные брови, застыл с сосредоточенно-недовольным выражением, как у настройщика перед расстроенныи инструментом; слушал и не слушал. Он был усатым гимназистом в южном приморском городе, где чавкали арбузами, лузгали семечки и смахивали с губ шелуху, гуляя с барышнями по бульвару. Он ораторствовал на митинге, прятал под шинелью символическое красное полотнище, причёсывал пятернёй мокрые волосы, ссорился с отцом, заседал в комитетах, вдруг всё кончилось, он очутился в холодном северном городе, где ветер свистел по прямым пустынным улицам от реки, блестевшей по ночам, как олово, и вдали на сумрачном небе рисовался собор и шпиль Петропавловской крепости. Он печатал свои стихи на обёрточной бумаге, жил с голодной подругой и близнецами, в огромной пустой комнате с окнами на набережную, и сумрак дня сменяли вечерние сумерки, а к полуночи небо разгоралось металлическим сиянием, и он вставал и подходил к окну, слагал стихи, пылал неугасимой верой и заседал на собраниях футуро-группы «Рёв Революции»; однажды к ним постучались, это была девушка-землячка без пристанища, на лестнице стоял её товарищ, жили коммуной, в большой комнате было две кровати, и когда родился ещё один ребёнок, оба, смеясь, объявили себя отцами. Никого не осталось в живых, уцелел он один.

3.

Трудненько ему придётся, думал руководитель поэтической студии, прислушиваясь к декламации; это были совсем не те оды, что печатались в журналах, — злые и грубые, такие же, как их автор, который там, в местах, откуда он явился, выплёвывал из худого рта циничную брань и лихое отчаянье, и издёвку, как теперь он выплёвывал стихи. У поэта были маленькие, близко поставленные глаза, бесформенный нос, точно продавленный посредине чьим-то могучим кулаком, кадык танцовал на его гусиной шее, в углах рта пузырилась слюна. Он

утирал её свободной рукой. Другая рука рубила воздух, нал лбом подпрыгивал клок волос, охрипшим голосом, напирая на «о», поэт кричал о варварской жизни в окопах, о беспросветном дожде, о подмокших сухарях, об атаке, о рукопашной схватке, а после — рубил он кулаком — мы хлестали ледяную водку и выковыривали засохшую кровь из-под ногтей, — и все взглянули на его руку, — и руководитель ещё гуще сдвинул брови, — и всё это, думал ты через много лет, лёжа на соломенном тюфяке, на окраине городка, о котором прежде даже не слышал, всё это нужно каким-то образом впустить в роман, не оставить втуне, ибо на всём почил тусклый слюдяной отблеск времени, ставшего вечностью. *Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв — и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо*... Это была пора, когда грубая мужественность стихов ещё не успела превратиться в кокетство, это были люди, которые безропотно умирали жестокой и животной смертью на Кюстринском плацдарме, в слепящих струях прожекторов на Зеловских высотах, это было время, когда...

4.

Это было время девушек. Взгляд натыкался на них на каждом шагу, ухо ловило смех, болтовню, обрывки загадочных реплик, девушки наводнили город и сны, все были одинаковы, и все были разными, в метро, на тротуарах, по-двое, по-трое, в облаке одеколона, прелестные, низкорослые, с локонами на плечах, с пышным коком над лбом, над подведёнными чёрным карандашом бровями, в туго претянутых ремнём травянистых гимнастёрках с погонами солдат и сержантов, в плоских синих беретах, приколотых к затылку, в синих прямых юбках до колен и гремучих сапогах, девушки в перешитых платьях, в блузках, под которыми просвечивал лифчик на бретельках, просвечивали ватные подкладные плечики, в чулках со стрелками, в неуклюжих плоских туфлях-танкетках на микропоре, девушки в порхающих юбочках, в задранных кверху шляпках, марширующие туда-сюда перед кинотеатрами, перед подъездами «Метрополя» и «Националя», по улице Горького, где гуляют английские офицеры в тёмнозелёных шинелях, где шагает бок-о-бок со своим двойником в стекле витрин двухметровый красавец-негр, девушки, скрывавшие и выставлявшие напоказ коленки, круглый зад и маленькие груди, смуглые огненноглазые девушки-попрошайки под цветастыми платками, предлагающие любовь в полутёмных подъездах, на лестничных клетках, на скамейках пустых заброшенных парков, девушки, неожиданно ставшие взрослыми, как никто, чувствующие внезапно наступившее время — их время...

5.

Спящий повернулся на тюфяке. Вышли из клуба мимо дремлющего смоленского швейцара. Мимо тёмного монумента, мимо мёртвых, раскинувших голые ветви деревьев — и незнакомый город под луной, с блестящими обледенелыми тротуарами, с длинными чёрными тенями, с тёмными окнами спящих домов, открыл им свои могильные объятья. Они шли, все трое, уцепившись друг за друга, чтобы не поскользнуться, повернули за угол и остановились перед витриной манекенов: мёртвые люди в фуражках и шинелях отдавали им честь. Они побрели дальше, оба и между ними та, которую звали Наташа, — если это была Наташа, — лунный свет и морозный воздух изменили её черты. Но когда ты снова хотел подхватить её под руку, подруга, та, что шагала с дру-

гой стороны, недовольная, покосилась, у неё было сосредоточенно-ненавидящее лицо, и чёрная коса выбилась из-под пальто. Остановились перед подъездом, она схватила Наташу, втолкнула в тёмный подъезд, ты остался один на скользком тротуаре, дёргал за ручку, дверь не поддавалась, ты искал звонок, вывеску невозможно было прочесть, зато рядом находились ворота, дворник сидел на табуретке. Подворотню освещала тусклая лампа в проволочной сетке. Дворник потребовал пропуск. Расстегнув бушлат, я — или ты — вынул свой пропуск бесконвойного. Сержант молча кивнул и опустил голову, погружаясь в дрёму. Двор был в снегу, по узкой протоптанной дорожке я добрался до двери, в полутьме, крадучись, чтобы их не спугнуть, двинулся вверх по лестнице. Так и есть — они были наверху, на площадке верхнего этажа. «Ты простудишь её!» — сказал я. Ибо знал, что Наташа, если это была она, была хрупкой и болезненной. Она стояла, раскинув руки, у стены, рядом с окном в лунном сиянии, умирая от стыда, с закрытыми глазами, без пальто, с высоко поднятым платьем, так что я видел её белеющий живот и тень внизу, и ноги в чулках с подвязками; и та, другая, что-то делала с нею.

XXXII
Трое. Чёрный ферзь

1955, 1948, 1946

Теперь этот дальний, казавшийся неважным, полузабытый и снова всплывший эпизод требовал прояснения: неизвестно, настигает ли прошлое виновников, но оно всегда настигает жертву. Удивительно, думал писатель, что ты занялся отгадыванием загадки теперь, когда всё уже давно позади; стоит ли её вообще раскапывать?

Тогда, в тюрьме, когда весь день глаз надзирателя приглядывал за тобой сквозь глазок, чтобы ты не спал, не прилёг, а вечером, после отбоя, едва только ты укладывался, как тотчас вставлялся и скрежетал ключ в замке и желудочный шопот поднимал тебя с койки, и сапоги дежурного вели арестанта длинными гулкими коридорами на допрос и приводили назад на рассвете, и в конце концов от бессонных ночей ты едва не слетел с катушек, — тогда ещё можно было догадываться, что к чему. Но, получив своё, ты об этом больше не думал.

И вот опять воскресает эпоха китайских теней, опять за каждым углом тебя подстерегает предательство, встречает, смотрит преданными глазами умной собаки. Да, вот так и приходишь к позднему пониманию — это была сеть, паутина, каждый мог в ней запутаться и увязнуть, в ожидании, когда подползёт некто и воткнёт в тебя своё жало. — То была подлинная начинка времени. — От этих мыслей никуда уже не уйдёшь.

Тебя предупредили, ты попытался скрыться, но не ясно ли, что несчастный свидетель, — с каким сладострастием тебе зачитывали его показания! — не ясно ли, что он был лишь украшеньем. Это следовало из того, что показания были сделаны в последние дни, совсем немного оставалось до той ночи, когда должны были за тобой придти. Старуха в платке была права, та, что предупредила и потонула в этом тумане, где теперь он брёл с протянутыми руками. Кто же она была, эта тётка, искавшая репетитора для мнимого внука и, должно быть, рисковавшая многим? Поразительно, что такие люди всё ещё существовали. Да, она оказалась права, они пришли. Что им сказала мать? Но, кажется, мама

тоже успела уехать. Ах, теперь это не так важно. Партийный активист, инвалид Отечественной войны, бедняга, пойманный на крючок, разумеется, был формальным свидетелем. Зачем-то им нужны эти свидетели.

Следствию всё известно. Органы не ошибаются.

Но тогда зачем вся эта многомесячная канитель, допросы, протоколы. Сцапали — и в лагерь. И не надо содержать всю эту многоголовую сволочь — следователей, начальниуов и начальников над начальниками.

Всё известно — откуда? А вот откуда: во всяком «деле» должен существовать секретный осведомитель.

Мы напоролись на него, шаря в тумане.

Но где доказательства? В обществе, где подозревать можно каждого, нужны доказательства. Между тем они навсегда похоронены в «деле». Не в том деле, которое для виду называлось следственным, а в другом, где подшиты доносы. Их миллионы, этих тайных папок. Никто никогда их не увидит.

И всё же есть, есть, есть доказательство. Писатель сидит в своей комнатке с тёмным окном и щелястым полом, лампа горит на столе, улики налицо. Нужно было только уметь их видеть; вот этого тебе, приятель, как раз и не хватало.

Аглая, достоевское имя. Подруга с чёрной косой... Наташа и Глаша. Что-то тут было неладно. Какой-то дымок повеял. Догадывалась ли об этом сама Наташа? Отвечала ли взаимностью? В конце концов тень однополой любви всегда крадётся за дружбой юных девушек; вопрос, дозревает ли эта привязанность до чего-то определённого или рассеивается, как туман на восходе солнца. Если же ничего такого не было, то и гипотеза доносительства рушится. И всё-таки на допросах, после того как из Тьмутаракани его доставили прямо на Лубянку, в эти изматывающие ночи, когда лейтенант листал дело, — сама его пухлая толщина должна была произвести впечатление, — листал, читал, качал головой, издавал невнятные звуки, что-то подчёркивал, когда, похлопывая ладонью по столу, он называл студентов, — а вот такого знаешь? а эту? — сыпал именами, словно твоё преступление совершалось у всех на глазах, когда, порывшись, добыл фотографию Наташи — девочка ничего... — подмигнул, — небось ухлёстывал за ней, ну и как? *Не дала?* — словом, когда казалось, что, как в игре «холодно — горячо», он вот-вот обожжётся, вот-вот назовёт другое имя, — оно, *это* имя, единственное, как раз и не было упомянуто. И ни разу не всплыло во всё время следствия, словно никакой Глаши в природе не существовало.

Заседание клуба юных поэтов закрылось, оттепель последних дней сменили новые заморозки, обледенелый тротуар блестел в тускло-туманном свете фонарей, ей пришлось уцепиться за подругу, чтобы не поскользнуться, хотя, собственно, это было обязанностью мужчины — поддерживать Наташу. Но кавалер плёлся отдельно, а они шли вдвоём. У соперницы были тёмно-блестящие, тяжёлые волосы под меховым беретом, трагически-тёмный и блестящий взгляд, круглое лицо с румянцем во всю щеку, с чуть пробившимися усиками, навязчиво полная грудь. Обогнули памятник, чью уродливость скрадывала шапка снега, брели вдоль чугунной ограды и дальше, свернув направо, мимо витрины Военторга — фуражки на никелированных подставках, целлулоидные люди в мундирах, мёртвое эхо войны, — и навстречу из мглы ползут заиндевелые троллейбусы на мягких лапах. Девушка прячет руки в пушистую муфту, мелко ступает, щебечет милую ерунду, и та, другая, темноокая, молчаливая, с грудью, которую не скрадывало пальто, крепко держит Наташу, словно боясь упустить, — означало ли это, что она боялась соперника? Припоминаешь сейчас все мелкие происшествия этого вечера, движения, взгляды — с какой гордо-

стью, с каким неприкрытым наслаждением она шагала, прижимая к себе подругу, — и поражаешься собственной слепоте.

Где трое соберутся во имя Моё, там Я среди них.

Я, око госбезопасности.

Подумаем о мотивах. Что вдохновляет потомков Искариота? Комсомольский долг. Карьера. Деньги. Страх. И всё же (думаешь ты) тут было другое, был личный, тайный, горячий мотив; что же именно? Ревность?.. Почему бы и нет? C'est le mot.[1]

Но если эта гипотеза правильна, если *слово найдено*, значит, были основания ревновать? Значит, ей казалось, что Наташа, слабовольная, податливая Наташа, колеблясь между двумя, склонялась к тебе? Было ли это на самом деле? Поди проверь.

Он был зол. На неё, на них обоих, на щебетанье Наташи, что-то стремительно ускользало, близился переулок прощания, и непременно

получится так, что он так и не дождётся, когда уйдёт Аглая, и они всё ещё будут стоять перед подъездом её дома, обсуждать свои бабьи дела, словно забыв о нём; зато всё, о чём ты ораторствовал по дороге, о Зощенко и Ахматовой, об идиотской партии, которая собирается выращивать литературу в цветочных горшках, — все эти давно уплывшие нечистоты времени, — всё, слово в слово, окажется в протоколах, где именно так и будет названо: «издевательские насмешки».

И самое ужасное — не только над докладом секретаря ЦК тов. Жданова, не только! Но и «в адрес одного из руководителей советского государства», таково было кодовое наименование вождя в этих бумагах. Всё это могли услышать только два человека. То, что это могла быть *она*, должна быть только она, темноглазая ведьма, вероятно, приходило в голову уже тогда, весной сорок девятого во Внутренней тюрьме, но о том, *что́* всё это означало и какого рода была эта девичья привязанность, он всё-таки не догадывался.

И как было не подвернуться этой возможности. Сказать себе: ведь это же мой долг. Помочь разоблачить. Всякая попытка поставить под сомнение партийный документ есть вражеский выпод, идеологическая диверсия. Здесь есть своя логика. Он подумал, что так можно дойти до оправдания всего этого абсурда. Но это означает остаться внутри абсурда. Как уютно жить внутри абсурда!

Этот режим отлит из чугуна, он твёрд и неколебим. Но хрупок. Значит, всякий, кто посягает... Всякого, кто посягает. *Не стройте из себя целку*. Не изображайте невинность. Сказано: *там Я среди них*. Я — глаза и уши. Но где же был тот, кому эти уши несли свою дань, где тот, чьё имя, как имя Всевышнего, нельзя называть, чей лик ужасен? О его существовании мы не ведали. А между тем он спокойно сидел за двойной дверью, в правом крыле дома на Моховой, что-то листал, набирал номер-код телефона, скромно-невзрачный, словно инсект, покачиваясь, как в гамаке, посреди своей сети, слабо поблескивающей в оловянном свете луны.

Но Наташа! Ты забыл звук её голоса, теперь снова вспомнил; снова представил себе её хрупкость, её ужимки, нечто кукольно-целлулоидное в её облике; теперь она — словно экспонат среди прочих; её душа тебя нисколько не занимает. Оставаясь вершиной этого треугольника, она вовсе не была главным действующим лицом. Она и не хотела быть главной. Она была в меру капризной, в меру цивилизованной, настолько же умницей, насколько и дурочкой, глупышкой, воспитанной в этой роли и всё ещё не готовой сменить её на другое

[1] Вот отгадка (*фр.*).

амплуа; на улице прятала руки в муфту, прятала носик в пушистый воротник; вовсе не желала учиться и, может быть, держалась на курсе лишь благодаря влиятельным родителям; хотела походить на Ольгу Пушкина, на Наташу Толстого, намекала на дворянское происхождение; гладко причёсывалась, но оставляла завитки волос вокруг лба; носила длинные косы и бант на затылке, должно быть, бант завязывала бабушка; хотела быть как Дина Дарбин, хотела быть «девушкой моей мечты», что ей и удалось, тратила время на пустяки или то, что должно было выглядеть пустяками; вся её жизнь была пустяком, но также и стилизацией под легкомыслие; ибо она никогда не упускала из виду простого и главного — жить в уютных комнатах, вкусно кушать, удачно выскочить замуж. Такой была Наташа.

Она была влюблена — не в тебя, о, нет! — в себя, в собственное тело со всеми его прелестными подробностями, и то, что она попалась в сети иной привязанности, в сущности, не должно было её удивлять, если бы не страх. Она боялась Аглаи, боялась тяжёлого взгляда этих траурных глаз, мерцающего из угла комнаты, как костёр на горизонте, ловила этот безмолвный сигнал, всё ещё принимая его за призыв эгоистичной дружбы; ты заметил этот взгляд, когда единственный раз был у неё в гостях. Дикая застенчивость приковала тебя к дивану, ты попал в другой мир, ты не смел произнести ни слова, да так и просидел, не вставая, весь вечер. Комнату заполнила незнакомая шикарная молодёжь, впрочем, это была не комната, а нечто неправдоподобное, отдельная квартира, пожилая женщина в белом фартучке разносила тарелки, роскошное картофельное пюре с мясом, за роялем сидел студент консерватории, гений с длинными волосами, играл «На тройке» Чайковского. Никто из них не догадывался, что в этой пиесе избражен ухаб, на который взбирается лошадь, затем широкий раскат саней вбок и бег с колокольчиком по зимней дороге, и снова ухаб, и снова бег, — уж колокольчик-то не могли не услышать, — и широкая распевная мелодия, снежная равнина, и далёкая, тонущая в морозном тумане русская тройка. Чтобы представить себе эту картину, нужно было пожить во время войны в эвакуации, за тысячу вёрст от Москвы.

Нет, не Наташа с её слабым, кружащим голову излучением (это головокружение он и принял за любовь) была героиней этого сюжета. Чем больше он размышляет, вновь и вновь расставляет фигуры на шахматной доске, тем яснее становится, кто был главной фигурой. Он встаёт и выходит из дома. Городишко, сто первый километр, спит, в вышине сияет луна. Они выходят. Трое выходят на площадь, начался снегопад. Белые хлопья сыплются вокруг искусственных планет. Та, что идёт справа, крепко держит под руку подругу, ждёт, когда, наконец, распрощается и уйдёт третий лишний. И вот, наконец, свернули с Арбата в Большой Афанасьевский переулок, дом Наташи, остановились перед подъездом, словно для того, чтобы принять решение, и ты принял решение, ты сказал себе, хватит, пора кончать со всей этой тоской и морокой, плюнуть на них обоих; обозлённый, ты чуть было не сказал это вслух. Как вдруг Наташа проворковала, не хочу спать, погуляем ещё немного. Внезапно он понял: это был крик о помощи.

Она боялась Глаши, боялась её чёрного, страстного взгляда, быть может, слегка наигранного; боялась тёмных подъездов, и поцелуев, и дерзких объятий, когда вдруг прижимаются всем телом, грудью, животом, бёдрами. Страх девственницы — это была брешь в крепостной стене, над которой развевался лесбийский флаг. Но вот что удивительно (писатель всё ещё стоит на крыльце): он вдруг понимает, что сам хотел бы обнять — кого же? Наташу? — о нет. Ту, другую, румяную и черноволосую, излучавшую чувственность, словно волны инфракрасного света.

Мы можем прожить много лет, не поняв своего чувства, давно угасшего, до тех пор, пока память, совершив круг, не вернётся к далёким временам, чтобы расставить шахматные фигуры так, как они стояли. Она, она, думал писатель, напоила нас отравой неутолённого вожделения. Любовь была закована в неписанный этикет, в плотный лифчик, в жёткий, как панцырь, пояс с резинками для чулок. Вот кто был средоточием неразрешившегося романа втроём. Арест разрешил его. Вспомнилось, что Аглая носила фамилию матери; до революции это означало бы — внебрачный ребёнок, прочерк в графе «отец». Теперь это означало, что отец «репрессирован». Да, можно прожить много лет, прежде чем станет ясной коренная двусмысленность нашего существования: чёрная девушка была посланницей ада. Таков был метафизический смысл её явления. Земной же был тот, что необходим крючок, чтобы выудить жертву. Пропавший отец, вот кто этот крючок, не так уж трудно догадаться, — отец, о котором старались не вспоминать и о котором напомнили, на который её подцепили. Прижали к стенке и предложили стучать.

XXXIII
Ещё один. Сеть.

Тогда же

Но тут же он подумал, что эта гипотеза — ведь что ни говори, это была всего лишь гипотеза, вдобавок с романтическим привкусом, — что она не всё объясняет. Не все «факты». Как всякий, кто угодил в эту паутину, он сомневался и в фактах; как все, жившие в этом государстве, понимал, что заподозрить стукача можно в каждом. Вся жизнь была зыбкой, неверной, двусмысленной, люди появлялись из тумана, чтобы затем вновь раствориться в густой белёсой мгле. Откуда взялся Серёжа?

И этот тоже как бы перестал существовать после того, как ты провалился в люк и крышка захлопнулась, после того, как ты сам перестал существовать, после того, как круги на воде сомкнулись над твоей головой и ты оказался в подводном царстве, где люди с рыбьими глазами, в жёлтых плавниках погон, бесшумно шныряли по коридорам, и фамилия Серёжи на допросах и в протоколах никогда не упоминалась. Не было никакого Серёжи.

Он подумал, что одно другому не мешает, силовые линии скрестились: Аглая, чёрный ферзь, с одной стороны, а с другой — слон, в шахматном просторечии — офицер. Правда, только один раз, если не изменяет память, он пришёл в университет в военной форме: сапоги, гимнастёрка, ремень с портупеей, погоны с продольной полосой.

Силовые линии скрестились, как два луча прожекторов противовоздушной обороны, — и сочинитель хроники вспомнил, это было за несколько дней перед эвакуацией: крохотный самолёт врага в тёмном небе над Большим Козловским переулком

Сочинитель сказал себе, что, пожалуй, только теперь может оценить должным образом внешность Серёжи. В самом деле, это была какая-то очень характерная внешность, как если бы этих людей специально подбирали: маленькие, словно постоянно прищуренные глаза, правильное розовато-гладкое лицо, лишённое индивидуальных черт, ничего не выражающее, даже когда он рассказывал анекдоты, острил, цитировал Ильфа и Петрова. Эта стёртость и

была его особым выражением. Это был *стиль*. Надо было уметь читать эти лица, думал писатель. Но не потому ли он вспоминает теперь выразительно-невыразительную физиономию друга, что, сам того не замечая, копит улики.

Обыкновенно Серёжа приходил в университет в новеньком, с иголочки, костюме, должно быть, пошитом по заказу; длинный по моде пиджак, галстук, отутюженные брюки — всё прекрасно сидело на нём; и это в нищие послевоенные годы; не иначе как сын высокопоставленных родителей. Он был студентом таинственного военного института иностранных языков, учил английский, никто толком не знал, что это был за институт, и даже не приходило в голову спросить, кого он, собственно, готовит. И сейчас писателю казалось, что, подружившись с ним, Серёжа проходил, так сказать, производственную практику.

И тот тайный, кто сидел за двойной дверью в конце коридора, в административном крыле, и кто-то там в институте военных языков, и мальчик в новеньком, с иголочки костюме, сын важных родителей, — были *коллеги*, вот в чём дело.

Откуда он всплыл? Знакомство произошло всё в той же поэтической студии. Был ещё один парень, некий Миша Китайгородский: в детстве жили с Серёжей в Кривоколенном переулке, на одной лестничной площадке, и в школе сидели на одной парте. После войны Серёжа с родителями переселился на улицу Чехова, и дом был особый, посторонних туда не пускали, и к Серёже нельзя было больше ходить в гости. Руководитель клуба молодых стихотворцев похвалил Мишу. Вместе с Мишей на заседания клуба приходил закадычный друг. Потом этот Миша куда-то пропал, больше не появлялся, зато Серёжа, хоть и не писал стихов, стал завсегдатаем клуба, и как-то так получилось, что вы сблизились.

О том, что Миша был арестован за «разговорчики», услыхали каким-то образом, прошёл шопоток, слушок; Серёжа об этом знал, но помалкивал, как и вообще полагалось молчать в таких случаях; память об исчезнувшем сблизила вас. Всё как-то выстраивается, думал писатель, шахматная партия разыгрывается сама собой по собственным правилам. Не было бы этого Миши, не было бы и Серёжи. Миша исчез, а Серёжа был его другом. Серёжа остался, потому что исчез Миша. Серёжа приходил на факультет, на третий этаж, туда, где окна выходят на площадь и крепость с зубчатой стеной, допоздна бродили по городу, входили в Филипповский ресторан на улице Горького. Серёжа говорил, что продал словарь Вебстера, и был при деньгах. Это были головокружительные вечера. Снаружи в окнах, задёрнутых тюлевыми занавесками, горели красные неоновые вывеска, в вестибюле встречал швейцар в серебряных галунах, волны тепла, роскошного уюта окатывали, окутывали входящих, в тусклом тумане, в волшебное сиянии люстр, среди говора, женского смеха, неслышного бега официантов усаживались столик с крахмальной скатертью, подходил надменный метрдотель, подавальщица в наколке, в кружевном передничке приносила розовый графинчик, холодную телятину, заливное из судака а-ля... теперь уже не вспомнишь, как это называлось, не сказать, чтобы очень уж аппетитное, но ужасно аристократическое. Серёжа щурился, смотрел на бёдра официантки, на эстраде бренчал и ухал оркестр, и конферансье, похожий на дворецкого в американском фильме «Сестра его дворецкого», похожий на графа Данило из оперетты «Весёлая вдова», — *па-айду к Максиму я, там ждут меня друзья!* — похожий на Эдвина из оперетты «Сильва», — *помнишь ли ты, как мы с тобою встречались*, — шикарный конферансье объявлял жирным переливчатым баритоном:

«Дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях...»

И называл какое-то имя, очевидно, знаменитое, простирал ладонь в угол, где сидел с каменным лицом этот знаменитый, а напротив него, с серебристой лисой на спинке стула, вся в кудряшках белокурая красавица, точь-в-точь как Людмила Целиковская. И вообще здесь все были похожи на кого-то. Оркестр грянул заказанное, истинно-русское, любимое, от которого хотелось вскочить и пройтись гоголем. На эстраде, рядом со спиной и фалдами дирижёра уже стоял наготове дородный певец со сверкающей лысиной, в крахмальной манишке с бабочкой, именуемой «собачья радость». И —

Вдоль по Пите-ерской. По Тверской-Ямской, да эх, ы!

Серёжа разливал водку. Люстра вращалась, переливаясь огнями. Начиналась увлекательная беседа, писатель спешил поделиться своим открытием. Серёжа кивал, говорил, что и он догадался. Открытие состояло в том, что мы живём в царстве обмана и лжи. Самая счастливая в мире страна на самом деле самая обездоленная, величайший стратег и полководец никакой не полководец, а деспот и трус, который прячется в Кремле, в нашей стране фашизм, что и подтверждается сходством с немцами: у них фюрер, у нас вождь, у них партия, и у нас партия-наш-рулевой. И всё такое прочее.

XXXIV
Утренние утехи. Ничтожество, или частное лицо

10 октября 1956

Тёмным утром, когда казалось, что день так и не наступит, когда тусклые огни отражались в лужах и угрюмые пешеходы сталкивались зонтами, человеческая каша съезжала по эскалаторам, вдавливалась в вагоны и колыхалась в подземных туннелях навстречу летучим огням, — утром в понедельник, в комнате-келье баронессы Тарнкаппе нагая девушка тщетно старается выбраться из стеклянной неволи, тусклой белизной отсвечивает исполосованное временем зеркало, и стена над диваном увешана фотографиями баснословной эпохи. Veuillez avoir l'obligeance... Мальчик ёрзает на диване.

Тёмным осенним утром, в свинцовых лучах Сатурна, когда кажется, что день никогда не наступит, в доме на углу Большого Козловского переулка, в комнатке покойной Анны Яковлевны висит на стуле, валяется на полу рубаха мужчины, бюстгальтер и кружевные трусики женщины; двое дремлют после предутренних объятий, он, повернувшись к стене, она с приоткрытым ртом, в путанице волос на подушке, над краем раскладного дивана.

Он проснулся окончательно, теперь и он лежит на спине. Счастливый любовник стряхнул с себя лохмотья сна. Женщина по-прежнему посапывает. Скосив глаза, он видит её плечо и левую грудь, слегка соскользнувшую вниз. Что сулит этот день? Или чем он грозит. Оставаться по-прежнему в подвешенном состоянии, приезжать, возвращаться и снова приезжать в квартиру, где новые жильцы вот-вот должны вселиться в бывшую комнату родителей. Ночевать у Вали в ожидании, когда донесут соседи, нагрянут мусорá, — или всё-таки зацепиться, получить какой-никакой штамп в паспорте. Проклятье труда, о, проклятье труда, — кто из нас не давал себе клятву никогда не работать, «если выйду когда-нибудь на волю», кто не твердил себе: нет уж, буду лапу сосать, с голоду подыхать, но работать ни-ни, и никто меня не заставит. Увы, проклятье

тащилось за ним, как тень. Получить прописку можно, если числишься на работе, а поступить на работу, если прописан.

Прописан-то он прописан, но где?

«Дай взгляну ещё раз».

Она натянула повыше одеяло. Писатель перевалился через Валентину, зашлёпал в угол, вернулся с предательской книжечкой в сером дермантине. Сумерки одели в серое его тело, он был худ, широкоплеч, с впалым животом, чёрные волосы, начинаясь от пупка, осеняли его пол. Женщина смотрит на тебя. Точнее, смотрит на *него*.

«Слушай-ка... Ты что, еврей?»

«Мусульманин».

«Нет, серьёзно».

«Словно первый раз видишь».

«Хотела спросить».

Он пожимает плечами. «С этой точки зрения, еврей».

«А я и не знала».

«Мой отец был половинкой. Вероятно, бабушка».

«Что бабушка?»

«Настояла на том, чтобы...»

«Говорят, евреи...»

«М-м?»

«Говорят, женщинам нравится».

«Что нравится?»

«Ну, когда член голый».

«Тебе тоже?»

«Может, и нравится».

Ого! он растёт. Божественный гриб растёт. Мужчина нависает, разбросанные ноги, как щупальцы, обхватывают его ягодицы. Тяжело дыша, любовники перекатываются на ложе, и, оказавшись наверху, женщина превращает победу мужчины в свой триумф, в свою победу.

Они лёжат рядом. Серый день возвращается в комнату. Серая книжечка валяется на полу.

Две вещи определяют место человека на земле: паспорт и детородный член. Две инстанции решают твою судьбу — чиновник и женщина.

Признаться ли себе в том, что только *это* у него и есть?

Валентина шарит голой рукой, нащупывает книжечку.

В чём дело, паспорт как паспорт.

Не совсем. Федот, да не тот.

«Вот», — сказал он.

Загадочная графа «На основании каких документов выдан...»

На основании справки №... и Положения о...

«Ну и что?»

«А то, что в твоём паспорте, например, такой пометки нет. Она означает: вышел из заключения. Я ходил к юристу. Хотел узнать, что это за Положение».

«И что он сказал?»

«Ничего. Это такая контора адвокатов на пенсии. Старые волки. Работают на общественных началах, можно получить консультацию бесплатно. Они там все сидят в одной комнате. Я говорю: вот я вернулся, хочу узнать, что мне положено, что не положено. Он посмотрел на меня и сказал: пойдёмте, я вас про-

вожу. Вышли в коридор, он говорит: я не могу ответить на ваш вопрос. Не все законы подлежат разглашению. Это Положение секретное».

«Правильно, — сказала Валентина. — Если каждый будет знать... Нам пора, давай одеваться. Слава Богу, что хоть...».

«Что — слава Богу?»

«Что хоть национальность — русский».

Тени жильцов уже копошатся на кухне. Чайник вскипел. Она вернулась и рассказывает:.

«Ведьма эта, плоскодонка. Тощая, как щепка. Кто это у вас там ночует, посторонних к себе пускаете, вот придут проверять... Я говорю, а твоё какое собачье дело».

«Но они в самом деле могут проверить. Может, она уже написала».

«Пускай пишет. Начальник меня знает».

Начальник милиции её знает, и тот, к кому они собрались, её тоже знает; так-то оно так, а всё же. Отовсюду внимательные глаза следят за тобой. В толпе равнодушных граждан ты словно инвалид на тележке с колёсиками. Вон там впереди маячит синяя фуражка, ждёт, когда ты подъедешь.

Не попадайся на глаза начальству. Одиннадцатая заповедь, которую русский народ прибавил к Декалогу Моисея. Звенят подковки сапог. Мильтон марширует навстречу. Переберись на другую сторону улицы. Нырни в переулок. Исчезни, испарись. Поздно, он догоняет тебя. Внезапно задребезжал звонок в коридоре: они стоят на лестнице. Звонок! Ты что, не слышишь? Они пришли за мной.

«Да нет там никого...»

Она одевается. Наклонившись, так что её круглые плоды нависают во всей красе, продевает в шёлковые трусы одну полную ногу за другой, хозяйственно заправляет груди в бюстгальтер.

«А я говорю: звонят».

«Ну, звонят, кто-нибудь откроет».

«Говорю тебе, один звонок, это к нам».

Спрятаться в сортире? Соседи шастают в коридоре. Где такой-то? Вон там — пальцем на дверь уборной.

Вздохнув, она накинула на себя что-то, вышла в коридор и вернулась.

Она лично руководит его экипировкой. Скромно, но прилично. Ни в коем случае не бросаться в глаза, но так, чтобы люди видели, что порядочный человек. Хорошо бы ещё что-нибудь нацепить. Что-нибудь патриотическое. Роется в деревянном блюде с брошками, клипсами, бусами. Вот это будет в самый раз. Алый эмалевый значок «40 лет ВЛКСМ» красуется у писателя на лацкане пиджака.

«Теперь уже поздно».

«Что поздно?»

«Поздно вступать».

Он думает, что этот значок носят только старые комсомольцы. Он никогда не состоял в комсомоле.

«Почему?»

Он пожимает плечами. Так получилось. В эвакуации никакой комсомольской организации не было, и вообще обо всём этом забыли во время войны. В университете вступать было неудобно — когда все давно уже комсомольцы. Да и зачем?

«Призрачная организация», — сказал он.

«Ты так думаешь? — Она усмехнулась. — А вот сейчас увидишь».

Что-то похожее на солнце проглядывает в прорехах серовато-молочных облаков, добрались до бывшей Волоколамской заставы, оттуда троллейбусом, и вон оно, видное издалека, бетонно-стеклянное, с уходящими ввысь рядами окон, с огромными буквами над крышей во всю длину фасада. Вслед за спутницей писатель вступил в просторный вестибюль.

Что-то есть в его внешности, неуверенной походке, притягивающее бдительный взгляд грозного швейцара с лицом мопса. Мимо, мимо... Презрительные девицы с наклеенными ресницами в низких креслах за столиками чёрного стекла, папироса между двумя пальцами, высоко закинутые ноги, коленки в апельсиновых чулках. То ли кого-то поджидают, то ли так положено — чтобы в креслах полулежали модные красотки. Племянница — но теперь она уже не была племянница, она превратилась в таинственную незнакомку, в столичную штучку, в девушку из высших сфер, — племянница в светлом габардиновом плаще с пояском, подчёркнувшем бёдра и грудь, в шёлковом платочке вокруг шеи, на цокающих каблучках, показав мимоходом красную служебную книжечку отеля «Комсомольская юность», втолкнула писателя в лифт, и оба отразились в зеркалах, бесшумно, тайно поплыли наверх, бесшумно остановились. Светлый коридор, ковровая дорожка и ряды дверей с узорными бляхами.

Костяшкой пальчика с полированным коготком: тук-тук.

Ещё раз — тук-тук.

«Алексей Фомич, а мы к вам!»

Каблучками в трёхкомнатные хоромы: цок-цок.

Алексей Фомич кажет розовое молодёжное лицо. Он только что принял душ, мокрые волосы, пёстрая шёлковая пижама, щёгольская сорочка лимонного цвета, просторные пижамные штаны и меховые шлёпанцы.

«А-а, Валенька... заходи, заходи».

И, должно быть, думает писатель, могучий, как у коня, полновесный орган между крепкими волосатыми ногами.

Однако... какие у неё знакомства.

Она выпархивает из ванной с пушистым полотенцем на вытянутых руках — Валентина здесь как дома. Алексей Фомич вытирает крепкий затылок.

«А это, Алексей Фомич, я вам говорила...»

«Прости, Валюша, запамятовал».

«Я вам говорила... насчёт...»

«А! этот. Как же, вспоминаю».

«На вас вся надежда...»

«Чайку? Кофейку? У меня полчаса времени... давай по-быстрому».

«Всё-то вы заняты, нельзя так много работать...»

Дверь неслышно отворилась, въехал столик. Мальчик в курточке и картонной каскетке, тщательно причёсанный, скромно-смазливый, проворно расставляет рюмки, чашки, тарелочки с закусками, ловко орудует штопором. Уселись; так в чём дело-то.

«Я вам уже говорила...»

Она вздыхает. Есть от чего вздохнуть.

«У него...»

«Короче. Когда освободился?»

«Алексей Фомич, за вас».

Пригубить рюмочку. Заодно налили и просителю.

«Время, время! У меня совещание в президиуме».

«Чтобы вы были по-прежнему молодым, красивым...»

«У тебя что, отгул?»

«Я сегодня в ночную смену...»

«Угу. Статья? Тири-рири-ри... — Он напевает, оглядывает трапезу. — Небось, пятьдесят восьмая?»

Масло туда-сюда, словно точит нож о булочку. Вилкой листок голландского сыра — шлёп. Сверху ломоть отменной докторской колбасы.

«Алексей Фомич, мальчишкой был. Сболтнул что-то там».

«Тири-ри. — Искоса, писателю: — Небось, прокламации писал! В организации состоял! Чего молчишь-то, язык проглотил?»

«Нет», — сказал писатель.

«Боишься сказать, что ли?»

«Ничего не писал и нигде не состоял».

«Все вы так. Каждый из себя невинную жертву корчит. Ладно, кто старое помянет... Поучили тебя маленько, тоже полезно. Ты теперь свободный полноправный гражданин».

«Да ведь в том-то всё и дело, Алексей Фомич, полноправный-то он полноправный...»

«Знаю, знаю... Ничего коньячок, а? Ладно, всё понял. Обещать не обещаю. Посмотрим... Попробуем. Паспорт у тебя с собой?»

Оба возвращались в квартиру возле Красных ворот. А ты, спросил он.

«Что я?»

«Какая у тебя должность?»

«Много будешь знать. Какая должность... Горничная. Обыкновенная горничная».

«Это я понял, — сказал писатель. — Только ведь туда, я думаю, просто так не попадёшь».

«Правильно думаешь».

«Как же ты...»

«Как попала? Вот так и попала: по знакомству; а ты как думал? Без блата теперь ни шагу. Само собой, проверка документов, врачебная комиссия, куча всяких справок. Одна анкета — десять страниц. Ну, и конкурс, конечно. Никогда не думала, что пройду. Сто баб на одно место, ужас».

XXXV
Интермедия: личная жизнь Валентины

Октябрь или ноябрь

В полдень века золотушное солнце слабо отсвечивает в окнах верхних этажей. Войдём в подворотню. Здесь всё то же. Разве только исчезли пожарные лестницы, никто больше не лезет на крышу, не носится по двору, не играет в «классики», в «колдунчики», в «двенадцать палочек». Двор пуст. Мальчики тридцатых годов лежат в полях под Москвой, в калмыцких степях, в прусских

болотах. Тебе, парень, повезло: твоя очередь приблизилась, когда наступил мир, твоё место на кладбищах войны пустует.

Писатель спрашивает себя, что осталось от девушки в бокале. Наши детские увлечения, детская очарованность, детская любовь — если это была любовь — не только запоминаются на всю жизнь, но проицируются на других женщин, участвуют, сознаём мы это или нет, в том особом виде творчества, которое называется любовью. В первые минуты, в то утро, когда он явился с вокзала, ему показалось, что она всё та же. Это была иллюзия. Девушка-русалка давно уже выбралась из своей стихии, превратилась в обычную женщину. Вопрос, который он задал, был, собственно, вопрос, любит ли он её по-прежнему; вопрос, который и сама она задавала себе в иные минуты, когда, пресыщенные друг другом, они погружались в отчуждённое молчание, когда мало-помалу перед ней открылась истина о нём, перед ним — истина о ней. Человек, который приезжал к Валентине, чтобы остаться на ночь, которого она понемногу поддерживала, подкармливала, который почти уже перебрался к ней, — молчал, когда нужно было что-то сказать, ни слова о чувствах, ни единого словечка благодарности; человек с выжженными проплешинами в душе наподобие полей чёрного праха и обгорелых пней, которые оставляют за собой лагерные бригады, вгрызаясь в тайгу. А женщина, с которой связали его одиночество и чувственность, — кем была она, кем стала за эти годы?

При входе во двор налево, в первом этаже находится широкое трёхстворчатое окно, в детстве именовавшееся венецианским, — может быть, потому, что никто не бывал в Венеции, и никогда не будет, — досюда никогда не доходит солнце: комната Анны Яковлевны. Окно задёрнуто занавеской.

Она стоит перед зеркалом: дуэль глаз, клоунада лениво-бесстыдных телодвижений. Из опрокинутой комнаты на Валю взирает призрак полунагой женщины, чья молодость всё ещё продолжается, да, да, всем назло продолжается и притягивает взгляды. Рассматриванье себя, а точнее сказать, пожирание себя в волшебном стекле — ни с чем не сравнимое переживание; всякий раз открываешь себя заново. У неё свободных полдня, она только что поднялась. В копне нечёсаных волос, оторвавшись от своего отражения, она присела на корточки перед комодом; её колени блестят, сорочка сползла с плеча. Незачем тащиться на кухню, для этих вещей имеется спиртовка. Она поставила её на пол. Отупелая, без мыслей, она сидит на своём ложе.

Ей показалось, мелькнула тень за окном, вскочив, она заглядывает за край гардины, видит угол двора и освещённый солнцем вверху брандмауэр. Еле слышно клокочет вода в стерилизаторе. Умелые пальцы надпиливают крошечной пилкой горлышко ампулы, щелчок — сосок отлетает, волшебный сок насасывается в стеклянный цилиндр. Теперь стянуть жгутом левую руку повыше локтя, короткий, нежный прокол, струйка крови вползает в «баян», зубами ослабить жгут, поршень вперёд. Ласковая смерть вливается в меня.

Отбросив одеяло — жарко, — я лежу на спине, жду, сейчас «двинусь»... Ничто так точно не передаёт наши ощущения, как этот язык, этот нежный, бесстыдный код посвящённых, нас много, мы узнаём друг друга по этим словечкам. Вот оно! Уже забирает. Уже возвестило о себе серебряными звоночками, мимолётным головокружением, покалыванием в пальцах, в паху, в затылке. Время растягивается, утро далеко позади, и ясно до слёз, до последних уголков памяти, что прежняя жизнь была жалкой, скудной, никчёмной — какое-то полусуществование, и только *это* расправляет скомканную душу, открывает глаза, поднимает на крыльях. Только это делает тебя человеком, и не просто человеком, — женщиной. И я смеюсь от счастья, и медленно, величаво красавица поднимает ресницы. Комната, как была, так и осталась, но всё кругом

наполнилось смыслом и ожиданием. Взглянула на часы — всё ещё длится полдень. У неё бездна свободного времени.

Она снова стоит перед зеркалом — там усмехаются, подмигивают, срам какой, надо же, наконец, причесаться. Бросив на столик щётку с клочками волос, она принимается за лицо, протирает пахучим лосьоном лоб, подбородок, проводит ваткой под глазами, где карандаш? — поправляет дуги бровей. Для кого она украшает себя? Господи, да ни для кого. Она почти упирается носом в стекло, колдует с тушью для ресниц, перебирает металлические, деревянные, пластмассовые патроны с помадой, тронула губы пламенно-оранжевым — стёрла, — тёмным, пурпурным, как кровь, — снова стёрла, провела губным блеском. Она полна любви к себе.

И оживает стекло, разгорается тусклым серебряным пламенем, медленно отступает та, другая, окружённая сиянием, кивает, зовёт, улыбается уголками бледно-блестящих губ. Происходит то, что всегда происходит: она понимает, что это — игра, но грань игры и действительности исчезла; если она играет сама с собой, то и та, в хрустальном стекле, играет с нею. Покачать головой, погрозить ей пальцем. Сбросить всё с себя, как те нежные и наглые, в маленьком смотровом зале, где показывают трофейные фильмы, что ж, и нам есть что показать.

Она осталась в лакированных туфельках на высоких каблуках, выгода которых очевидна: женщина становится гибче, стройней, зад и бёдра круглей и выше, взгляд обтекает их. С лицом покончено, с ним уже достаточно повозились, напоследок острый взгляд в расширенные наркотиком зрачки, но долго его не выдержишь.

Она поворачивается так и сяк, разглядывает себя сбоку, от затылка к изгибу поясницы и полукруглой линии в меру пышных ягодиц, от лебединой шеи к соскам невысоких грудей, вдоль опущенных мраморных рук к ладоням, к узким алым ногтям в углублениях длинных пальцев с простеньким бирюзовым колечком, приносящим счастье, с платиновым перстнем, наделённым мрачной магической силой, — подарок могущественного Алексея Фомича. Глубоко, страстно дышит её отражение, любуясь собой, она поднимает руки, её ладони открыты, она покачивается, как в танце, балансирует, словно идёт по канату в лиловом сиянии юпитеров, и та, вторая, в зеркале, жадно следит: дойдёт или не дойдёт? Канат качается под ней, она переставляет узкие стопы, трутся друг о друга внутренние поверхности бёдер, и сладостное, всякий раз новое ощущение заливает плясунью, заливает тёмный дышащий зал. Вдруг шорох, скрип! — этого ещё не хватало, — она спрыгивает с каната, бросается к дверям. Дверь приоткрыта. То ли сама собой отворилась, то ли кто-то прячется в коридоре. Кто-то подглядывает за ней. Это бывает. Ей говорили, всё зависит от дозы, но надо убедиться. Подхватив что-то, прикрыв грудь, она высовывается, стоит сундук, горит чахлая лампочка, двери жильцов закрыты. Она оборачивается и видит свою союзницу и соперницу в чёрно-серебряном стекле. Одеяло сползло. Валентина лежит на диване, на смятой простыне, слёзы текут по щекам, она оплакивает свою долю, уходящую молодость, и не знает, был ли кто-нибудь в коридоре, отомкнул ли кто её дверь, запертую на ключ, или всё это бред, яд, лишнее деление на стеклянном цилиндре шприца. Сколько-то времени проходит. Ей пора на дежурство в отель.

XXXVI
Уступка философствованью, которое никуда не ведёт

Полдень 21 февраля 1957

Подведём итоги, сказал он. Феерическая поездка с Анной Яковлевной в Колонный зал окончилась ничем. Вечный двигатель так и не был изобретён. Девушка навек осталась в бокале. Война, конец детства. Университет... Время поэтических проб, воздыханий, ожиданий, и снова жизнь насмеялась над тобой. Памятный разговор в Круглой аудитории, бегство из Москвы и конец юности. Где во всём этом смысл, где связь вещей? Подведем итоги; литература — это итог.

Любовь к пустенькой Наташе ушла в песок. — Слишком поздно, приятель, мы догадались, что одними чувствами не отделаешься. — Сны объяснили, в чём дело, с грубой наглядностью. — Было, может быть, что-то трогательное, что-то подлинное в этом танце влюблённости. Но она и была создана для влюблённости, больше ни для чего. Представить себе, чтобы при каком-нибудь необыкновенном стечении обстоятельств, она «отдалась», так же невозможно, как невозможно предположить, чтобы он нашёл в себе нужную решимость. — Самое слово «половой акт» резало слух. — Но если бы это случилось, если то, что демонстрировал театр сновидений, однажды осуществилось бы наяву, что было бы? Любовь, прошу прощения, вытекла бы вместе с семенем. — И, однако, парадокс в том, что, называя вещи «своими именами», мы избираем самый лёгкий путь, мы не постигаем истину — мы проскакиваем сквозь неё, как пуля сквозь яблочко мишени.

Сопя, кашляя, сочинитель сидит в своей комнатёнке за дощатым столом. Да, сочинитель, бумагомаратель, графоман: пусть лучше так, чем называться «писателем», надутое, фальшивое, лживое слово. Пузо вперёд, в зубах декоративная трубка. *Пи-ссатель сраный.* Слышите ли вы это змеиное «с-с»? Похоже, мы дожили до той поры, когда выражение *советский писатель* стало эвфемизмом проституции. Итак, на чём мы остановились... Вжиться в минувшее. Восстановить настроение тех лет. Сделать прошлое настоящим. Сочинитель не читал Августина. Но он постиг: литература — это вчерашняя вечность. Не назвать ли так всё сочинение? Итак, вернёмся к тем временам, revenons à nos moutons,[1] словечко Анны Яковлевны. Её уже не было в живых...

21 февраля, продолжение

Он помнил, как он кипел ненавистью к вертлявым, неуловимым существам: за их лицемерие, за их уклончивость, за то, что невозможно было понять, где кончается искренность и начинается театр, где граница между невинностью и притворством, и не есть ли это одно и то же; он ненавидел их за то, что они притворялись, будто ни о чём таком не подозревают, и притворялись, что притворяются, — на самом же деле были циничны, расчётливы, знали всё наизусть. О, эта желторотость. Ведь ему даже в голову не приходило, что женщина, будь ей восемнадцать лет или все сорок (что, по тогдашним твоим понятиями, было бы безнадёжной старостью) вовсе не видит оскорбления в том, что её «желают», напротив, обидно и оскорбительно почувствовать, что с тобой не желают больше возиться. Не приходила в голову та простая истина, что обожание может льстить, забавлять, но в конце концов надоест.

В каждой ужимке и в каждом движении тела скрывалась двусмысленность, отворачиваясь, тебе на самом деле подставляли себя, и наоборот, «нет» означало «да», «да» значило «нет». Была ли в этом какая-то логика, были ли они по-своему правы? Они словно заранее знали, что стоит переступить границу, стоит только «дать», — да, именно так, цинически, они выражались, эти якобы наивные существа, и не только мысленно — наверняка пользовались этим словечком в разговорах между собой, — стоит однажды уступить, и любовь захлебнётся в своём утолении. Кто же не знает, что образ невинной девочки есть изобретение мужчины. Драгоценнейшее, может быть, изобретение, но — артефакт! И все же предположение, будто вся эта тактика подчинена расчёту, остаётся всего лишь предположением.

Укоряя других в цинизме, сам становишься циником.

Правда двулика.

Вжиться в ту далёкую жизнь.

Человек с повреждённым паспортом поднимает голову. Ему показалось, что кто-то скребётся в дверь. Оставьте меня в покое! Писатель был явно не в духе — оттого ли, что не мог собраться с мыслями, в буквальном смысле собрать их, как подбирают бусы, раскатившиеся на полу, или не мог сосредоточиться оттого, что находился не в духе, а на дворе — гнилая бессолнечная весна.

Смысл в том, чтобы отыскать смысл. Собрать и нанизать эти бусы на нитку. Он озирает свои бумаги, и тут ему начинает казаться, что на первый случай, по крайней мере, существует ответ. Он ещё не совсем постиг, каков он, этот ответ, но как-то отлегло от сердца, пала активность желёз, вырабатывающих плохое настроение. Рахитичный луч упал из окошка на пол, протянулся до стола, проглянуло солнце.

Ближе к вечеру

Ему приходит в голову забавная мысль. Он думает, что эта потребность нащупать стержень, преодолеть удручающий хаос жизни, убедить себя в том, что *всё недаром* и за кажущейся бессмысленностью существования прячется некий умысел, — и не скрывается ли в этой жажде обрести единство, уловить тайный смысл, не скрывается ли некий наследственный недуг: так заявляет о себе капля еврейской ветхозаветной крови, быть может, ещё сохранившаяся в нём. Он усмехнулся. Микрокосм его жизни вдруг предстал ему как отражение макрокосма страны. Может быть, в этом-то и весь смысл? Или, по крайней мере, оправдание его жизни. Типично иудейская идея.

Страна Россия, думал он, что за страна! Полная чаша. Всего в избытке. Но никому не дано насладиться красотой её природы, величием рек, изумительной архитектурой городов, широтой, простором, волей. Всё тонет в хаосе. Ничего не удаётся. История оборачивается кровавым абсурдом. Вот откуда эта мечта выломаться из истории. На минуту ему показалось, что душа страны, осознающая себя — где? в чём? — разумеется, в литературе, — что это его собственная душа.

Её вечное «не то» — это твоё собственное «не то».

Да, ты мог упрекать себя, что у тебя нет характера, нет воли, ты ничего не в силах добиться; все надежды, все начинания пошли прахом; ты был прав: из тебя ничего не получилось. Это оттого, что ты живёшь, чтобы стать литературой. Ты тот самый, сраный писатель. Как только я принимаюсь о чём-то рассказывать, происходит литература. И я успокаиваюсь. Испарения гнусного века

для меня не опасны, я вооружён противогазом. Я неуязвим: меня нет. И не стучитесь ко мне.

Ему становится почти весело.

Напиши-ка о том, как некто собирается рассказать о своём времени, но время ненавидит таких, как он, ибо ненавидит всякую независимость, всякую самодостаточность, хотя бы она была всего лишь упорством, с которым ты отстаиваешь своё существование. Напиши роман о сером, неинтересном человеке без имени, без профессии, без семьи, без пристанища, о том, чьё имя — *Некто*. Только так ведь, не правда ли, можно себя назвать. Только такой персонаж может стать героем нашего времени. Напиши о человеке, чья бесцветность оправдана тем, что ему выпало стать свидетелем эпохи, враждебной всякому своеобразию, и если, наконец, он взялся за перо, он остаётся каким он себя ощущает: песчинкой в песочных часах истории. Нет, мы не призваны на пир всеблагих, мы не зрители высоких зрелищ, куда там — вихрь увлёк тебя за собой, скажи спасибо судьбе, славь злодейское государство за то, что ты уцелел.

Он хватается за вставочку, школьное перо: быть может, эти заметки «по поводу» столкнут с места его работу. Нужно отдать себе внятный отчёт, в чём состоит задание. Написать о том, что роман не даётся? Не означает ли это, что в дальней перспективе времени, в пропасти зеркал твои персонажи всё-таки живы и машут руками — то ли прощаются, то ли зовут к себе?

Вот почему, между прочим, — «фрагменты». Потому что эта эпоха похожа на отбивную — кусок мяса, по которому так долго колотили молотком, что он превратился в дырявый лоскут. И роман о ней может быть только обрывками. Связное повествование — это, господа, былая роскошь, достоянье других времён, когда герой романа был субъектом истории. Сейчас он только объект.

О чём и «повествует».

Но тут опять. Едва лишь нам удалось нанизать бусы, как нитка выскальзывает из пальцев, жемчужные шарики рассыпаются. Кому это — *нам*? Кто говорит? Стать рассказчиком или остаться безличной точкой зрения, ничьим взглядом? Revenons au commencement.[1] Где-то в Старой Москве обитает старая дама из «бывших». На дворе тридцатые годы, глухое безмузыкальное время. Нужно, чтобы оно зазвучало; так перекладывают на музыку скучный, бездарный текст. Так расчёрчивают нотный стан, но где же мелодия? Нужна тема. Что-то должно происходить. Старухе необходим собеседник, лучше всего ребёнок, он-то и представляет собой, в первом приближении, повествующую инстанцию. Мы пришли к необходимости персонального рассказчика. Двигаться дальше по проторённому пути, превратить повествователя в персонаж? Твоё «я» существует в двух лицах. Ты говоришь с самим собой, но это значит, что ты преобразуешь себя в Другого. Марсель — это Другой, не Пруст. Роман растёт и мужает в воспоминаниях, воспоминание же оказывается, как в ловушке, внутри чего-то большего — внутри романа. Это роман распоряжается и тобой, и твоим двойником. Роман — это и есть то, что некогда называлось *сверх-Я*. Роман — всесильный наркотик, «бан», чудодей.

Важно не то, что он способен удвоить существование, открыть для тебя твоё другое Я, о коем доселе ты не подозревал, — важно, что он убеждает тебя в том, что Другой существует на самом деле. Считается, что триггер отпирает запертые камеры сознания. Открывает ли он новые пласты действительности?

Слоистость твоего «я» есть не что иное, как слоистость действительности.

[1] Вернёмся к началу (*фр.*).

Ночь на 22 февраля

Здесь, как и всюду, проставлена дата. Заметьте, однако, что вмешательство хронологии насилует подлинную жизнь. Коварство так называемого исторического мышления, силки, которые расставляет нам линейная повествовательность. Было то-то, потом случилось то-то, и получилось то-то. И выходит какое-то подобие осмысленности. На самом деле мы не живём в хронологически упорядоченном времени, хоть и стыдимся в этом признаться. Долой хронологию!

Прошлое — как повороты детского калейдоскопа; вопрос в том, кто перебрасывает эти цветные стёклышки, из которых при каждом повороте складывается новый узор, кто же это великое и безрассудное Дитя, которое крутит трубку калейдоскопа.

Но не значит ли это (спросил он себя), что мы тянемся к литературе как области, где прошлое не противостоит настоящему, где время воспоминаний неприметно переходит в сновидческое время, le temps onirique, столь же легитимное, как и всякое другое, и в котором, как матрёшка в матрёшке, в свою очередь содержалось другое сновидение; и не в этом ли преодолении линейного времени новое и высшее оправдание литературы? Задав себе этот головоломный вопрос, сложив руки на столе, сочинитель опустил на них тяжёлую голову.

Он спал несколько минут.

Сон, нечто всплывшее из колышащейся бездонной массы бессловесного, промытое в чистых струях сознания, чтобы превратиться в послание, в притчу, — сон застал его не на соломенном ложе, но где-то на дальней линии метрополитена, был поздний час, поезд всё ещё стоял на станции, ты вошёл в пустой освещённый вагон. Тотчас в твоём мозгу ожило другое видение: ты брёл вдоль отсыревших стен туннеля, цеплялся за кабельную проводку, ты был там, среди врагов, и вместе с ними спасал свою шкуру, тускло поблескивали рельсы, что-то выступило из мрака, лобовое стекло, мертвые чаши фар. Машинист спал перед пультом управления, уронив голову, это был поезд мертвецов. А снаружи грохотала артиллерия, рушились остатки погибающего города.

Но вот прозвучал голос, предупреждавший об отправлении, в эту минут на перрон вбежал запоздалый пассажир, бросился к вагону, двери захлопнулись. Пассажир дёргал за ручку застрявшего портфеля, делал отчаянные знаки, видимо, просил тебя помочь раздвинуть двери, наконец, они разошлись, снова сомкнулись, и перрон вместе с пассажиром поехал назад.

Ты сидел у окна, поглядывал на своё тёмное отражение в стекле, перечёркнутое несущимися огнями, и думал о том, что сны дешифруются не наяву, а в романе, что вопрос о том, какое время реальней, онирическое или реальное, отнюдь не решён и что следовало бы сдать портфель в бюро находок. Но поезд летел, не останавливаясь, это была дальняя линия с большими расстояниями между станциями. Пока, наконец, не дошло до сознания, что станция была конечной, а куда едем дальше, неизвестно. Тем лучше: будет время познакомиться с содержимым портфеля. Отщёлкнув замок, ты нашёл там толстую рукопись, принялся за чтение, а поезд по-прежнему шёл, не замедляя хода, и вагон раскачивался и громыхал на стыках.

Писатель почувствовал себя плагиатором. Он лежал на тюфяке и должен был признать, что не только присвоил чей-то труд, но присвоил чужую судьбу. Чужой образ, безымянная тень сидит за столом и глядит на него тёмными глазницами, глядит с укоризной. И, уже просыпаясь, с необычайной ясностью он постиг, что тот, опоздавший, так и не успевший вскочить в вагон, был он, а в

вагоне сидел другой, тот, кто собирался сдать портфель в бюро находок, но передумал, — да и поезд больше не останавливался.

Но и это был сон: и комната, и тюфяк, на котором он уснул, не раздеваясь, и увидел себя подбежавшим к последнему поезду; очнувшись, он вспомнил что война всё ещё не кончилась, сообразил, что он заблудился в горящем Берлине, подобно тому как заблудился в своём романе, и странствует в лабиринте подземных путей, и заглядывает в стёкла вагонов застрявшего поезда. О, это было вечное повторение, борозда в мозгу, по которой проносилось его воображение. Он стряхнул с себя этот морок. Стало ясно, что вся его жизнь на воле была долгим и (как это бывает, когда спят тревожно) абсурдно-логичным сном, правильным, но основанным на ложных посылках, наподобие бреда у некоторых душевнобольных. Ложной посылкой было освобождение. Он лежал, но не в хижине Швабры Анисимовны или как там звали полусумасшедшую хозяйку, а на нижних нарах, что было большим преимуществом, так как то и дело, едва успев вернуться, приходилось опять бежать в сортир. Там он сидел, уцепившись за что-то, на корточках, на дощатом помосте с круглыми дырами, тужился, стараясь выдавить из себя весь свой кишечник, но выходил лишь плевок кровавой слизи, и так продолжалось день и ночь, двое или трое суток, он потерял счёт дням, не мог итти пешком с партией больных, его везли на подводе, это был долгий марш ходячих и лежачих от зоны до станции, в темноте влачился следом за ними усталый конвой, тебя втащили в вагон, где за решёткой тамбура сидели у железной печки два других конвоира, везли свой народ по лагерной ветке до станции с древним раскольничьим именем Колевец, на больничку. Там он и умер от токсической дизентерии и был свезён на поля захоронения, и некий голос шепнул ему: сучий потрох, ты и на том свете будешь жить в лагере. А в барачной секции, в тумбочке между нарами осталась лежать его толстая рукопись, неужто мы успели написать её ещё там? Задача, следовательно, состоит в том, чтобы вынести её как-нибудь за зону, а там и на волю.

Кого-то надо просить. Тут он спохватился, что всё ещё едет. Пустой вагон гремит на стыках, огни туннеля несутся за тёмным стёклом, где смутно маячит его отражение, два солдата в зелёных бушлатах, в шапках поддельного меха со звёздочкой, качаются в тамбуре перед погасшей печкой. Да, сказал он себе, хронология в самом деле есть мнимость.

XXXVII
Всё, что не разрешено, — запрещено

22 февраля 1957

Кто-то дёргал за ручку. Это не могли быть *они.* Скорее какой-нибудь сосед... подосланный стукач. Кто-то пытался к нему проникнуть.

Хрустнула ржавыми суставами дверь. Явился некто. Она стоит на пороге. Оба уставились друг на друга. Наконец, она спросила: «Ты кто?»

Что он мог ответить?

«Я здесь живу».

«Что ты тут делаешь?»

Писатель скосил глаза на бумаги, на книжку, пожал плечами. Она приблизилась.

«Что ты читаешь?»

«Книгу, — сказал он. — Вот. Ты ведь умеешь читать?»

Подумав, она ответила:

«Это не по-русски».

Есть такая страна, объяснил он, Франция.

«Ты приехал оттуда?»

«В некотором смысле — да».

«Как тебя зовут?»

«А тебя?»

«Не скажу».

«Ну и я не скажу».

Помолчали.

«Швабра Анисимовна — твоя бабушка?»

Да, так, кажется, звали сумасшедшую старуху. Не ответив, девочка повернулась и выбежала из комнаты, писатель снова пожал плечами.

Через минуту она вернулась с огромным ломтём хлеба, намазанного повидлом. Оба стали есть, откусывая по очереди.

«Вытри руки, — сказал писатель, когда хлеб был доеден. — И на платье накапала. Нельзя быть такой неаккуратной».

Он добавил:

«Что же ты стоишь?»

Снова молчание, девочка ёрзает на табуретке, устраиваясь поудобней.

«А я тебя ждала».

«Вот как. Почему?»

«Потому что ждала». Ответ, не лишённый логики.

«Разве ты меня знала?»

«Я знала, что ты вернёшься».

«По правде сказать, — заметил писатель, — я в этом не был уверен».

«В чём?»

Он был непонятлив, ей пришлось повторить вопрос: в чём же он не был уверен?

«Что я вернусь».

«Понимаю. Ты хочешь снова туда уехать».

«Как тебе сказать...»

Ему хотелось ответить — да, уехать, но не «туда», а прочь, назад в детство. Но разве это так трудно? Дух тридцатых годов витает в комнате с топчаном и щелястым полом, и вы оба ровесники.

Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi.[1]

Листаешь пожухлый томик, принадлежавший Анне Яковлевне. Та самая книжка, которую разглядывал милиционер на вокзале, вместе с тобой она тянула лагерный срок. А должно быть, когда-то мерцала золотыми буквами на корешке, за стеклом, в дубовом шкафу, в сгоревшем особняке Тарнкаппе.

«А это что?» — девочка показала на бумаги.

«Это секрет».

«Почему?»

[1] Уже много лет для меня ничего не существовало в Комбре, кроме подмостков и самой драмы моего отхода ко сну. (*Пруст,* «По направлению к Свану ». Пер. Н. Любимова).

«Если об этом узнают, мне снова придётся уехать».

Твои акции повысились. У собеседницы заблестели глаза.

«Ну, хорошо, — сказал писатель, — пусть это будет наш общий секрет. Клянёшься, что никому не скажешь?»

Она усердно кивает.

«Всеми страшными клятвами».

Она поклялась всеми страшными клятвами.

«Теперь пойди посмотри, не подслушивает ли кто».

Девочка сползла с табуретки. На цыпочках приблизилась к двери, выглянула в сени.

«Бдительность, — изрёк писатель, подняв палец. — Бдительность прежде всего». Он перебирал исписанные листы.

Решительно ничего необыкновенного не произошло в этот бледный, анемичный день, в позднюю пору обветшалой зимы. Но ты чувствуешь: настал исторический час. Писатель, у которого появился хотя бы один слушатель, — это уже совсем не то, что писатель без слушателей и читателей. Разоблачить себя, свой тайный порок, стукнуть себя в грудь, объявить всенародно, — хотя бы народ был представлен семилетней девчушкой, — чем ты, собственно говоря, занимаешься.

Как если бы он оставил своё переодетое «я» в костюмерной, стёр с лица грим, вышел на подмостки, и все увидели, кто он такой на самом деле. Как если бы не умеющего плавать посадили в утлую лодчонку без весёл; как если бы слушатель, которому ты доверился, осыпал тебя похвалами. И — побежал докладывать.

Всё, на что нет специального разрешения, запрещается. Если что-нибудь не запрещено, это не значит, что разрешено. Всё, что делается самовольно, есть преступление.

Впрочем, если бы это не было преступлением, не стоило бы писать. Оригинальная логика, не правда ли?

Он всё ещё перебирает листки.

«Здесь эпиграф, но мы его не будем читать...»

Он откашлялся.

Некогда в тридевятом царстве...» — остановился и взглянул на девочку.

«Это такая сказка?»

«Отчасти».

Некогда в тридевятом царстве, в переулке у Красных Ворот жила Анна Яковлевна Тарнкаппе. В те времена уже никаких ворот не существовало. Не было деревьев на Садовом кольце, смутно помнится Сухарева башня, слышатся звонки трамвая на Мясницкой, маячит керосиновая лавка на углу проезда. От особняка, где родился Лермонтов, не осталось следа.

«Ну как?» — спросил он. Ответа не было, девочка сучила ногами, ёрзала на своей табуретке, упираясь ладонями в деревянные рёбра. Сейчас, подумал он, спрыгнет и убежит.

«Как тебе эта проза?»

Зато в переулке за последние сто лет, кажется, ничего не менялось. Поэтому не следует удивляться, если история, о которой однажды тебе поведала Анна Яковлевна...

«Мне?» — спросила девочка.

Он помотал головой.

«А кому?»

«Не знаю. Дальше будет видно».

Поэтому не следует удивляться случаю, который произошёл... случаю, о котором...

Поэтому не приходится удивляться...

Писатель испустил тяжёлый вздох.

«Нет, — сказал он угасшим голосом, — это невозможно».

Схватил вставочку и вперился в исписанный лист.

«Понимаешь, так писать не-воз-мо-жно!»

«А как?»

«Гм».

Не дождавшись внятного ответа, она спросила, кто это.

«Анна Яковлевна? Была такая... дальше всё становится ясно. Она живёт в коммунальной квартире. То есть её уже давно нет!»

«Кого нет?» Дети не устают задавать вопрос за вопросом. Этого требует ритуал беседы.

Писатель отшвырнул перо, взбил поредевшие волосы на голове, воззрился на девочку.

«В этом всё дело: она одновременно здесь и там».

«Где — там?»

Неужели непонятно: там, в другом времеии. Ему стало легче при упоминании об Анне Яковлевне. Он даже немного развалился, если допустить, что можно развалиться, сидя на табурете.

«Вообще-то всё так и было, — сказал он. — За исключением того, что выдумано».

Значит, спросила девочка, это сказка?

«В некотором роде, да. Но я говорю тебе, что если не считать того, что я придумал, всё остальное правда. Мне было тогда немного больше, чем тебе. И вот теперь мне кажется, что, например, этот визит, ночью, когда он приехал на извозчике, мнимый, а может, и действительный родственник, я тебе сейчас прочту, — вот это, мне кажется, как раз не фантазия».

Il en est ainsi de notre passé. C'est peine perdue que nous cherchions à l'évoquer, tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel (en la sensation que nous donnerait cet objet matériel), que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le recontrions avant de mourir, ou que nous ne le recontrions pas.[1]

«Если ты будешь слушать внимательно, — торжественно сказал писатель, — я посвящу этот роман тебе».

[1] Вот так же обстоит и с нашим прошлым. Пытаться воскресить его — напрасный труд, все усилия нашего сознания тщетны. Прошлое находится вне пределов его досягаемости, в какой-нибудь вещи (в том ощущении, какое мы от неё получаем), там, где мы меньше всего ожидали его обнаружить. Найдём ли мы эту вещь при жизни или так и не найдём — это чистая случайность. (*Пруст,* «По направлению к Свану»).

XXXVIII
Легка на помине

Всё ещё 22 февраля

Он прислушался, что-то вновь происходило за дверью. «Подслушивают, — прошептал он, — я так и знал».

Это был скрип колёс.

«О, — воскликнул жилец, — вот это да! Вот так номер».

Кресло-каталка застряло в дверях, ворочалось так и сяк, наконец, удалось протиснуться. Доктор медицины Арон Каценеленбоген, пятясь, вкатил кресло спинкой вперёд, развернул, сморщенное личико показалось из-за подлокотников, сильно состарившаяся Анна Яковлевна, подняв ветхую аристократическую ручку, приветствовала жильца.

Что касается доктора, то он выглядел по-прежнему импозантно, однако заметно похудел.

«Всё бывает, — молвила Анна Яковлевна, отвечая на безмолвный вопрос писателя, — представь себе: всё бывает. Даже то, чего не бывает...»

Она поглаживала тощую седовласую обезьянку у себя на коленях.

«Не так-то просто было тебя разыскать, — заметил доктор. — Забраться в такую дыру — это надо уметь».

«Но я вижу, ты не забыл язык, это меня радует», — поглядывая на стол, сказала Анна Яковлевна.

«Это ваша книга...»

«Можешь оставить её у себя. Она мне не нужна. Кто эта девочка, — твоя дочь?»

Девочки след простыл. Может быть, оттого, что она родилась, когда вас давно уже не было на свете, думает писатель. Может быть, это просто несовместимость времён.

«Да, мы не виделись тысячу лет. Как ты жил эти годы? — Она озирала убогое жильё, покачивала маленькой лысеющей головой. — Кажется, ты не слишком преуспел в жизни... или я ошибаюсь? Господа, помогите мне выбраться».

Вдвоём подхватили старушку, усадили на табурет, где перед этим сидела юная слушательница. Доктор Каценеленбоген опустился в освободившуюся каталку. Подняв остатки некогда соболиных бровей, Анна Яковлевна поглядывает на стол, на исписанные и исчёрканные страницы.

На ней длинное тёмное платье, вязаная кофта, она встряхивает перед ухом спичечным коробком, как бывало, и, конечно, ни одной спички не осталось; доктор, приподнявшись, протягивает ей факел зажигалки. Запах бензина, дивный аромат дешёвых папирос. Мальчик ёрзает на диване, убедительная просьба не забираться с ногами! Всю зиму снег свозили с переулка во двор, снег стоит горой в венецианском окне, в комнат бело, и в углу за комодом нагая дама никак не может выбраться из бокала.

Дым тонкой струйкой вытекает из увядших уст Анны Яковлевны. Чёрный дым вылетает толчками из прямоугольной трубы крематория. Кто это изготовляет такие скверные папиросы?

«Дукат, — сказал писатель, — по-моему, фабрика существует до сих пор».

«Странно. Ведь дукат — это от слова ducatum. Ты куришь?»

«В лагере курил. Махру».

«Qu'est-ce que c'est que cette махра?»

«Махорка», — пояснил доктор Каценеленбоген.

«Ну, рассказывай, я хочу знать».

Что рассказывать? О чём? Писатель пожимает плечами.

«Когда вы вернулись?»

«Я один вернулся. Сбежал из эвакуации».

«Да, да, конечно... память, память стала никуда», — кряхтит Анна Яковлевна и кивает сморщенной старушечьей головой.

«А мама в конце войны».

И так как за этим должен последовать другой вопрос, он объясняет: Донской монастырь. Недалеко от...

«От меня, — сказала Анна Яковлевна, — можешь не стесняться. А твой отец?»

«Мой отец пропал без вести. Зимой сорок первого».

«Да, да, — вздыхает она. — Страшная зима. Не правда ли, доктор?»

«Вы правы, дорогая, — сказал доктор Каценеленбоген. — Зима была ужасная. Хотя лично я до неё не дожил».

«Немцы всё ещё в России?»

Доктор Каценеленбоген дипломатично кашлянул.

«Э! э! э! — вскричала Анна Яковлевна. — Софи! Не сметь!.. Она не выносит папиросного дыма».

Совершив в воздухе дугу, голая и тощая, того особенного цвета, который напоминает покрытый плесенью шоколад, обезьянка плюхнулась на стол.

«Софи, назад!» — громыхнул доктор, но было поздно. Раскорячившись на столе, высоко подняв загнутый кренделем хвост, Софи выдавила из себя комок и ещё один комок.

«Ужас, — пробормотала Анна Яковлевна, — что за воспитание...»

«Софи! и тебе не стыдно?» — внушительно сказал доктор Каценеленбоген.

«Для библиотеки», — пропищала Софи, показывая чёрной лапкой на запачканную, поруганную рукопись.

«Какой ещё библиотеки?»

«В Козловском переулке, в уборной».

«Боже мой, откуда ты знаешь о Козловском переулке, тебя ещё не было на свете...»

«Ничего, я сейчас уберу», — бормотал писатель.

Он явился с железным совком для выгребания золы из печки, молча стряхивал жёлто-коричневые колбаски с рукописей.

«Поди прочь, не хочу с тобой разговаривать, — говорила Анна Яковлевна. Обезьянка снова сидела у неё на коленях. — Я тебя больше не люблю...»

Наступило неловкое молчание.

«О-о... моя спина. Не могу сидеть на этих табуретках. Доктор, отчего у меня болит спина?»

«Это позвоночник. Возрастные изменения».

«И вы ничего не предпринимаете!»

Доктор Каценеленбоген ограничился неопределённым жестом.

«Вообще, что это за манера сваливать всё на возраст. Я была не такой уж старой!»

Удивительные вещи происходят, а впрочем, так и бывает, когда после долгой разлуки ужасаешься, до чего изменился человек, а потом видишь, что он всё такой же. Доктор, конечно, сильно сдал за эти годы, но вот прошло каких-

нибудь четверть часа, и перед тобою прежний доктор Каценеленбоген, медицинское светило Куйбышевского района, величественный, массивный, с перстнем на пальце, с собственной практикой, которую он сумел сохранить в почти уже построенном обществе социализма, и вывеской у входа в прекрасный старый дом на Чистых прудах.

Сопя, доктор тянет губы к мясистому носу, приподнимает седую бровь.

Анна Яковлевна:

«Прекрасно знаю, что вы хотите сказать. Что присутствие врача — само по себе терапевтическое мероприятие. Mon Dieu! сколько можно повторять одно и то же».

Экс-баронесса вновь покоится в кресле; правда, это уже не верное старое кресло из комнатки-кельи в Большом Козловском. Анна Яковлевна восседает в инвалидном кресле-каталке.

«Совсем дырявая память! — вздыхает она. — Я ведь знала, помнила, как вы с мамой вернулись из эвакуации... (Писатель не возражает). А ты, если не ошибаюсь, поступил в университет?»

«Не ошибаетесь».

«Не хочу мучать тебя бестактными вопросами, ты уж прости меня. Ты, кажется, снова уехал... надолго?»

«Уехал... на северо-восток».

Доктор Каценеленбоген заметил, что пребывание в здоровом северном климате имеет свою положительную сторону.

«Это верно», — сказал писатель.

Анна Яковлевна спрашивает, отчего он не живёт в их квартире, и снова ничего не остаётся, как в ответ пожать плечами.

«Извини мою назойливость, я не совсем понимаю. Но меня интересует. Чем ты всё-таки занимаешься? На что ты живёшь?»

«Я занимаюсь... — пробормотал он, — вы же видите». (Кивок в сторону стола).

«Je m'y attendais... я так и подумала. Удаётся что-нибудь зарабатывать?»

«Для этого надо печататься».

«Я могу похлопотать, — сказал доктор Каценеленбоген. — У меня сохранились кое-какие связи».

Писатель поблагодарил. Анна Яковлевна возразила:

«Дорогой мой, вы меня просто изумляете. Какие связи?! В вашем положении... я хочу сказать, в *нашем* положении».

Она умоляюще взглянула на писателя, украдкой постучала пальцем по лбу.

«Что касается заработка, — продолжал он, — я работаю. Или, вернее, работал. Она меня устроила».

«Эта женщина?»

«Ну да. Ваша племянница».

«Мой Бог, какая она мне племянница. Седьмая вода на киселе... Скажи мне... (понизив голос) ты с ней в близких отношениях?»

«В общем, да».

Доктор Каценеленбоген изобразил на лице понимающую мину.

«Она тебя любит? Почему ты на ней не женишься?»

«Дорогая, почему молодой человек непременно должен...»

«Доктор, молчите. Я знаю, что вы хотите сказать».

«О женитьбе не может быть речи, — сказал писатель. — Мы принадлежим к разным этажам общества».

«Но ты выражаешься прямо как в старорежимные времена! Что ты хочешь этим сказать?»

«То, что сказал».

«Но ты её любишь?»

Писатель взглянул на Анну Яковлевну ничего не выражающим взглядом, посмотрел на рукопись со следами безобразия. Вопрос застыл на сморщенном личике Анны Яковлевны. Доктор Каценеленбоген обнаружил в нагрудном кармане своего пиджака сигару и занялся раскуриванием.

«Я не могу любить, — помолчав, сказал писатель. — Это свойство во мне убито».

«Что ты говоришь! Человек не может существовать без любви».

«Очень даже может».

«Я бы хотела знать, что ты пишешь: рассказы, романы?»

«В этом роде».

«В моё время считалось, что романов без любви не бывает. Слово роман, собственно, и означало любовную связь. Как можно писать роман и не иметь представления о том, что такое любовь! — Писатель молчал. — Что же вас связывает?»

«Что связывает... — Он усмехнулся. — Вероятно, постель».

«Немаловажный фактор», — заметил, выпуская дым, доктор Каценеленбоген.

«Доктор, не пытайтесь изображать из себя циника. Вам это совершенно не к лицу!»

«А также благодарность, — продолжал писатель. — Она приняла во мне большое участие. Не оттолкнула меня. Вам, может быть, неизвестно, что значит вернуться оттуда... Люди шарахались от меня как от привидения. А она... И кроме того... вы спрашиваете, что нас связывает...»

«О! — и Анна Яковлевна всплеснула руками, сокрушённо закивала, — я так и знала! Подтверждаются мои самые худшие предположения. Вы слышите, доктор, они вместе курят опиум!»

«Нет, — сказал писатель, — не опиум. Теперь опиум не курят».

«А что же курят?»

«Ничего. Теперь колются».

«Колются, чем? Ах, впрочем, всё равно... Доктор! Вы медик, и вы молчите?»

Доктор Каценеленбоген отложил в сторону сигару.

«Я бы хотел взглянуть, — проговорил он. — Ну-ка, засучи рукав, живо. М-да. Совершенно верно. Именно так. Часто?»

«Нет, не часто», — сказал писатель.

«Что касается Валентины, от неё всего можно ждать, — со вздохом сказала Анна Яковлевна. — До чего мы дожили. Так что же это за работа, которая даёт тебе возможность проживать в этой избе?»

«Возможность проживать мне предоставляет милиция», — ответил писатель.

«Позволю себе заметить, — вставил доктор, — что нам с трудом удалось тебя разыскать».

«Я посудомой. Мою посуду».

Он попытался объяснить, что в столице развёрнуто большое строительство. Помнит ли Анна Яковлевна, где находилась Калужская застава? Так вот, ещё дальше. Там огромная гостиница. Горы посуды с остатками яств.

«Представляю себе, что это за яства. Значит, это она тебя устроила? Вероятно, она там занимает высокую должность».

«Горничная».

«Как! — удивилась Анна Яковлевна. — Я не понимаю Ты говоришь, вы принадлежите к разным социальным слоям. Если она всего-навсего горничная, обыкновенная femme de chambre... разве расстояние между вами так уж велико?»

«Простите, Анна Яковлевна, — сказал писатель. — Je craindrais d'offenser vos oreilles».[1]

«Но я хочу всё знать о тебе. Валентина меня не интересует. Если я спрашиваю, то лишь потому, что ты связан с ней...»

«Мы всё хотим знать», — сказал доктор Каценеленбоген.

«В обязанности горничной входит обслуживание гостей».

«Угу. Обслуживание? — задумчиво переспросила Анна Яковлевна и опустила глаза на уснувшую обезьянку, которая была удивительно похожа на Анну Яковлевну. — Должна сказать, что в моё время в борделях подвизались более привлекательные девушки... Да, но... ты сказал, что работал».

«Я так сказал?»

Анна Яковлевна переглянулась с доктором.

«А сейчас?»

«Сейчас не работаю».

«Понимаю. Ты узнал, кто она такая, и уволился».

«Не совсем так. Дело в том, что её покровитель... одним словом, там произошла неприятная история, меня стали тягать, и я подумал, что мне лучше уйти».

Анна Яковлевна тяжко вздыхает. Я устала, говорит она. Анна Яковлевна оглядела писателя. Ни тени осуждения в её взоре, лишь горечь и сострадание.

«Как же ты опустился, бедный мой мальчик...» — пробормотала она.

Писатель лежал на топчане, эх, думал он, какая глупость. Надо было расспросить её как следует. Уточнить подробности, которые так нужны. Откуда взялась эта картина — голая девушка в бокале. Что стало с соседями, куда они делись. Что произошло с самой Анной Яковлевной. Тысяча вопросов.

Дым её папироски всё ещё стелился в воздухе. Витал аромат докторской сигары. Всё забывается. Он дал ей просто так исчезнуть.

Однако... не для того ли она явилась, чтобы напомнить?

Он встал, засунул руки в карманы холстинных штанов, взад-вперёд он расхаживает по своей masure,[2] уставясь в щербатый пол. Встряхнуть жестяную лампу, есть ли ещё керосин. Писатель сидит за столом, отупело перелистывает бумаги.

---

[1] Боюсь, что это не для ваших ушей (*фр.*).

[2] халупе.

XXXIX
Вдвоём и смуглая Венера

Назад (путаница, вызванная более серьёзными причинами, нежели забывчивость):

31 декабря 1956

У всех пациентов независимо от вида употребляемого снадобья наблюдались аффективные нарушения. В течение длительного времени у них преобладал неустойчивый, часто сниженный фон настроения. У большинства отмечались повышенная возбудимость, истероподобные формы реагирования, эмоциональная лабильность. Периодически возникало чувство враждебности и агрессивности к окружающим.

«Ну и что?» — спросила она.

У 61% больных в разные периоды возникали страх перед будущим из-за отсутствия уверенности в том, что они смогут удержаться перед соблазном очередного употребления препарата, страх покончить с собой — вскрыть вены, повеситься, выпрыгнуть из окна.

«Тут первый этаж, тут не выпрыгнешь».

«Есть другие способы».

«Ты что, струсил? Небось *там* уже пробовал».

«Там? — Он усмехнулся. — Ты не представляешь себе, что — там».

Она напевает:

Новый год, порядки новые... Колючей проволокой лагерь оцеплён.

«Ого. Это ты откуда набралась?»

«Ниоткуда».

«У тебя есть эта пластинка?»

Она напевает знаменитое танго: «Брызги шампанского».

«Была. *Кругом глядят на нас глаза суровые. Ля-ля, ля-ля*, тара-тата, тара-тата. Не пробовал, так попробуй. Надо же когда-нибудь».

«Ты так думаешь?»

«Я так думаю. Я что тебе скажу — вся жизнь становится другой. Потом поймёшь, без этого жизнь не в жизнь. А насчёт здоровья, это всё больше разговоры. Мало ли что там написано. Они тебе наговорят».

«Кто это, они».

«Вот я: что я, больная, что ли. Я себе сейчас сделаю, ты посмотришь. А потом тебе. Дурачок, я же тебя люблю, если бы не любила, никогда бы не узнал. Разве по мне что-нибудь видно? Здоровью не вредит, это только так запугивают».

«Всё ясно», — сказал писатель.

«Да хотя бы и вредило — что нам терять? Всё равно до старости не доживём. Эх, милый. Да если б не штоф...»

«Штоф».

«Ну да. Он там живёт, он живой, а ты не знал? Спит в ампуле, всё равно как ребёнок в материной утробе. Ты его впусти в кровь, он проснётся. Если бы не он, я бы давно уже лапти откинула, ручкой махнула бы всем вам».

«Кому — вам».

«Мужикам. Давно бы себя порешила».

«Откуда это у тебя».

«Оттуда. Нечего спрашивать. Откуда у всех. Чего это я разболталась. Давай... Главное, соблюдать стерильность. А то занесёшь какую-нибудь заразу. Чужим шприцом ни в коем случае, и свой никому не давать. Можно просто в бедро, поглубже. Но самое лучшее вот так. Сначала прокипятить. Потом жгут. Баян обязательно сполоснуть, дестиллированной водой, я специально в аптеке покупаю».

«Баян?»

«Да что ты, первый раз, что ли, слышишь. Вот; во-о-от... Теперь подождать немного. Сейчас начнёт забирать. Сперва как будто съезжаешь куда-то».

«На тот свет».

«Скажешь ещё».

Она молчит, медленно дышит.

«Да на том свете, если уж на то пошло, лучше, чем на этом. Когда-нибудь увидим. А потом поднимаешься. Выше и выше. О-о... Ну, давай. Вместе, так вместе. А насчёт того-этого...»

«Насчёт чего».

«Ладно притворяться-то. Не понимаешь, что ли? Насчёт того, что стоять не будет. Это всё сказки».

«Откуда ты знаешь?»

«Знаю. Ну давай, не ленись. Засучи рукав. От дозы зависит. Если свою дозу знаешь, то ничего не будет, даже наоборот. Ещё как захочется. Ты меня ещё не распробовал как следует. Небеса увидишь, в раю побываешь. А если просто так хочешь раслабиться, успокоиться, то надо немного увеличить. А вообще с дозами осторожней. Можно и до галиков доколоться. До галлюцинаций. Со мной однажды было, как-нибудь расскажу. Смех один... Бери жгут. Сам, сам. Ну, у тебя веняк хороший. Протереть; вот спирт. Ваткой, говорю, протри. Теперь смотри, берёшь пилку. Ампулу надпилишь вот здесь, где узко, потом просто щёлкнуть пальцем, раз! Теперь насосать».

«Это нам известно».

«Ну, и прекрасно. Медленно, не торопись. Нам спешить некуда. Там всё равно раньше одиннадцати не начнётся. Теперь, как только кровь появится, распусти жгут. Толкай поршень, пальчиком, до конца, до конца-а-а, чтоб ни капли не пропало. А теперь быстро вынуть, и ваткой. Руку согни в локте. Сперва станет тепло в животе. Чуешь? Ещё подождать... пока врубишься в кайф. Тут, милый, целая наука. Голову только не надо терять. А то, хочешь, ежа как-нибудь попробуем».

«Ежа?»

«ЛСД. Психоделик. Самая сейчас модная штука. В другом мире окажешься».

«Ты пробовала».

«Было дело».

«И что же?»

«Да так, не понравилось. И опасно, стебануться можно в два счёта».

«Нам пора».

«Куда? А, успеется».

Здравый смысл говорит нам, что все земное мало реально и что истинная реальность вещей раскрывается только в грезах. Люди ограниченные сочтут странным и, быть может, даже дерзким, что книга об искусственных наслаждениях посвящается женщине — самому естественному источнику самых естественных наслаждений. Но нельзя отрицать, что, подобно тому как реальный мир входит в

нашу духовную жизнь, способствуя образованию того неопределимого сплава, который мы называем нашей личностью, — так и женщина входит в наши грезы, то окутывая их глубоким мраком, то озаряя ярким светом.

«Была такая. Мулатка по имени Жанна Дюваль».

«Мулатка?»

«Ну да. Белый отец и чёрная мать. Или наоборот. Чёрт её знает, откуда она явилась. С островов».

«Чёрные, они горячие».

«Глаза, как угли. Полуведьма, полубогиня. Приучила его к гашишу. Лживая, невежественная».

Она мрачнеет.

«Ты хочешь сказать, как я?»

Он разводит руками.

«Нет, ты скажи правду».

«Валя, — промолвил он укоризненно. — Приди в себя».

«Покажи книжку. Господи, а это ещё откуда?»

«Ниоткуда. Это книжка Анны Яковлевны. Бодлер... был такой поэт».

«Опять эта Анна Яковлевна. Вечная Анна Яковлевна».

Итак, вот перед вами это вещество: комочек зеленой массы в виде варенья, величиной с орех, со странным запахом. Вот источник счастья! Оно умещается в чайной ложке. Вы можете без страха проглотить его: от этого не умирают. Впоследствии слишком частое обращение к его чарам, быть может, ослабит силу вашей воли, быть может, принизит вашу личность; но кара еще так далека! Чем же вы рискуете?

«Ну как, забирает? Погляди на себя в зеркало».

«Ух ты».

«Чешется? Ничего, пройдёт. Ты лучше приляг. Я говорю, голову не надо терять. И меру знать. А то загудишь. Подвинься маленько. Ничего не будем делать, полежим просто вдвоём... Я тогда совсем девчонкой была».

«Когда?»

«Когда тебя взяли. У меня ведь никого нет. Отца вовсе не было, фамилию его ношу, а кто он был? Сделал своё дело и сбежал. Может, на фронте убили. С матерью тоже, знаешь, большой любви не было. Ну вот. Уговорил меня кто-то поступить в театральную студию, была такая при Еврейском театре».

«Ты разве еврейка?»

«Да какая там еврейка. Мне сказали, там и русских берут. Я, по правде сказать, евреев нá дух не переношу. А вот так получилось. Я в школе в драмкружке была. У нас там был руководитель, артист или кто он там, он меня чуть было — ну, в общем...»

«Чуть было».

«Ну да. Он ко мне и так, и сяк. Потом потерял терпение и говорит: почему ты мне не даёшь? А я только смеюсь. Женитесь, говорю, на мне, тогда и е...те сколько хотите».

Молчание.

Мне вообще в жизни везёт. Ну, и внешность, конечно, играет роль».

«А я?» — спросил писатель.

«Что — ты?»

«Я тоже на тебе не женился».

Она усмехнулась. «Куда тебе. — Помолчав: — Милый, когда ж это было. Это я тебе про старые времена рассказываю. Ты другое дело. Я ведь тебя люблю...»

«А тех не любила?»

«Ну, это по-разному. Любила, не любила, тебе-то что».

«Ты говоришь, поступила в еврейскую студию».

«Ну да; была уверена, что не возьмут. И, представь, прошла по конкурсу. Прочитала что-то там, потом ещё этюд. Как ты, например, будешь себя вести в парикмахерской. Ну вот; а месяца через два, только начались занятия, всю эту лавочку прикрыли, кого-то там арестовали, уж не знаю, чем они там занимались. А другим просто под зад, и катись, вообще весь театр разогнали. Я, можно сказать, на улице очутилась. Домой возвращаться не могу. Какой у меня дом. Мамаша с кем-то там связалась».

«Ты что-то путаешь. Еврейский театр, на Малой Бронной, — ведь его разогнали уже после войны».

«А я что говорю?».

«Ты была в театральной студии, когда я тебя первый раз увидел. Анна Яковлевна была больна. Я хорошо помню. Ты стояла спиной к окну».

«Ну и что?»

«А то, что это было ещё до войны».

«Сам ты путаешь. Это тебя забирает, вот ты и несёшь. Анна Яковлевна... А чего Анна Яковлевна. Она ведь мне никакая не родня. Мне мама говорила: разыщи Анну Яковлевну. Будто бы бабка у них в услужении была. Моя бабка».

«У кого?»

«У них — у фон-баронов. Ну вот; что я рассказать хотела. Осталась, можно сказать, у разбитого корыта. Да ещё с пузом. То есть ещё не с пузом, но уже».

«Вот как».

«Я там в студии сдуру связалась с одним. Короче, хоть в петлю лезь. Если б не Алексей Фомич, не знаю, что бы со мной было. Он меня, можно сказать, подобрал».

«А ребёнок?»

«Не было никакого ребёнка, освободилась, и всё. Он тогда ещё не был таким большим начальником».

«Алексей Фомич?»

«Век буду ему благодарна, Бога за него молить. Господи, ты что думаешь, я с ним живу? Ну, бывает иногда, пожалеешь его по-бабьи. У него семья, на Урале где-то там. Я уж не знаю, что там у них, жену он не любит, вот и ездит в Москву то и дело. Говорит, что из-за меня приезжает. Он даже мне предложение сделал, говорит, брошу всё... Он вообще-то большая шишка, ну и связи, конечно, сам понимаешь».

«Что же ты».

«Не знаю. Не судьба, наверное».

«Но ты с ним живёшь».

«Да не живу я. Это не считается. Не люблю я его как мужчину. Ну, пожалеешь иногда».

«Это когда ты бываешь на дежурстве?»

«Всё тебе надо знать».

«Чем же он тебе не угодил?»

«Чем, чем. Чем мужик может не угодить? Не получается у нас с ним. Только-только разожгусь, а уж он спустил».

«Это оттого, что он тебя любит».

«Может, слишком любит».

«Постой, — сказал писатель, — там кто-то стоит. Дай-ка я погляжу...»

«Лежи. Не обращай внимания»

«Это он за нами приехал?»

«Я говорю, не обращай внимания. Как настроение?»

«Превосходное. Много там будет народу?»

«Не знаю. Много. Сколько сейчас времени? Хватит валяться. Я тебе новый галстук купила».

«Алексей Фомич знает?»

«Что я колюсь? Знает, а как же».

«Я не об этом. Что мы с тобой... Ещё приревнует».

«Ну и пусть ревнует. Что я хотела рассказать. Был у меня один в студии».

«Тот самый?»

«Который?.. Нет, не он... Вообще-то ко мне многие клеились. Ты как, ничего? Сейчас расскажу, и поедем. Я гордая была. Мальчик был один. Нежный такой, как куколка. Нежный и грустный. Вот мы раз сидим у него, отец был какая-то важная птица, отдельная квартира, всё такое, у него была своя комната. Сидим, он говорит: хочешь попробовать. Я думала, он меня сейчас раздевать начнёт. А может, он и в самом деле думал, что я под балдой ему отдамся. Делаю вид, что ничего не понимаю. Я тебя научу, говорит, это так приятно. Если бы не наркотик, я бы руки на себя наложил. Что ж так, говорю. А вот так. Я удивилась, с чего бы это, — такая жизнь, дом — полная чаша, мощные родители, ни в чём нет отказа. У них и дача была, и прислуга. Кругом, говорю, люди голодают. Инвалиды с протянутой рукой, ты сходи — я говорю — как-нибудь на вокзал. Или к «Метрополю», там девчонки продаются за кусок туалетного мыла. И знаешь, что он мне ответил? Я без двух вещей не могу жить. Без каких это вещей? Без этого и без тебя. Он совсем ничего не умеет. Я у него первая была».

Viens sur mon coeur, âme cruelle et sourde,
Tigre adoré, monsrte aux airs indolents;
Je veux longtemps plonger mes doigts tremblants
Dans l'épaisseur de ta criniére lourde;

Dans tes jupons remplis de ton parfume
Ensevelir ma tête endolorie,
Et respirer, comme une fleur flétrie,
Le doux relent de mon amour défunt.

Je veux dormir! dormir plutôt que vivre!
Dans un sommeil aussi doux que la mort,
J'étalerai mes baisers sans remord
Sur ton beau corps poli comme le cuivre.

Pour engloutir mes sanglots apaisés
Rien ne me vaut l'abîme de ta couche;

L'oubli puissant habite sur ta bouche,
Et le Léthé coule dans tes baisers.

A mon destin, désormais mon délice,
J'obéirai comme un prédestiné;
Martyr docile,innocent condamné,
Dont la ferveur attise le supplice,

Je sucerai, pour noyer ma rancoeur,
Le népenthès et la bonne ciguë
Aux bouts charmants de cette gorge aigu,
Qui n'a jamais emprisonné de coeur.[1]

«Нам пора».
«Куда?» — спросил писатель.
«Как куда? На бал!»

---

[1] Сюда, на грудь, любимая тигрица,
Чудовище в обличье красоты!
Хотят мои дрожащие персты
В твою густую гриву погрузиться.

В твоих душистых юбках, у колен,
Дай мне укрыться головой усталой
И пить дыханьем, как цветок завялый,
Любви моей умершей сладкий тлен.

Я сна хочу, хочу я сна — не жизни!
Во сне глубоком и, как смерть, благом
Я расточу на теле дорогом
Лобзания, глухие к укоризне.

Подавленные жалобы мои
Твоя постель, как бездна, заглушает,
В твоих устах забвенье обитает,
В объятиях — летейские струи.

Мою, усладой ставшую мне, участь,
Как обреченный, я принять хочу,
Страдалец кроткий, преданный бичу
И множащий усердно казни жгучесть.

И, чтобы смыть всю горечь без следа,
Вберу я яд цикуты благосклонной
С концов пьянящих груди заостренной,
Не заключавшей сердца никогда.

(*«Цветы Зла», пер. А. Эфрон*).

XL
Эротическая мобилизация. Встреча Нового года в гостинице «Комсомольская юность»

31 декабря 1956, 22 часа

Один и тот же мотив тонет и возвращается в сумятице звуков, в смене лет; если бы можно было отстоять эту иллюзию музыкальной структуры, придать своей жизни вид продуманной композиции! Но ведь и в самом деле всё повторяется. Некогда столь же ослепительной, в роскошном платье предстала глазам ребёнка ветхая Анна Яковлевна, собираясь на бал в Колонном зале московского Дворянского собрания. Наркотик превратил Валентину в царицу ночи. Чёрный омут глаз вбирал в себя свет огней, гасил волю всякого, кто заглядывал в них ненароком. В ушах дрожали хрустальные подвески, траурное ожерелье спускалось до ямки ключиц, мерцали фальшивые камни на худых пальцах, с неизъяснимо женственной, томной грацией нагие руки поднялись к затылку ощупать узел волос. Под тонкой завесой дышала её грудь, под платьем угадывались нервно подрагивающие бёдра, лениво покачивалась узкая спина, слегка откинутая назад, угадывалось всё её тело и манило к себе, в прохладную тьму. Валентина была похожа на восставшую из могилы красавицу.

Сбросить шубку на руки мопсообразного швейцара и, вперяясь в пространство чёрными опрокинутыми глазами, постукивая серебряными каблучками, через убранный еловыми гирляндами вестибюль — к зеркалам лифта. Уже отсижена торжественная часть в конференц-зале перед длинным столом президиума с лобастым гипсовым бюстом в глубине эстрады; прослушан доклад, отхлопаны здравицы. Праздник перекочевал на шестой этаж. И вот они входят.

На столах, на свисающих до полу крахмальных скатертях ждут когорты бутылок, кувшины с разноцветными соками, судки с заливными яствами, подносы с бутербродами, холмы мандаринов, сыры, хлебы и виноградьі; в сторонке скромно толпятся рюмки, бокалы, высятся горки тарелок; словом, нечто новое, современное, называемое модным словом «шведский стол» — каждый подходи со своей тарелкой и набирай что хочешь, сколько хочешь.

Ах, всё это подождёт. Хватануть рюмку хрустальной, как слеза, экспортной какой-то «Посольской», откусить от бутербродов с балычком, с икоркой, утереть пальчики снежной салфеткой, и — туда, в зал, где за шёлковыми гардинами, за чёрными запотевшими окнами тьма и россыпь огней великого города, в зал, сотрясаемый инфернальным весельем, бряцаньем какофонического оркестра, звериным воем и плачем истекающего липкой спермой саксофона. Кавалеры облапили дам, груди и животы прижались к мужчинам, и всё это сосредоточенно движется, топчется, колышется вокруг огромной разряженной ёлки. Как вдруг смолкает музыка, гаснет люстра под потолком, полутьма наполняется шорохом ног, крутится бисерный шар, цветные огни летают по потолку, шныряют по волосам, по лицам, и над толпой взвиваются, раскручиваясь, ленты серпантина. Пары сливаются в поцелуях, в жадных объятьях. Но не успевает что-то произойти, как снова вспыхивает освещение. Танго: ходуном ходят пиджаки мужчин с могучими подкладными плечам и бёдра женщин, качают коромыслом сцеплённых рук слившиеся в экстазе пары. Торжествует низкопоклонство перед Западом.

Впрочем, это был стремительно устаревающий танец — вчерашний день. Нечто сверхсовременное явилось. Увы, всё тот же обольстительный, растленный

Запад. Три гитариста в лазоревых одеяниях, в чёлках до глаз, согнувшись над плоскими, похожими на крышки стульчаков инструментами, вытряхивали бряцающие звуки, пристукивали носками узких заграничных туфель, изрыгали неразличимые слова, а сзади длиннокудрый мальчик в серьгах и кольцах, сидя на возвышении перед агрегатом медных тарелок, свистулек, больших и маленьких барабанов, неустанно работал руками и ногами, отбивал ритм.

Впрочем, это был стремительно устаревающий танец — вчерашний день. Нечто сверхсовременное явилось. Увы, всё тот же обольстительный, растленный Запад. Три гитариста в лазоревых одеяниях, в чёлках до глаз, согнувшись над плоскими, похожими на крышки стульчаков инструментами, вытряхивали бряцающие звуки, пристукивали носками узких заграничных туфель, изрыгали неразличимые слова, а сзади длиннокудрый мальчик в серьгах и кольцах, сидя на возвышении перед агрегатом медных тарелок, свистулек, больших и маленьких барабанов, неустанно работал руками и ногами, отбивал ритм.

В те времена стали распространяться особого рода радения. Поначалу их приняли за некоторую особую молодёжную субкультуру, это была ошибка. На самом деле их нельзя было назвать ни культурой, ни антикультурой, скорее они могли напомнить ритуальные оргии аборигенов тропических стран или сцены священного массового помешательства эпохи клонящихся к закату Средних веков. Речь шла о приобщении индивидуума к народной душе. Речь шла о новой соборности. Речь шла о коллективной истерии. Казалось, век двух мировых войн, неслыханных разрушений, кровожадных режимов, концентрационных лагерей отменил суверенную личность. Народился массовый человек. Новое поколение чуяло запах обугленных тел, который источали гигантские крематории прошлого. Массовый человек жаждал забвения. Он искал вырваться из расчерченного и распланированого мира, бежать от кошмарных видений истории в рай безволия, погрузиться в водоворот грохочущей музыки и африканских ритмов. Были построены огромные, похожие на ангары, капища, где в ночном, лиловом и серебряном сиянии, в мелькающих огнях, на эстрадах, сжигаемые внутренним огнём, одержимые священным недугом, подпрыгивали жрецы нового культа. Гривастые исполнители, похожие на павианов, в ритуальных лохмотьях, в амулетах на шерстистой груди, извивались, сгибались и разгибались, метались на помосте, терзали струны и потрясали крышками от стульчаков, полуголые певицы, увешанные побрякушками, исторгали истошное пение, с фаллосом-микрофоном у рта, как бы готовясь обхватить его жадными губами; над всем господствовал ритм. А внизу бесновалась толпа.

Вот почему не было неожиданностью, когда культовым певцом популярнейшего поп-ансамбля стал крупный гамадрил, иначе плащеносный павиан *Papio hamadryas*. Пластинки с его записями разошлись миллионным тиражом. Гамадрил был лауреатом конкурслв и обладателем огромного капитала. В дальнейшем сольные и коллективные выступления собакоголовых приматов, с их хриплыми, завораживающими голосами, развитым чувством ритма и способностью много часов подряд, с не доступной человеку изобретальностью выполнять ритуальные телодвижения, певцов-шаманов, виртуозно владеющих струнными и электронными приспособлениями, распространились широко по миру и составили серьёзную конкуренцию человеческим исполнителям. Однако это произошло позже, а у нас на календаре всё ещё пятидесятые годы.

Ночь. Выше нас только чёрное небо и огромные, на подпорках, раскалённые буквы над крышей гостиницы. Внизу, едва различимый, прочерчен цепочкой мертвенных фонарей широкий новый проспект. Ползёт, светится жёлтыми окнами последний троллейбус, бегут одинокие автомобили. Струится песок в космических часах, течёт неслышное время...

Внезапно в гром и дребезг праздника вторгается репродуктор, и толпа в панике устремляется к столам. Голос главного диктора, тот самый нестареющий голос, некогда вещавший страну о победах, повергший в трепет сообщением о болезни вождя, декламирует новогоднее обращение к советскому народу. Официанты с деревянными лицами срывают станиолевую обёртку с чёрных запотевших бутылей. Доносятся клаксоны автомобилей с Красной площади. Гнусаво-торжественный перезвон, мерный бой курантов. Хлопают пробки, брызги пены орошают крахмальную скатерть, туалеты дам и костюмы мужчин. С Новым годом! С новым счастьем! За нашего дорогого! Всеми любимого!.. Иосифа Виссарионовича...

Какой тебе Иосиф Виссарионович? Иосиф Виссарионыч уже, так сказать, того. На небеси, тц-кать. За нашего дорогого Никиту Сергеевича! Нет уж, давайте, девушки, дружно, до дна.

Визг, хохот, и снова хлопанье пробок, и вот уже, сколько-то времени погодя, через час, через два, — кто знает, не остановилось ли время вместе с последним ударом башенных часов, с умолкнувшей мелодией гимна, — да и не всё ли нам равно, — с атласного дивана, где некто облепленный разудалыми, раскрасневшимися, утомлённо-возбуждёнными женщинами, пьяный, как зюзя, красивый, как гусар, полулежит, высоко забросив модную туфлю, закинув коверкотовую брючину за другую брючину, третий или четвёртый секретарь какого-то там забайкальского обкома, — а в общем-то, хрен знает кто, — помавает огромным бокалом, — немного погодя с атласного лежака раздается сперва нестройное, а затем всё дружнее, а там и с других диванов, с ковров и подоконников, нежно-бабье, мужественно-молодецкое пение.

Из-за острова на стрежень! На простор речной волны!

Ражий детина, могучий, полуголый, огненноглазый, в смоляных усах, в заломленной папахе, — легендарный Стёпка Разин поднимает на голых мускулистых руках трепещущую персидскую княжну.

И за борт её бросает! В набежавшую волну!

Что-то от удалой казацкой вольницы появляется в мужчинах, а женщины все как одна — персиянки.

Тоненькие голоса:

Саша, ты помнишь наши встречи? В приморском парке на берегу!

С другого дивана, мужественно-блудливо:

Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбёжка любая...

Откуда-то появился баянист — маленький, коренастый, в красной рубахе с расшитым воротом, в высоких, чуть ли не до пупа, сапогах, разворачивает дугой во всю ширь свой скрежещущий инструмент.

Маэстро, врежь! Брызги шампанского!

Сапогами — топ, топ, топ.

Новый год, порядки новые, колючей проволокой лагерь окружён. Кругом глядят на нас глаза суровые!

Мать вашу за ногу — это ещё что.

А чего — народная песня. Самая модная.

Народная народной рознь; я бы не советовал.

Ладно, чего там. А вот я вам спою. Маэстро, гоп со смыком!

Гоп со смыком, это буду я. Граждане, послушайте меня.

Эх, путь-дорожка! Фронтовая!

Ленинград, и Харьков, и Москва, ха-ха, знают всё искусство воровства, ха-ха!

Красная рубаха, чубчик прыгает над мокрым лбом.

Чёрный ворон около ворот. Часовые делают обход. Звонко в бубен бьёт цыганка, ветер воет над Таганкой. Буря над Лефортовым поёт!

Ночь. В большом зале на эстраде осиротевшие инструменты лежат на стульях, лазорево-серебряные пиджаки висят на спинках, изнурённые музыканты с лицами как маринованные овощи, подкрепляются за кулисами, трясут папиросный пепел на пёстрые рубахи. В уборной по одиночке — «баяном» — в вену.

Хор, рыдая:

Вспомни про блатную старину. Оставляю корешам жену.

«Во дают».

«Начальство, дери их в доску».

«А ты знаешь, сколько получает первый секретарь».

«Им получать не надо, сколько хочешь, столько и бери».

«Ну, не скажи».

«А я тебе говорю».

Ревела буря, дождь шумел. Во мраке молнии блистали. И бескрайними полями. Лесами, степями. Всё глядят вослед за нами черножо-о-пых глаза!

XLI
Эротическая мобилизация. Чем кончилось

4 часа утра

«А, и ты тут... Где Валюха? Валенька! иди сюда».

И снова гаснет свет. Мерцает из зала разноцветными огоньками ёлка. Пары лежат в обнимку. Иных развезло.

«Ну как, весело? Такая, брат, жизнь пошла. Пей, веселись. После лагеря-то, а?..»

«Алексей Фомич, всё благодаря вам».

«Что-то я притомился. Пошли ко мне, отдохнём маленько. И бутылку прихвати, вон ту. Чёрную бери, мартель. Ать, два!»

«Алексей Фомич, кабы не вы...»

«Ладно, слыхали. Потопали... И ты тоже. Ну как, понравилось?»

В лифте:

«Я вам, дети мои, вот что скажу: надо быть человеком. Кругом одно зверьё, вот что я вам скажу. Зазеваешься, глотку перегрызут».

«Прилягте, Алексей Фомич. Сейчас вам расстелю».

«Сперва выпить. Такая, говорю, селяви...»

«Алексей Фомич... может, хватит? Лучше отдохните. А мы тут возле вас посидим».

«Я сказал, выпить».

«Батюшки, а я и закуски не взяла. Сейчас сбегаю».

«Стоп. Обойдётся. Ну, давай... чтобы мы все были здоровы».

«За вас».

«Я что хочу сказать. Ты не смотри, что они такие. Я-то их знаю, сам сколько лет на ответственной работе... В этой среде, понятно? Зверьё, одно зверьё. А надо быть человеком. Вот так. Иди ко мне, Валюха».

«Алексей Фомич, вам бы лучше отдохнуть».

«Иди ко мне, говорю».

«Неудобно как-то...»

«Чего неудобно? Запри дверь. Дверь, говорю, запереть».

«Ну, я пошёл», — сказал писатель.

«Оставаться здесь».

«Да как же, Алексей Фомич...»

«Чего Алексей Фомич! Твою мать... Как прописку пробивать, помощь, понимаешь, оказать, на работу устроить, так Алексей Фомич. А вот чужих баб еть! Пущай тут сидит. Пущай смотрит».

«Может, мы лучше пойдём... Алексей Фомич, это всё неправда».

«Чего неправда? Ты ему даёшь? Я всё знаю. У меня своя разведка. Ты всем даёшь. Стели постель. Я лечь хочу».

«Сейчас всё будет Алексей Фомич. Две минуты. Только подушку взбить. Вам помочь раздеться? Мы сейчас уйдём...»

«Ку-да? Ни с места. Пущай сидит и смотрит. А ты иди сюда. Ко мне! Снимай тряпки».

«Алексей Фомич, миленький...»

«Это мои тряпки. Снимай всё, сука. Я вот тебе сейчас покажу. И ему будет полезно, будет знать, как бабу ублажать надо. По-настоящему... Всё с себя снимай. Одеяло прочь».

«Да как же, Алексей...»

«Я не смотрю», — угрюмо сказал писатель.

Там что-то происходило. Там сопел и ворчал комсомольский руководитель Алексей Фомич.

«Во-от. Шире ноги, паскуда! Давай, давай, давай... О-о!»

«Ну... ну...» — лепетала женщина. Словно тяжёлый воз поднимался в гору.

«Ыхы, ыхы, ыхы! Ы!.. ы».

И всё стихло. Успокоилось тяжкое дыхание мужчины. Несколько мгновений ещё дёргалось грузное тело.

Валентина выбралась из постели.

«Слушай. Что с ним?»

«Не знаю».

«Алексей Фомич! А? Алёша. Алёшенька!»

«Он умер», — сказал писатель.

«Что?!»

«Отдал концы, вот что».

«Слушай, что делать-то?.. Беда-то какая... беги за врачом. Или нет, лучше я сама... Слушай меня: мы скажем, ему стало плохо, я отвела его в номер, он тут и помер. Я стала звать на помощь, тут ты прибежал... Скажешь, как раз шёл по коридору. Ты свидетель, понял? Ты здесь сиди, я побегу в санчасть... Или нет, ты лучше уходи, я сама. Позвоню сейчас отсюда», — бормотала она, вытирала рубашкой у себя внизу, не знала, куда её деть, в спешке одевалась, слезы и краска текли у неё по лицу.

Теперь веселье бушевало на всех этажах.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

XLII
Нечистый дух. Антипатриотическая позиция романиста получает достойный отпор

Сентябрь 1967

Скажут: дела давно минувших дней. Что произошло за эти годы? Да ничего сверхъестественного; сменился правитель, только и всего. И, однако, что-то варилось в котлах, что-то менялось в составе атмосферного воздуха. Что же именно? Полагаем, что лучше об этом справиться у историков.

Как? Разве вы не историк?

М-м... не совсем.

Оглядываясь назад, трудно поверить, что эпизод, о котором пойдёт речь, мог состояться на самом деле. Слишком уж надо было для этого быть.. наивным, что ли. Но, с другой стороны, назвался груздём — полезай в кузов. Рано или поздно следует приобщиться к литературной среде. Быть может, общее потепление этих лет пробудило отвагу.

Было в самом деле тепло, время — около четырёх часов дня. Поезд остановился на пустынном полустанке, тридцать шестой километр от столицы. Только что прошёл дождь. Капли влаги переливаются голубыми, розовыми и серебряными огнями на траве. В сосновом бору чисто, свежо. Лучшего времени года не бывает, лучшего места на найдёшь во всём свете.

Путешественник миновал рощу, прошагал мимо кладбища знаменитостей, тех, кто некогда населял посёлок, свернул на дачную улицу и, наконец, поравнялся с голубеньким палисадником. Он стоит у калитки. Мохнатый чёрный зверь выскочив из-за угла, с грозным лаем несётся навстречу. Дом был основательный, снаружи обшитый досками, с балконом, с резными наличниками на окнах. С крыльца сошла пожилая простоволосая женщина. По всему виду писателя было ясно, что он вовсе не писатель. Он стал объяснять, что его ждут.

Дача принадлежит литературному министерству и предоставлена знаменитому критику в пожизненное пользование. Хозяина нет надобности представлять, довольно будет напомнить, что его зовут Олег Михайлович, «тот самый», известный в кругах под именем Олег Двугривенный. Он ждёт наверху. Одет в рабочую одежду — байковую куртку, подпоясанную витым шнурком, на шее платок, на ногах отороченные мехом домашние туфли. Он прост и приветлив, несмотря на громкое имя и высокий чин. В кабинете витает тонкий аромат духов. Посетителю указано на кожаный диван, сам поместился вполоборота к рабочему столу.

Над столом в простенке между окнами, за которыми шевелится желтеющая листва, граф Лев Николаевич Толстой, каким его изобразил художник Крамской, с пером в руках, перед старинным письменным прибором трудится над народно-исторической эпопеей «Война и мир». В углу стоит столик с пишущей машинкой. Оробелый гость сидит на краешке дивана, поглядывает на полки с корешками книг.

«Ну-с», — промолвил Олег Михайлович, потирая ладони и, очевидно, собираясь приступить к разговору. Скрипнула дверь, въехал на колёсиках столик со скромным угощением. Зверь поднял морду, но передумал и улёгся снова. Пожилая тётка — экономка? тёща? мать? — уплыла из комнаты.

«Ну-с...» — и он повернулся вместе с вращающимся креслом к столу, извлёк увесистую папку из нижнего ящика письменного стола. Посетитель с трепетом следил за его движениями. Измученный бессонными ночами, он сидит в углу за крохотным столиком, на порядочном расстоянии от следователя: необходимая мера предосторожности, чтобы арестованный не напал на лейтенанта. А также для того, чтобы не видели, что он там читает. Медленное, перелистывание толстого следственного дела, загадочное движение бровями, покрякивагие, покачивание головой — должны произвести впечатление. Олег Михайлович перелистывает рукопись. В эту минуту становится ясно, что роман — это улика. Какая неосторожность. Подавив волнение, гость (мы с утра ничего не ели) неловко тянется за бутербродом.

«Что?.. — рассеянно, не поднимая глаз от рукописи, спрашивает хозяин, словно угадав его мысли. — Угощайтесь, прошу вас...»

«Поверите ли... — говорил он, поглаживая машинописный лист, — простите, запамятовал, как вас по батюшке... (Писатель поспешно назвал своё имя и отчество). Поверите ли, света белого не вижу. То звонят из “Молодой гвардии”, просят юбилейную статью, то собрание партактива, семинар молодых прозаиков, творческий вечер кого-то там, надо выступить. Извольте каждый день тащиться в город. Своей работой некогда заняться».

«Сочувствую», — сказал басом Лев Толстой из дубовой рамы.

Олег Двугривенный поднял глаза на классика.

«Ему хорошо. Сидит в своей Ясной Поляне... М-да. Не примите это на свой счёт, — сказал он мягко, — это я так... Что же мне вам сказать...»

Он задумался, поднёс к подбородку переплетённые пальцы.

«Не скрою, меня увлекла ваша вещь. Мне трудно определить её, так сказать, жанровую принадлежность, на роман как-то не тянет. Скорее, автобиография?»

«Не совсем».

«Ага. Я так и подумал. Как-то слишком уж обрывисто, видно, что автор ещё не умеет как следует сколотить композицию. Но, в конце концов, русская литература всегда игнорировала строгую форму, не правда ли, всегда выламывалась из традиционных жанров... Это что такое? — строго спросил он. Пёс стучал хвостом о ковёр. — Прекратить».

«Критик, как вы понимаете, не совсем обычный читатель. Критик — это одновременно и читатель, и критик. Как бы ни показалось это тавтологией. Кушайте, не обращайте на меня внимания...»

Хозяин снова повернулся в кресле к гостю, положив ногу на ногу, покачивал меховой туфлей.

«Хочу вам сразу же сказать. Я готов и дальше обсудить с вами ваш, э... роман, это ведь всё-таки роман, не правда ли? Но если вы ждёте от меня содействия в смысле того, чтобы публиковаться, то, извините за откровенность, я вряд

ли вам буду полезен. Ко мне обращаются молодые писатели, я всем отказываю... ну, может быть, за немногими исключениями. Так что не ждите от меня ни рекомендательных писем, ни звонков в редакции... Но мне почему-то кажется, что вы обратились не за этим. Или, во всяком случае, не только за этим, ведь правда?»

«Конечно», — сказали из рамы.

Критик вновь покосился на портрет.

«Видите, он ответил за вас... Я позволю себе вести с вами разговор, так сказать, с двух точек зрения. Допустим, вы принесли рукопись в журнал, к примеру, в "Новый мир". Хороший журнал, как сейчас говорят — либеральный. Можно, конечно, и к ним предъявить кой-какие претензии, но не об этом речь... Как бы то ни было, напечататься там — большая честь. Так вот. Что вам ответит серьёзный, квалифицированный, съевший зубы на своём деле редактор?»

Он взглянул на писателя и прищурился. Следствие продолжалось.

«Ну, разумеется, он похвалит вас, осторожно, слегка, чтобы вы не зазнались. Скажет, что вещь нуждается в доработке, такую-то главу надо переписать, такую-то совсем, может быть, выкинуть. Ну там, усилить звучание, приблизить к современности. Может быть, даже укажет вам на неудачный выбор главного героя, литература должна заниматься не литературой, а жизнью, если писатель пишет о писателе, значит, что ему нечего сказать... А в заключение... — Олег Михайлович улыбнулся, — в заключение скажет, что редакционный портфель в настоящее время переполнен!»

«То есть, — не выдержал писатель, — незачем и соваться?»

«Правильно, — проворчал Лев Толстой. — Вали отсюда, пока цел».

«Нет, конечно. Так редактор не скажет. Во всяком случае, я предполагаю, что он прочтёт вашу вещь, что, скажем прямо, бывает не часто... И не у каждого найдётся время беседовать. Но мы с вами говорим о добросовестном редакторе. Не исключаю, что он разберёт с вами, в качестве примера, какую-нибудь отдельную тему. Допустим, главы о войне. Ваш герой переживает войну ребёнком. Сами вы на фронте не были, ведь правда? А я, между прочим, воевал. Так вот, как описана у вас война? Вы ни словом не упоминаете о том, что под Москвой была одержана победа, что немцев не только остановили, но и погнали прочь. Вы только описываете панику и хаос первых месяцев. Мало того — тут уж не только редактор, я сам просто не знаю, что сказать. К вашей старухе является немец, офицер, и заявляет, что Москва сдана. Что за бред? Позвольте вас спросить».

«Не знаю. Дело в том, что... — упавшим голосом отвечал гость, — я пишу, как бы это сказать... не только о том, что было. Но и о том, что могло быть. Так сказать, альтернативная история».

«Альтернативная. Так, так... Другими словами, вы допускаете, что дело могло обернуться так, что мы вполне могли бы проиграть войну. Я вам, уважаемый, вот что скажу. Если бы мы не верили в нашу победу, не напрягли все силы, а ещё лучше сказать — если бы мы не любили нашу родину, мы бы, возможно, и проиграли. Но этого не могло быть».

«Ну, хорошо, — вздохнув, продолжал Олег Двугривенный, — предположим, вы согласитесь эту главу выкинуть. А дальше? Ваш герой арестован, осуждён, попадает в лагерь. Спору нет, это страница нашего прошлого, трудная, мучительная страница. Но лагерная тема вас буквально поработила. Эти бесконечные возвращения. Выходит, что лагеря — это чуть не самое главное. Не только в вашей жизни, — в жизни нашего народа. Ведь именно так у вас получается, разве я не прав?»

«Не знаю».

«Вот так здорово; а кто же знает?.. Как будто ничего другого, ничего положительного, реального в эти годы не было. Против такого подхода и я бы, знаете ли, решительно возразил. Да и ничего нового вы не можете сказать, всё давно сказано».

Он смотрел пристально на арестанта. Гость торопливо дожёвывал бутерброд, ронял крошки. Лев Толстой негодующе тряс бородой.

«Мне кажется, я понимаю; что ж, сердцу не прикажешь! Мне кажется, вы просто не любите Россию».

Писатель тупо взирал на Олега Михайловича, повесил голову и неожиданно пробормотал:

«Тебя хвалить я не умею и крест свой бережно несу».

«Я тоже когда-то любил Блока, — возразил критик. — Да... И ещё одно. В вашем романе имеются интимные сцены. Конечно, литература имеет право коснуться разных сторон человеческой жизни, в том числе и закулисных. Но, помилуйте, разве так можно! Описывается новогодний бал. Я уж не говорю о том, что ваши комсомольские руководители, все до одного, выглядят какими-то чудовищами... Но что можно сказать об этой сцене, где этот, простите, забыл, как его имя... ну, не суть важно, где он насилует горничную, которая на самом деле не горничная, а проститутка и наркоманка, и всё это совершается на глазах у героя...»

Удручённое молчание.

«Мы несколько отвлеклись. Повторяю: всё это вам скажет редактор, если, конечно, найдёт время беседовать, но мы говорим о хорошем, терпеливом редакторе, с большим опытом, с тонким вкусом... А теперь скажу я. Скажу вам то, о чём редактор, возможно, просто умолчит. И что меня — лично меня! — просто-таки ошеломило».

Критик снова умолк, смотрел в окно.

«Н-да... — проговорил он, словно очнувшись, — где же это место... — Он листал рукопись. — Та-та-та... Тирим, тим-тим...»

Перевернул страницу, вернулся к предыдущей.

«Вот послушайте».

«К подследственному он относился неплохо, не бил, не сажал в карцер, говорил ему ты, иногда болтал от скуки, развалившись на диване, если дело происходило в главном кабинете, вероятно, одном из тех, что выходили прямо на площадь с памятником Рыцарю революции, там были дубовые панели, ковёр и особенные часы, нарисоваенные на стене, без цифр, как-то раз он включил радио, передавали музыку из оперетты “Табачный капитан”. Следователь был человек вполне ничтожный, тёмный и малограмотный, но какой-то ярко выраженный; когда он говорил, никогда нельзя было понять, лжёт он или говорит правду; чаще он всё же лгал, потому что одна из задач его работы состояла в том, чтобы путать и сбивать с толку, и держать обвиняемого в постоянном неведении относительно чего бы то ни было, но лгал он также без всякой нужды, по привычке или ради удовольствия. Следователь был воплощением Зла, но какого-то слишком уж приземлённого зла; был очень русским человеком, с открытым и довольно приятным лицом, с простоватым и одновременно хитрым взглядом и этой способностью неожиданно переходить от суровой официальности к балагурству и амикошонству. О нём невозможно было сказать, дурак он или себе на уме, навеселе или трезв, он был и прост, и непрост, в нём была необычайная скользкость; иногда он напоминал сумасшедшего. Что-то соображал, любил подмигивать, вдруг мог ляпнуть какую-нибудь гадость.

Любил такие словечки, как мура, лады, чин-чинарём, замнём для ясности, себя называл с ироническим самодовольством: мы, разведка, и, само собой, безустали матерился».

«Что скажете?» — осведомился Олег Двугривенный.

«Ничего, — сказал писатель. — Похоже на правду. Они все были такими».

«Здесь чёрным по белому стоит: очень русский человек. Все они такие. Н-да. Но ещё цветочки...»

«На что пригодилась мне моя жизнь? На то, чтобы разобраться в потайных механизмах общественной жизни — отколупнуть крышку часов и увидеть, как поворачиваются колёсики, от которых зависит движение стрелок? И разгадать смысл российского мифа, эту сказку о добром, прямодушном, наивном и бесхитростном народе?»

«Я это место выкинул».

«Позвольте, у меня в руках ваша рукопись».

«Я... в окончательную редакцию это не войдёт... — лепетал гость. — Там, очевидно, слишком много рассуждений. И, кроме того, это говорится от имени героя, а не автора. Говорится под настроение...»

«Разумеется, разумеется... Но вы всё-таки послушайте...»

«Никто, о Боже, — читал Олег Двугривенный, — не представляет себе, каким странным и страшным существом может быть русский простонародный человек, — разве лишь тот, кто прожил жизнь в нашей стране, трясся по её дорогам и пробирался вдоль поломанных заборов, мимо покосившихся изб, где живут на четвереньках, ходят на четвереньках и с порога, стоя на четвереньках, кланяются начальству. В стране, где ежедневно бездарность и тупость ведет прицельный огонь по всему смелому и человечному. Где каждые тридцать лет нация хором совершает обряд самооскопления, так что поневоле изумишься, откуда всё ещё продолжает рождаться это живое и человечное...»

«Надо знать его, этого человека, — читал он, — жить с ним на одной земле, чтобы видеть, как он фантастически силён и выносливв, ибо за много веков сумёл вытравить в себе уязвимое, хрупкое. *На хуя мне!* Так прямо и написано».

Он продолжал:

«Надо знать его... те-те-те... Тут не распущенность только, как расстёгнутая ширинка: в этом лозунге всё мировоззрение, вся жизненная философия русского человека, не желающего ничего для себя, но зато и никого не щадящего; здесь вся бездна презрения ко всяческой утончённости, физической слабости, духовной жизни, к вере в добро, словом, презрение к культуре, на этом презрении зиждется у него всё. Вечно нетрезвый или одержимый мечтой о выпивке, он готов помыкать всяким, о котором он подозревает, что того есть тайная слабинка, заветная святыня, — у него же заветного нет. Всё — *хуйня...*»

«Ну, знаете... Право же, не понимаю! К чему эти нецензурные выражения?»

«...всё — пустые слова: верность, любовь, привязанность, этот человек пойдёт и предаст брата, изобьёт до полусмерти жену, отшвырнёт сапогом собаку, бросит детей на произвол судьбы — и всё это ради чего? За бутылку, из гонора, а ещё больше ради того, чтобы насмеяться над самим собой, ведь для него нет большей сладости, как унизить себя, поиздеваться над собой и заодно над всем светом. Раб в душе, он считает себя выше других народов, потому что знает: никто не дойдёт до последней точки, а он дойдёт; никто в последнюю минуту не окажется так страшно свободен, как этот раб, ни в ком абсурд не победит окончательно. А он, на крайности, в порыве безумного вдохновения пойдёт на всё: жестокая российская жизнь именно так и устроена, что доводит его до этой

крайности; изрыгая чудовищный мат, он сожжёт себя или раздерёт грудь в сумасшедшем восторге, хоть стреляй в него, — во имя абсурда. Потому что абсурд — это и есть его бог».

«Это что, — спросил критик, — разве это роман? Это трактат какой-то. А вернее, пасквиль!».

«Хотите почувствовать в полной мере русскую жизнь? — нырните в неё со всего размаху, чтобы стукнуться головою о дно. Сказано: „Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, не находя покоя. Тогда говорит: возвращусь в дом мой. И, придя, находит его незанятым. Тогда берёт с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого“. Вот когда вам захочется удавиться у постели несчастного бесноватого, вот тогда вы и узнаете, что собственно значит быть исцелителем».

Олег Михайлович тяжко вздохнул.

«Отношение к войне, как вы говорите, альтернативная история, то да се... ладно, это ваше дело. Но вот это!» — он швырнул папку на стол.

«Я собираюсь кое-что переделать...»

«Попрошу меня не перебивать. Вы, любезнейший, ненавидите Россию, вот что я вам скажу. То, что вы здесь пишете, это... это...»

Не окончив фразу, Олег Михайлович взглянул на часы и устремил взгляд в пространство.

Какого лешего, думал он, я трачу время с этой сволочью.

«Скажите... — снова заговорил он, — это так, между прочим... Кто-нибудь знает о вашем визите ко мне?»

Писатель смотрел в пол.

«Так вот: мой вам совет».

Критик аккуратно выровнял стопку машинописных листков, закрыл папку, завязал верёвочки. Вручил посетителю.

«Засуньте её куда-нибудь подальше».

«Куда?» — спросил писатель.

«Куда-нибудь. И никому не показывайте. Если ещё не успели кому-нибудь показать... Ваш роман абсолютно непроходим. И даже ещё хуже».

«Можно многое простить, — продолжал он. — Даже критику системы. Но клевету на русский народ, которому выпали на долю такие бедствия... Да что там говорить».

«Как я понимаю, мне надо бросить литературу».

«Бросить? Я этого не говорил. Но, конечно, *такую* литературу... Как вы этого не понимаете?»

Тщетно ждать ответа от подсудимого, да и какой может быть ответ. Из портретной рамы слышится бормотанье, глубокий вздох.

«Ах вот оно что, — сказал Олег Двугривенный. — Вы в самом деле думаете, что это выход?»

Впрочем, чему же тут удивляться, подумал он.

«Не знаю. Я, собственно, об этом не думал».

«Вы, кажется, сидели? Да, похоже», — ответил хозяин как бы самому себе и снова взглянул на часы.

Пора было сматываться.

«Появился тамиздат. Я говорю о заграничных изданиях... Появился и самиздат. Рискованное дело, что и говорить, но некоторых соблазняет. Чаще всего это совершенно бездарные люди... А кончается тем, что подают на выезд. Вы,

кстати, прошу прощения... еврей? С одной стороны, это не так просто, вы правы. А с другой стороны, времена меняются... Прекратить! А ну пошёл отсюда вон».

Оба, писатель и пёс, смотрели на хозяина. Мохнатый зверь встал и поплёлся к дверям. Олег Двугривенный смотрел ему вслед.

«Я могу вам определённо сказать, что это не выход. Конечно, при вашем отношении к родине...»

Гость осмелился прервать его: «Вы что, действительно думаете, что я отношусь...?»

«Да ничего я не думаю, — сказал с досадой Олег Двугривенный. — Просто я хочу сказать, что никому мы там не нужны. Нашему брату там нечего делать... А главное, русский писатель не имеет права бежать под предлогом того, что его зажимают, не дают печататься, то да сё. Талант — настоящий талант! — всегда пробьёт себе дорогу. Каждому сбудется по вере его, как говорил Михаил Булгаков, слыхали про такого писателя?»

«Да, — продолжал человек в кресле, — чего уж тут греха таить, есть у нас бюрократы, окололитературные чиновники, которые считают себя вправе распоряжаться литературой. Порой приходится итти на уступки... Таковы правила игры, ничего не поделаешь. Вы думаете, *мне* легко печататься? Но я убеждён, что достойней остаться со своим читателем, пусть даже ценой каких-то потерь, чем, знаете ли, итти на поклон, искать лёгкой жизни, да и какая там жизнь... Мне доводилось бывать за границей. Мы там никому не нужны... Здесь наша родина, дорогой мой. Наш язык, наши могилы... Одним словом, я хочу сказать, что долг русского патриота нести факел здесь, а не где-то там, где нас не знают и не понимают. А с властью, знаете ли, всегда можно договориться».

Дивный воздух, в сосновом бору сухо, чисто, свежо. И, право же, лучшего времени года не бывает, лучшего места на земле на найдёшь.

XLIII
Время идёт всё быстрей, предваряя развязку

22 февраля 1977

Две ночи, на Западе и на Востоке, встают одна другой навстречу. Всё тонет, всё забывается.

Некогда в переулке у Красных Ворот стоял угловой дом, в комнате, смотревшей во двор, на первом этаже, проживала бывшая дворянка, недобитая белогвардейская штучка, о которой рассказывали разное; потом туда вселилась её родственница, и о ней тоже говорили, после того как она исчезла, что она будто бы выскочила замуж за крупного осетра, будто бы получила срок по какому-то тёмному делу; говорили о наркотиках, говорили о подпольном публичном доме для высокого начальства; кто-то вроде бы видел Валю перед «Метрополем», где прохаживаются девы горизонтальной профессии, — постаревшую, густо накрашенную. Всё шатко, всё сомнительно было в этой квартире; появлялись и пропадали люди, чьи имена забыты и о которых теперь даже трудно сказать, действительно ли они жили на свете.

Fugaces labuntur anni![1]

[1] Уносятся быстротечные годы. (*Гораций*).

Пришли новые люди, для которых прошлого не существовало, хотя сами они отличались немногим от тех, исчезнувших; настали другие времена, которые, впрочем, оказались в некотором смысле прежними временами. Всё изменилось, квартира не изменилась. Когда после долгого отсутствия и разного рода бюрократических приключений составитель этой хроники вновь водворился в длинной, как пенал, комнате родителей, из которой прежние постояльцы унесли почти всю мебель, — в коридоре по-прежнему горела тусклая лампочка, стоял сундук с висячим замком, вращался диск в окошке электрического счётчика фирмы Сименс-Шуккерт, с твёрдыми знаками. Призрак слонялся по ночам, шумела вода в уборной, покойная баронесса следила, всё ли на месте, искала свои наставления, давно истлевшие, как и она сама.

И всё же нельзя сказать, чтобы всё успокоилось. В одну из таких ночей, точнее, тёмным ночным утром, накануне Дня Советской армии, в коридоре задребезжал звонок, один раз, и ещё, и всё настойчивей. Писатель в халате и шлёпанцах вышел из комнаты. Кто там, спросил он, и голос за дверью ответил: «Телеграмма». Он спросил, кому телеграмма, была названа его фамилия; он ещё не вполне проснулся, чем и объяснялось притупление бдительности. Едва только, сняв цепочку, он успел приокрыть парадную дверь, как кто-то с силой толкнул её, с площадки выскочили из тёмных углов мужики, их было семеро, и впёрлись в коридор, натыкаясь в полутьме на сундук, хранивший квартиру от несчастий. В комнате писателя стало тесно, зажгли свет. Это были «понятые» — слово неизвестного происхождения и неясного значения; среди гостей он разглядел и управдома.

Для начала было предложено сдать оружие.

«Перочинный нож?»

Командир усмехнулся, показывая, что он ценит юмор.

«Между прочим, — заметил писатель, — я реабилитирован».

«Это мы знаем».

«Могу предъявить справку облсуда».

«Незачем», — возразил человек со служебной физиономией без особых примет, который вдобавок никак не представился. Романтика былых времён выветрилась, рыцари с льдистыми глазами, в долгополых шинелях, вымерли, не стало больше фуражек с голубым околышем, портупея, петлицы, щит и меч на рукаве гимнастёрки, скрипучие сапоги — всё ушло в прошлое. Человек был в штатском, при галстуке и с университетским ромбом на лацкане пиджака.

«Всё знаем», — уточнил он, пряча в карман ордер на проведение обыска. Зачем же тогда, возразил писатель, коли и так всё известно. Что известно? — спросил следователь. То, что знаете, сказал писатель. А это мы сейчас подтвердим, сказал следователь, компания кое-как разместилась, кто опустился на неубранную кровать, кто пристроился к столу, на котором стоял множительный аппарат, в просторечии — пишущая машинка, а кто и просто сидел на полу. Следователь стоял перед грубо сколоченными стеллажами, брал одну за другой книжки и ронял на пол.

«Всё по закону, — говорил следователь, листая и бросая книжки, — это вам не прежние времена».

«Закон?» — переспросил писатель. Что такое закон? — хотел он задать вопрос, подобный вопросу римского прокуратора. Но, как Пилату не дано было знать, что есть истина, так и тебя не удостоили бы ответом. Следователь разглядывал иностранную книгу в переплёте со стёршейся позолотой.

«Пруст, — уныло сказал хозяин. — Французский писатель. Он давно умер».

«Кто такой Пруст, мы знаем, — возразил человек, окончивший юридический факультет, — откуда это у вас?» — и, не дожидаясь ответа, сунул книгу в служебный портфель.

Ворох исписанных бумаг был ссыпан туда же, следователь озирал жильё, голизна которого облегчила его задачу. Понятые покашливали, как публика на скучном спектакле. В коридоре прокрались, тактично прошлёпали шаги — квартира уже не спала.

Следователь показал пальцем на шкаф, единственное родительское наследство. Хозяин покачал головой. Ключ, сказал следователь. Потерялся, ответил писатель. Ну что ж, промолвил следователь, извлёк из портфеля отвёртку, и после некоторых усилий створки распахнулись. Там висели на плечиках старые платья матери, пиджак довоенных времён, внизу, на фанерном дне стояла швейная машина. Повозившись с отвёрткой, следователь поднял крышку футляра.

«Ага, — сказал он, поднимаясь с колен, — вот это другое дело», — и помахал в воздухе добычей. Писатель пожал плечами. «Ай-яй-яй!» — укоризненно сказал управдом, а следователь, ликуя, сорвался с места и пустился в пляс. Теперь, наконец-то, на нём были, вместо скучных штатских брюк, синие крылатые штаны, мундир с золотыми погонами, и на рукаве блестел золотой меч государственной безопасности! Он притопывал глянцевыми сапогами, хлопал себя по груди, по бёдрам, раскинув руки, пошёл павой, выкидывая ноги, пошёл вприсядку, понятые били в ладоши, а писатель, играя бровями, притопывал и бренчал на откуда-то взявшейся гитаре. В дверь заглядывали ухмыляющиеся лица. Следователь, не переставая выкидывать коленца, подъехал к хозяину, манил к себе, подбадривал, писатель приосанился, сунул кому-то гитару, щёлкнул пальцами, хлопнул в ладоши и пошёл, помахивая полами халата, шлёпая тапочками, навстречу следователю. Й-эх! Эх!

«Нет уж, — сказал следователь, усевшись за стол, и отщёлкнул портфель, чтобы достать бланк протокола, — объясняться будете в другом месте».

«Я не понимаю».

«Вот там и поймёте».

«Да в ней ничего такого нет», — говорил писатель, показывая на книжку в бумажном переплёте, извлечённую из швейной машины и теперь лежавшую перед исполнителем закона.

«А где издана? — парировал следователь. — Не прикидывайтесь дурачком. Кто автор, не вы ли?»

«Ай-яй-яй», — повторил управдом.

«Понятия не имею, кто это такой», — убеждённо сказал писатель.

«Откуда же она у вас?»

«Подумать только!» — сказал управдом, собачьими глазами глядя на следователя.

Писатель не пожелал подписывать протокол, несмотря на неопровержимость улик. Пишущая машинка была уложена в чёрный холщёвый мешок вместе со всеми бумагами; что касается главной улики, то она была бережно упрятана в портфель, где уже покоился Пруст. В заключение была вручена повестка. Жильцы сидели в своих норах. Хлопнула парадная дверь. Робко выглянуло из-за крыш золотушное солнышко. Команда вышла в переулок. Управдом отправился по своим делам, свита понятых разошлась. Следователь положил портфель и мешок на заднее сидень, уселся рядом с шофёром, заурчал мотор, внутренности изрыгнули дым, экипаж покатил по Козловскому к Чистым Прудам и далее вдоль трамвайного пути, повернул на улицу Кирова, к площади имени

Рыцаря революции, лишний раз подтвердив пословицу о том, что все пути ведут в Рим.

Оставшись один посреди разорённой комнаты, писатель погрузился в думу. Нужно сознаться, ночное вторжение застало его врасплох. Разумеется, непонимание, зачем понадобилось представителю власти умыкнуть книжку с псевдонимом на обложке, все эти голубые глаза, были чистым лицемерием, другое дело, содержится ли там что-нибудь «анти». Что-нибудь такое —масляные глаза следователя — противозаконненькое. Что такое закон? Закон есть совокупность инструкций, по которым надлежит творить беззаконие. Но беззаконие — слово, которое в русском языке означает закон. Ах, не всё ли равно.

Был или не был злополучный роман вредным, антинародным, клеветническим, подрывным — какая разница? Нелегальный писатель по определению не является писателем. Литература без разрешения — это, простите, уже не литература, это преступление, незачем даже заглядывать в книжку, изданную «там», достаточно одного этого факта, и теперь наша задача — выяснить, какими путями роман попал за границу.

А вот этого вы никогда не узнаете. Писатель злобно усмехается.

Но что это за время, когда темой литературы становится вся эта чушь, эта призрачная деятельность: обыски, допросы, протоколы, копошение мух в паутине. Вместо того, чтобы писать о подлинной жизни — о жизни души. О человеческом уделе, о любви и смерти.

Он думает о том, что через каких-нибудь десять, пятнадцать лет от него, от всей этой словесности, которую кто-то уже успел наименовать Литературой Нравственного Сопротивления, не останется и следа. Останется ли вообще кто-нибудь — что-нибудь — от нашго времени?

Однако злорадная ухмылка, в которой не мог отказать себе автор этой хроники, означала и кое-что другое. Он подходит к раскрытому шкафу: старые платья матери, отцовский пиджак. Смотрите-ка, им в голову не пришло! Ведь искать можно только то, что спрятано. А тут достаточно было сунуть руку в карман пиджака и вытащить.

Дорогой сын, ты будешь удивлён.

Да, время как-то уж очень замедлилось в этой квартире, ленивый русский Бог, похожий на деревенского священника, зевая, слез с полатей, зашлёпал босыми ступнями по своей избе и подтянул гирьки ходиков. Маятник встрепенулся, часы пошли чуть быстрее.

XLIV
Призрак или не призрак — это как посмотреть

Тот же день, канун праздника Вооружённых сил

Не так-то просто было отыскать свой состав в суматохе и толчее, под гром победной музыки. В толпе они потеряли друг друга, наконец, он увидел маму, она стояла перед пульмановским вагоном с рюкзаком за плечами, с чемоданом и швейной машиной у ног, искала глазами подростка, всю ночь собирали вещи, распаковывали и снова упаковывали, разрешалось брать 25 килограммов на человека, но она непременно хотела взять с собой и то, и это, и, конечно, машину. Всё на свете пережила швейная машина, и войну, и мать, и теперь стояла, раскуроченная, в шкафу. Мальчик протиснуся к вагону, загремела и

поехала в сторону широкая раздвижная дверь, открыв широкий просвет, и началась сумасшедшая посадка: кто по приставной лесенке, кого просто подтягивают, втаскивают внутрь чьи-то руки. Справа и слева помост из неоструганных досок, но когда удалось, наконец, взобраться, нары были уже заняты, люди сидели на полу, посредине громоздился скарб.

Они выглядывали из вагона, искали в толпе и почти уже потеряли надежду, как вдруг он появился, он успел придти в последнюю минуту, в последний раз подросток видит отца. Гремят над вокзалом, перекрывая многоголосый говор, репродукторы. *Вставай, страна огромная...* Где-то там армия отбивается и отступает, и красноармейцы толпами сдаются в плен, никто об этом не знает, ничего толком не разобрать, и вдруг оказалось, что моторизованное полчище уже приблизилось к Смоленску, катится, как океанский вал, к Москве.

Протяжный свисток, вагон дёрнулся, гром столкнувщихся буферов прокатился по составу. Отец медленно отъезжает, машет рукой.

Дорогой сын...

Внезапно, как колокол, квартирный колокольчик. Один звонок. Столько-то раз положено звонить каждому из жильцов, один звонок — общий.

Я и сам не перестаю удивляться всему, что произошло. Долго сомневался, имею ли я право подвергать тебя риску, напоминая о себе.

Тишина, в коридоре никакого движения. Никто не выходит открывать. Квартиросъёмщики напрягают слух в своих норах. Не вылезают, понимают, кто там. Особый приём расследования: дать подозреваемому передохнуть, дать ему почувствовать себя в безопасности — и вдруг вернуться! А тот тем временем извлёк ненайденную улику из тайника. Следователь вспомнил, что забыл пошарить в карманах пиджака. Подсказал инстинкт ищейки, что не всё ещё нашли. Подследственный заметает следы. Писатель мечется по комнате, ища куда бы засунуть письмо. Книжка — дело второстепенное, а вот письмо — это уже посерьёзнее. Возможно, они подозревали о существовании письма; не исключено, что кто-то узнал, донёс, какие-то сведения просочились; удобнейший момент застать на месте преступления. Пришли не за чем-нибудь — за письмом. Пришли не только за письмом. Пришли за ним. Тёмная, с непрозрачными стёклами машина ждёт у подъезда.

Вот теперь тебя по-настоящему охватил страх.

О чём речь? В конце концов, если уж на то пошло, и письмо — не причина, а повод. Тот, кто однажды хлебал лагерную баланду, будет жрать её снова. Да, снова и, может быть, в самом близком будущем. Для того, кто там побывал, срок не кончен. Срок никогда не закончится. Кончилась только оттепель — сколько их было, и сколько их будет. Маятник качнулся влево, качнётся вправо. Пора назад. Ну-ка выкладывай свой паспорт, он тебе больше не нужен. Пора *домой*. Место на нарах найдётся, пайка — за тобой. Ибо лагерь — это и есть наш дом, наше подлинное отечество, и ты, вольоотпущенник, неужто до сих пор не сообразил: этот трепет, это ожидание, когда за тобой придут снова, на самом деле — не что иное, как тоска по лагерю, по тройному ряду колючей проволоки, по вышкам и прожекторам, по нарам, по крысиному бегу на рассвете между шпалами узкоколейки, по звёздным ночам и Ковшу над тайгой.

И, словно зачарованный, онемев, он видит, как медленно отворяется дверь и глубокий старик стоит на пороге. Очевидно, соседи впустили в квартиру, если только, он сам каким-то образом не отомкнул парадную дверь и прошёл, незамеченный, по коридору.

«Т-сс!» — прошептал гость, быстро оглянулся и притворил за собой дверь комнаты родителей.

«Ты... — пролепетал писатель, — у тебя свой ключ?»

«Какой ключ?»

«Как ты открыл дверь?»

«Как — дёрнул за ручку и вошёл».

«Нет, как тебе удалось войти в квартиру?»

«Вот так и удалось. Ты удивишься... я сам не устаю удивляться».

Вошедший растерянно озирался и вместо старых, верных вещей видел разбросанные по полу книжки, растерзанный шкаф, вместо кровати алюминиевую койку-раскладушку со скомканным одеялом, вместо люстры свисающий с потолка провод с голой лампочкой, видел всё это безобразие.

Покончив с осмотром, он вперился в углы потолка, в остатки лепнины, искал что-то, хлопнул в ладоши раз-другой.

«Клопов нету?» — спросил он.

«Клопов?»

«Ну да... Комната не прослушивается?»

И ещё раз ударил в ладоши, но ожидаемого эха не последовало.

«Что же ты стоишь?» — спросил сын.

Отец направился к столу, снова поднял глаза к потолку, где всё ещё висела перекладина для занавеса, некогда делившего комнату пополам.

«Понимаешь, — лепетал писатель, — у меня был обыск, не обращай внимания...»

«Обыск, ага. Наверно, из-за меня?»

«Почему же... не думаю. Кто же мог знать?»

«Узнали, наверное, — вяло возразил отец. Он сидел боком к столу на табуретке, сын опустился на койку. — Ну, если были, значит, не придут».

«Я-то был уверен, что это они снова».

«Был уверен. Уг-м».

«Это такой метод, — объяснил сын, — вроде бы ушли, и вдруг шасть — вернулись!»

Гость смотрел в окно. Напротив, наискосок от дома — особняк чехословацкого посольства, сад за глухой каменной стеной. Короткий Боярский переулок ведёт к Садовому кольцу. Сумрачный полуживой день.

«Искали, искали, самого главного не нашли».

«Письмо, что ли?» — спросил отец, по-прежнему не отрывая глаз от окна.

Писатель потёр лоб.

«Надо бы всё-таки, — пробормотал он, — разобраться».

«Разобраться, в чём?»

«Да во всём этом...»

«Не ломай себе голову, — сказал отец, — ничего тут не поймёшь. А уж с этой сволочью и подавно не разберёшься. — Он добавил: — Я думаю, они и сами толком не знают, чего хотят».

«А я уж было решил, что они вернулись... это у них такой приём, сделать вид, что ушли... Ладно, — сказал писатель, — хрен с ними».

«Полностью разделяю твоё мнение. Насрать на них».

«Письмо было для меня полной неожиданностью».

«Я с оказией послал. Долго сомневался, стоит ли мне вообще напоминать о себе...»

«Выходит, ты остался в живых. Сколько лет прошло. Почему от тебя так долго не было вестей?»

«Почему... Сам должен понимать, не маленький».

«Мама умерла».

«Знаю, знаю...»

«Значит, ты всё-таки жив».

«До некоторой степени».

«Как же ты смог вернуться?»

«Сюда? Вот так и вернулся. Долго объяснять».

«Надолго?»

Отец покачал головой. Он был сед, в нищенском одеянии, с длинной неопрятной бородой, но теперь уже не казался таким старым.

«Времени мало. Надо мотать отсюда, а то заметят. Если уже не просекли, это у них просто делается...»

Не совсем понятно, кого он имеет виду, «их» или соседей. Или всех вместе, то есть что соседям поручено следить? Это было бы наиболее логичным. Он показал глазами на дверь. Писатель вскочил, подкрался и толкнул дверь. Никого в коридоре не оказалось. Ни звука на кухне. Тоже, конечно, подозрительный знак.

«Та-ак, — опускаясь на раскладушку, проговорил писатель. — Что ж... Возможен и такой вариант».

Гость не понял.

«Я говорю, возможен и такой поворот, — сказал сын, — я имею в виду роман».

«Какой же может быть поворот. Книжка твоя напечатана. Я, по правде сказать, не сразу догадался; это что, псевдоним? Или, может, это не ты?»

«Я, — сокрушённо сказал писатель. — А может, и не я. То есть я, конечно, — поправился он. — А насчёт сюжета... Переделать никогда не поздно. Я и так всё время то вычёркиваю, то добавляю... Представь себе, эти крысы стащили у меня все бумаги. И машинку унесли... И ещё неизвестно, что за этим последует».

«Что последует — известно что. Мало тебя учили».

Сын развёл руками, как будто хотел сказать: горбатого могила исправит.

«Но расскажи хотя бы, что с тобой случилось, ведь считается, что ополчение погибло... разве только очень немногие...»

Отец усмехнулся.

«Вот я и есть эти немногие. Тебя это действительно интересует?»

«Интересует».

«А по-моему, ты каким был, таким и остался!»

«Каким?»

«Чужим. Ты никогда меня не любил».

«Как и ты меня».

«Я?» — удивился гость.

«Конечно. И ты, и мама — вы оба меня не любили».

«Почему ты так думаешь?»

Сын пожал плечами.

Помолчали; должно быть, отец угадал мысли сына.

«А кстати,— проговорил он, — эта дворянка, что с ней стало?»

«Умерла».

«А, ну да, конечно...»

Снова пауза.

«Между прочим, — сказал отец, — у тебя могла бы быть сестричка».

«Сестричка?»

«Мама была беременна».

«Вот как».

«После аборта долго болела, ты этого, конечно, не помнишь... А может, и к лучшему, что не родила».

«Да, — сказал сын. — К лучшему».

Пауза.

«Где она лежит? Всё равно не смогу её повидать. Ты-то хоть у неё бываешь?»

Сын пробормотал:

«Нет, я ужасно тебе рад... Просто не могу опомниться от такой неожиданности... Но всё-таки. Как тебе удалось?»

«Вот так и удалось. Я же тебе написал».

«Там слишком кратко!» — простонал писатель.

Сумрачный день, солнце, едва блеснув, заволоклось серой ватой.

XLV
Или всё-таки реальное лицо?

Тот же день, продолжение

«Я поставлю чай».

«Никаких чаёв! Как произошло... Вот так и произошло, хочешь верь, хочешь нет. Ты хоть, когда война началась, помнишь?»

«Конечно, помню, — сказал писатель. — Очень даже хорошо помню этот день».

«Речь этого мудака помнишь?»

«Речь Молотова? А как же. Вот на этом месте стоял буфет».

«Верно».

«На нём стоял рупор, чёрный, из картона. Мы с мамой слушали».

«А потом, первые недели?..» Гость вздохнул, махнул рукой, не дождавшись ответа, как будто хотел сказать: может, и помнишь, да ничего не знаешь.

«Все записывались, — сказал он, — я тоже. Конечно, если серьёзно, какие это были добровольцы? У нас вообще ничего добровольно не делается. Некоторых так даже просто хватали на улице, приказ — в ополчение, и точка; попробуй откажись. Но я тебе так скажу, настроение было, — не у всех, конечно, у многих, — настроение такое, что надо! Немец наступает. Надо любой ценой остановить. Ты ведь не помнишь, что было перед войной».

«Почему же, прекрасно помню».

«Что ты можешь помнить... У тебя в этой книжке столько наворочено, но ведь это же всё из пальца высосано!»

«Ты разве читал?»

«Читал, а как же».

«Где же ты её увидел?»

«Там, где ж ещё. Увидел и купил».

«Откуда ты знал, что это я?»

Отец усмехнулся.

«Я теперь всё переписал заново, — сказал писатель. — Но они у меня всё отняли. А вообще-то не всё высосано».

«Ладно, не обижайся. Что я хотел сказать... Перед войной. Ведь что говорилось. От тайги до британских морей Красная Армия всех сильней. Малой кровью, могучим ударом. Ни одной пяди своей земли! Ведь это годами, изо дня в день, с утра до вечера. Пели и гремели. Надо готовиться к войне, надо подтянуть кушаки. Опять же эти парады. Думали: да, надо потерпеть, зато у нас самая сильная армия, в два счёта справимся с любым врагом. Эти песни... — Бородатый гость сморщился, схватился за голову, словно от боли. — Полетит самолёт, застрочит пулемёт. И помчатся лихие тачанки! Это они собирались на тачанках с немцами воевать. Не скосить нас саблей острой... Кто это в наше время воюет с саблей? Будённый со всей своей кавалерией обосрался. Гуталин вообще куда-то слинял».

«Лихо выражаешься, — заметил писатель. — Где это ты научился?»

«Научишься... Короче, что хочу сказать: настроение было такое, что —хватит. Теперь не до упрёков, что было, то было и быльём поросло. Тридцать седьмой год, раскулачивание, всё надо забыть. Не до этого теперь. Так что, с одной стороны, за всеми следят, кто что сказал, кто не верит в нашу победу, увиливает, кто ещё не записался добровольцем. А с другой — всем ясно: надо, и ничего не поделаешь. Митинг, тут же и райкомовские деятели, и эти, конечно, фуражки с голубым околышем, только оставили свои фуражки дома. В общем, по одной только Москве чуть не двести тысяч подали заявление. Может, и больше... Прямо с митинга — на пункт формирования районной дивизии нашего Куйбышевского района. Три часа на сборы; еле-еле успел прибежать к вам на вокзал, попрощаться. Кавардак был невероятный. Немец рвётся к Москве, может, уже совсем близко, никто толком не знает, сводки — сплошное враньё, все только догадываются, да что там догадываются — знают, а заикнуться никто не смеет: паникёр — и под трибунал. Засиделся я, пора итти», — сказал отец.

«Побудь ещё немного».

«Взгляни-ка ещё разок, на всякий случай».

Писатель вышел в коридор, выглянул на лестничную площадку.

«Никого», — сказал он, возвращаясь.

«Я о тебе беспокоюсь. Со мной-то они что могут сделать, — ничего».

«Ты так думаешь?»

«Чего тут думать. Меня ведь всё равно что нет. — Пауза. — Да, так вот... Войско — смех один: кто в чём. В пиджачках, в штиблетах, в летних туфлях белых, как тогда носили, их надо было чистить зубным порошком. Сперва отправили на рытьё окопов. Где-то уж не помню где; под Рузой, что ли. Никакого обучения, вместо оружия лопаты. Через неделю выдали обмундирование. Что такое бе-у, знаешь?»

«Бывшее в употреблении».

«Так точно, тебя учить не надо. Сапог вообще не выдали. Ещё через неделю пришла партия винтовок, мосинских, образца девяносто первого дробь тридцатого года. Это же смех! Начали учить устав. Зачем учить устав, если никто почти что за всю жизнь ни одного выстрела не сделал? Хорошо ещё, что оставалось несколько дней до отправки на фронт. В общем, худо-бедно научили разбирать оружие, заряжать, стрелять по мишеням. Так что мы, например, смогли даже отразить первую атаку противника, сумели организованно отступить...»

«Я, наверно, многое путаю, — сказал отец, — давно было дело... К чему это я всё говорю? Дивизию прикомандировали к 32-й армии. На дворе осень,

октябрь, ночи холодные. А мы в лёгких шинелишках. Да и немцы тоже. Думали к сентябрю вообще всё кончить... Это на наших-то дорогах... Споткнулись, реорганизовались — и снова наступление. Это я уже потом узнал, два танковых клина врезались с двух сторон, один с юга, другой с севера. За ними моторизованные корпуса. Ставка запретила отход. Сколько там народу полегло, один Бог знает. Оба прорыва соединились. Все оказались в котле, не только ополченцы, но и вся 32 армия резервного фронта, и ещё одна, 24-я, и в придачу три армии Западного фронта».

«В котле?»

«Это у немцев так называлось. В окружении. Сперва вроде бы поступил приказ пробиваться на Сычевку, на Гжатск. Пытались прорваться, этот прорыв дорого обошёлся. А тут и вовсе связь со штабом прекратилась. Нам всё говорили, идёт помощь, а на самом деле командование бросило нас на произвол судьбы. Кругом леса. Пошли разговоры, что немцы никого в плен не берут, считают, что всё ополчение состоит из комиссаров и евреев. Сдаваться бессмысленно. Да и вообще от всего московского ополчения остались только отдельные отряды. Не отряды даже, а кучки полузамёрзших людей. Под Ельней полегло всё наше ополчение».

Тишина, книги по-прежнему лежат на полу, створки шкафа распахнуты настежь. За окном сыплется снег. В самом деле, не надо ломать голову, потом разберёмся. А вот закусить бы не мешало, ты тоже, наверное, проголодался, бормочет писатель. Сбегать на кухню.

«На кухню не сметь. Потерпишь».

«Никогда не думал, что тебя увижу».

«Я тоже не думал».

«Далеко тебе ехать?»

«Чем дальше, тем лучше».

«Я тебя провожу».

«Ни-ни».

«Ничего со мной не будет. Или ты сам боишься?»

«Я? — спросил отец. — Меня нет и не было, заруби себе на носу. Ведь это самое логичное, а? Самое правдоподобное».

«Так-то оно так».

«Я погиб за Родину в октябре сорок первого, — сказал гость торжественно и даже не без некоторого самодовольства. — Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей... Все приказы так заканчивались. Вы похоронку получили?»

«Не знаю... мама об этом ничего не говорила».

«Не получили. Да какие там похоронки. Не до того было... Пал за Родину, а где похоронен, хрен знает, может, под Ельней, а может, на Северном полюсе... И сколько нас было, и где мы лежим, никто не знает и никогда не узнает... Никто нас не хоронил, не до того было. Пали, и пускай лежат. Умер Максим, и хрен с ним. Весной снег сойдёт, вороны расклюют. Ворон знаешь сколько в том году развелось?»

От густого снегопада в комнате стало сумрачно, поблескивали сумасшедшие глаза гостя.

«Говорилось, пять дивизий народного ополчения, может, пять, а может десять, — а где они? Нас всё равно что не было».

«Дальше», — попросил писатель.

«Зачем тебе? Хочешь обо всём этом написать? Ну, валяй, пиши. Сочиняй! Всё равно ничего не получится. Об этом писать невозможно. Кто там был, не расскажет, а кто захочет написать, выйдет неправда».

«Ну, а всё-таки».

«Всё-таки... Сначала шли кучками, старались только не потерять направление — на Восток. Шли, шли, одного нет, другого нет. Потом я вовсе остался один. В одной деревне попросился ночевать. Хозяйка с детьми на полатях, мужа нет. Положили меня на лавке. Только было задремал, постучали. Да как ещё постучали! Входит патруль: офицер и два солдата. Ищут партизан. Я тогда ещё не говорил по-немецки, но кое-что понимал. Немец, видимо, знал немного по-русски, спрашивает: это кто? Хозяйка, вечно буду её помнить, отвечает: здешний, из нашей деревни. У меня отросла борода, весь оборванный, вполне могу сойти за колхозника. Почему не у себя дома? А у него дом сгорел. Почему в военном? Хозяйка объясняет: был мобилизован, дезертировал, не хочет с вами воевать. Пошли! Привели в штаб. А там...»

«Как! — вскричал писатель. — Вернике?»

«Какой ещё Вернике».

«Ты же говоришь, читал... — Он ходил взад-вперёд по комнате. — Так значит, — бормотал он, потирая лоб, — вопреки всему, вопреки всякой вероятности и даже вопреки моему замыслу... ты жив».

«Можно считать и так», — сказал отец и развёл руками, как бы извиняясь.

Февральский снег валит густыми хлопьями, пурга разгулялась, исчезли дома, не видно перекрёстков, и фигура странного визитёра растворяется, тонет в белой каше.

XLVI
Генерал Колесников

Окончание

Писатель не знал (и никто не знал), что почти в ту же в ту минуту, когда отец выходил из подъезд, перед домом остановился чёрный лимузин с пуленепробиваемыми стёклами, вылез некто грузный с пакетом. В коридоре раздался звонок, кто-то открыл и, надо думать, был изумлён, если не ошарашен.

Акции писателя в коммунальной квартире повысились. Новый, чрезвычайно импозантный гость обогнул сундук, стукнул в дверь костяшками пальцев.

«Привет, — сказал вошедший. Писатель открыл рот. — Не узнаёшь?»

Он осмотрелся, шагнул к столу, сдвинул остатки чаепития, положил пакет. Снег капал с барашковой папахи.

«Узнаю, — промолвил ошеломлённый хозяин. — Сергей?»

«Он самый».

Вот как, пробормотал писатель.

«Вот так», — улыбнулся Серёжа.

Некоторое время молчали. Из внутреннего кармана шинели была извлечена плоская бутылка тёмного стекла, из фирменного пакета явились фантастические харчи. Гость искал глазами, куда бросить шинель и папаху. Писатель кивнул на раскладушку. Гость остался в мундире с планками орденов, в золотых

погонах, в синих брюках с красными лампасами. Гора с горой не сходится, сказал он, а человек с человеком...

Какой же это род войск, спросил писатель.

Генерал сдвинул чашки в сторону, разложил приношение на тарелках бутерброды с паюсной икрой и сёмгой.

«Род войск, хе-хе. А всё тот же».

Нарезал тонкими ломтиками лимон. Уселись.

«Ну-с... — Генерал вознёс стакан с тёмнозолотистым напитком. — Со свиданьицем, так, что ли?»

Теперь было видно, что Серёжа почти не изменился. Прошлое не меняется.

Поседел, полысел, это верно. Массивен. Покровительственные нотки. И всё-таки. Те же небольшие, полуприкрытые веками глаза, лицо, лишённое выражения. Почти автоматически писатель взялся за свой стакан. Чокаться, однако, не стали.

«Так-то оно будет веселей». Генерал жевал бутерброд. Бровями — на тарелку с яствами: дескать, не отставай.

«Коньячок ничего себе...»

Писатель разглядывал оставшееся питьё в стакане.

«Неплохой коньяк, говорю!»

Писатель кивнул и допил.

Тотчас налили по второй.

«Гора с горой не сходится, а человек с человеком... Понимаю, всё понимаю. — Генерал вертел свой стакан. — Мой визит, как бы это сказать. Не очень приветствуется, а?»

«Значит, это правда», — сказал сочинитель хроники.

Генерал отхлебнул из стакана.

«А ты разве сомневался?»

«Хотел тебя выгородить. Сначала».

«Похвально. И что же дальше?»

«Следователь сам тебя выдал».

«Как это? А, ну да. Спрашивал обо всех, а обо мне молчок, верно?»

«Тебя как будто не существовало».

«Ха-ха. А может, меня и вправду не было?»

«Может, и меня не было? — возразил писатель. — Может быть, — сказал он, — мы просто действующие лица какого-нибудь бездарного романа?»

«Вполне возможно, — сказал гость. — Жизнь, она ведь сама по себе бездарная штука. Твоё здоровье...»

«Рад тебя видеть, — продолжал он. — Что ты жив остался».

«Скажи, Сергей, — проговорил писатель. — Я не спрашиваю, как ты меня нашёл. Найти нетрудно... Скажи... Зачем ты пришёл?»

«Не пришёл, а приехал. Я ведь не в Москве нахожусь... Зачем. Это вопрос!»

«Я всё помню».

«Я тоже».

«Я был не первый. Наверно, и не последний».

Генерал искоса, подняв бровь, поглядел на друга.

«Ты меня посадил», — сказал писатель.

«Не я. Тебя государство посадило».

«Ты приехал убедиться, что я всё знаю?»

«Давай ещё по одной... У тебя курить можно? Ничего ты не знаешь».

Гость протягивал ему раскрытый портсигар, писатель покачивал головой. «Дукат?» — спросил он.

Генерал щёлкнул зажигалкой, затянулся и выпустил дым к потолку.

«Причём тут Дукат?»

«Ducatum значит герцогство по-латыни»

«Я не герцог. Какой там Дукат. Это заграничные... Так на чём, стало быть, мы остановились? Я твои чувства прекрасно понимаю».

«Сколько тебе заплатили, Серёжа?»

Генерал помрачнёл. Тяжело взирал на писателя.

«Если ты собираешься... »

Пауза.

«Мы были друзьями».

«Да. Мы были друзьями. Если ты думаешь, что я пришёл оправдываться, то ошибаешься. А если всё ещё не понял, я объясню».

Снова пауза.

«Всякое государство должно защищаться. Наше — тем более».

«Чьё это — наше?»

«Наше. Моё и твоё. Подчёркиваю: особенно такое государство, как наше».

«От кого?»

«Что — от кого?»

«От кого защищаться?»

«В том числе и от таких, как ты. Ты пей. Закусывай... Я, конечно, имею в виду не тебя сегодняшнего, а твои тогдашние настроения».

«Откуда ты знаешь, что мои настроения изменились?»

«Я думал, жизнь тебя научила».

Генерал поднялся и подошёл к окну.

«Пурга-то какая».

Руки в карманах форменных брюк, крепкий красноватый затылок. Тёплый, тусклый туман ресторанного зала, медленно вращается, переливается цветными огнями люстра. Жирный голос коферансье, официантка в фартучке, тесная юбка вот-вот треснет на широких бёдрах.

Вдоль по Питерской. С кала-а-кольчиком. Да эх.

Генерал насвистывал мотивчик.

Он вернулся к столу.

«Наше государство, наше социалистическое государство, устроено так, что критиковать, а точнее сказать — клеветать на него, нельзя. Недопустимо. Почему? — Он снова разлил коньяк по стаканам. — Да потому, что критиковать значит требовать перемен. А любые перемены, тем более реформы для такой системы опасны. Наше государство монолит. Каков он есть, таков он и есть. Это не глина, которую можно мять так и сяк. Попрошу меня не перебивать».

«А теперь вспомни, — продолжал гость, — что ты говорил. Как был настроен. Я-то хорошо помню».

«Ещё бы. Всё записывал».

«Записывал или не записывал, не обо мне речь. Ты говорил — фашистский строй. Как у немцев. Может быть, и фашистский. — Серёжа усмехнулся. — Ну и что? Что с того, я спрашиваю».

Усмехнулся и писатель углом рта.

«Давай, — сказал гость, берясь за стакан. — Во-первых, неизвестно, что лучше. Я имею в виду — какой режим лучше. А во-вторых...»

Они чокнулись.

«А во-вторых, и это, брат, самое главное... Что есть, то есть. Ничего менять нельзя. Иначе начнётся такое, что... Русский народ — это, может быть, самый терпеливый народ на свете. Но если ослабить узду...»

Серёжа погрозил пальцем, раздавил в блюдце окурок.

«Тебе, может быть, и казалось, что надо сказать правду, открыть людям глаза... А я тебе скажу, что в государственных делах, в которых такие, как ты, ни хрена не смыслят, правда, она подчас хуже всякой лжи. Вреднее всякой лжи! Да и что значит сказать правду? Это значит призывать к перевороту. Вот так, друже. Сегодня ты говоришь мне, завтра скажешь другим. Слабых, неустойчивых людей сколько угодно. Особенно среди тогдашней молодёжи. Уж нам-то это хорошо известно... Вот они и подумают: а на хера́ всё это терпеть? Пора приступать к делу. Да ты и сам, кажется, собирался...»

В комнате сделалось сумрачно, гость пробормотал: «Задержался я у тебя...». Вздохнул, погладил затылок.

«Вот что. — Он вынул блокнот. — Мне неудобно выходить...»

Держа в руках исписанный листок, писатель прочёл: *Живо. Одна нога здесь, другая там. Генерал Колесников.*

Писатель вышел из подъезда, приблизился к чёрному лимузину и, смахнув снег со стекла, показал человеку записку. Несколько времени спустя снова позвонили в в коридоре. Он отворил парадную дверь и принял от шофёра новый пакет, бутылку.

Время отступило. В полутьме гость и хозяин сидели за столом, понурясь, жевали, о чём-то думали, подносили к губам спасительное зелье. А помнишь, говорил один. Как мы с тобой. Как не помнить. Молодость, она, знаешь. А эту помнишь. Как же. Было дело. Ничего у меня с ней не вышло. Вот так, брат. Жизнь-то, а? Как обернулась. Ты уж меня прости. Да чего уж там. Кто старое помянет. Да, брат. Такие дела. Может, тебе помочь. Да чего там помогать. Спасибо. Ты как живёшь-то. Да ничего, живу. Помаленьку. Один живёшь. Да как тебе сказать. Может, тебе чего надо. Ты скажи. За тебя, брат. И за тебя. Со свиданьицем. Обнимались, тихонько пели:

«Вдоль по Питерской».

XLVII
Слава Богу, живём в большой стране

1 марта 1977

Что за день, думал писатель. Ноги тащили его к зловещему зданию. Такая же пасмурная погода стояла и в тот день, обманчивая петербургская весна. Мостовая блестела от сырости: Был даже, кажется, тот же день недели. Дым рассеялся, самодержец выбрался из кареты. «Хорош, — сказал он, взглянув на Рысакова, и, отвернувшись, пробормотал: — Un joli monsieur».[1] Он ждал смерти вот уже сколько лет. Кажется, снова обошлось. «Ваше величество, — кто-то подбежал, — вы ранены?» — «Я нет. Слава Богу. А вот...» — кивнул на двух умираю-

[1] *Здесь*: Какая всё-таки сволочь (*фр.*).

щих: конвойного казака и прохожего мальчика. В эту минуту писатель, войдя в подъезд, предъявил повестку и паспорт.

Царь шёл нетвёрдой походкой к решётке канала, к человеку, который стоял у решётки, скрестив руки. Человек не снял шапку. Царь смотрел на него с любопытством. Человек поднял руки и сделал шаг навстречу. В руках был пакет. Бомба шмякнулась о булыжную мостовую, император, с помутившимся взором, в клочьях обгоревшей одежды, с полуоторванными ногами сидел в луже крови, прислонясь к решётке, а в двух шагах от него на мостовой, с развороченным животом лежал Гриневицкий.

Писатель явился, как положено, на Кузнецкий мост для допроса после домашнего обыска и изъятия компрометирующих материалов. Ему указали комнатку слева от проходной, окно забрано решёткой, стол и два стула. Минут через пять вошёл человек в штатском. Он был русоволос, ни стар, ни молод, со светлым невыразительным лицом. Поздоровался кивком, сел напротив, вынул портсигар. Курите?

Писатель покачал головой.

«Ну и я не курю», — сказал сотрудник, не назвавший себя, и спрятал портсигар.

«Ну что ж... — проговорил он, не спуская светлых глаз с посетителя. Впечатление такое, что он одновременно смотрит на тебя и сквозь тебя. Мысленно прикидываешь: капитан, майор? — О чём же, стало быть, мы с вами будем беседовать?»

Подследственный сделал неопределённое движение, дескать, это уж ваше дело.

«Давайте сразу договоримся. Я никаких протоколов составлять не собираюсь, хотел бы просто с вами побеседовать, а вас попрошу не хитрить, не притворяться, что вы не понимаете, в чём дело, для чего вас вызвали... Одним словом, не строить из себя целку!»

Он употребил это непристойное выражение просто и непринуждённо, как если бы оно давно стало общеупотребительным, — что, вообще говоря, так и было, — и тем давая понять, что сама обстановка беседы должна быть непринуждённой. Однако в этой конторе все слова надлежит понимать по-особому. «Побеседовать» — это было в некотором роде нововведение. Писатель насторожился.

«Ну вот, — офицер хмыкнул, — вижу, вы уже изготовились к обороне».

Он вздохнул, поиграл ключом. Открыл ящика стола и вынул знакомую пухлую папку с грифом и номером. Штамп «ХВ» — хранить вечно. В просторечии: Христос воскрес. Канцелярское бессмертие.

«Вы угадали. Боюсь, что не устарело... Вы как считаете?»

«Я реабилитирован», — сказал писатель.

«Как же, как же; а я разве говорю что-нибудь против?»

Он листал дело.

«Вот тут есть любопытные вещи, — пробормотал он, — похоже, что вы собирались скрыться...»

После этого явилась на свет ещё одна папка, перевязанная шнурком.

«Это я вам возвращаю, это нам не нужно...»

Писатель получил назад свою рукопись.

«А у меня к вам, кстати, вопросик. Касательно вашего, этого... Опять же не для протокола. Вот вы называете одного из... скажем так: одного из крупнейших людей нашего времени — карликом. Почему?»

«Он был низкорослым».

«Людей невысокого роста много. Однако мы не называем их карликами. Карлик — это...»

«Карлик — это карлик».

«Угу. Но согласитесь, что читатель, если только он не полный идиот, понимает, что вы имели в виду не только рост».

«У меня нет читателей».

«Ну, ну, ну. Каждый писатель рассчитывает, что у него в концов найдутся читатели. Для потомства пишете, а? Хорошо, оставим это. Но мне всё-таки интересно, чем объясняется такое отношение к одному из... вы ведь согласны, что вся история нашей страны немыслима без него. Или я ошибаюсь?»

«Тем хуже для истории».

«Кстати, вы тут где-то в другом месте отзываетесь об истории весьма даже презрительно...»

«Она этого заслужила», — мрачно сказал писатель.

«Откуда вы это знаете?»

«Мы все современники...»

«То-то и оно, что современники, — сазал майор. — История, знаете ли, меняется. Сегодня одно, завтра другое. Можно так повернуть, можно этак. Историю, я вам скажу, хуже всего понимают как раз те, кого она, пардон, за жопу взяла».

«То есть современники?»

«Они самые», — был ответ. Человек снова раскрыл и протянул портсигар.

«Спасибо, вы уже спрашивали».

«Но, может быть, вы передумали».

«Передумал, стоит ли курить?»

«Передумали, стоит ли так унижать нашу страну, её вождя... А впрочем, хрен с ним, — неожиданно сказал майор. — Умер Максим, ну и... Вернёмся к делу».

Архивная папка лежала перед ним, он постукивал ногтями по обложке.

«Вас реабилитировали, разрешили вам жить в Москве, а вы опять за своё. Опубликовали... простите, не хочу вас обижать... свою стряпню за границей. Сам этот факт, знаете ли... не говоря уже об издательстве. Известное издательство, знают, что им печатать... И кто они такие, тоже известно. Книжка ваша тянет на статью, скажу вам прямо, на сто процентов. С первой страницы до последней».

«Какая книжка?»

«Ну, ну, ну. Будто вы не знаете».

Из стола явилась книга.

«Не моя, — сказал писатель. — Я её читал, но не я её автор».

Майор испустил тяжёлый вздох.

«Ну вот опять. Я же просил. Я, между прочим, не для того вас пригласил, чтобы добиваться признания. Тут дело ясное! Если уж на то пошло... — он презрительно взглянул на роман, швырнул его в стол, взглянул на писателя, — мне ничего не стоит сейчас же выписать ордер на арест, и разговор окончен! Какая статья, сами знаете. Она теперь усовершенствована. Хранение, распространение, то до сё. Публикация клеветнических материалов за рубежом. Вот так, уважаемый... — тут он в первый раз назвал сочинителя по имени-отчеству. — Кстати сказать, не обижайтесь, роман-то, между нами говоря, ни в какие ворота».

Произнеся этот приговор, он встал, выглянул в коридор и сделал знак кому-то. Оба молча сидели друг против друга. В дверь деликатно постучали, явилась с подносом пышнобёдрая буфетчица в наколке и круглом передничке.

«Угощайтесь». Майор вдумчиво размешивал ложечкой чай в стакане с подстаканником, отхватил крепкими зубами кусок бутерброда с ветчиной. Следом за ним взял стакан и писатель, обжигаясь, отпил глоток.

«Бежать задумали?» — неожиданно спросил офицер.

«Как это, бежать».

«Уехать. Есть такие случаи. По еврейской линии... Ведь у вас папа был, если не ошибаюсь, каким-то боком? А кстати, что с ним случилось?»

«Вы же знаете...»

«Вы что, думаете, мы всеведущи?»

«Он погиб, — сказал писатель. — В сорок первом году».

«На фронте? Вот видите. Отец проливал кровь за родину, а вы её собираетесь оставить».

На что писатель возразил, что не собирается, да и вообще впервые слышит.

«Так уж и впервые! Все знают, вся Москва, можно сказать, только и говорит об этом на кухнях. А вы не слышали. Впрочем, — сказал он, вытирая пальцы бумажной салфеткой, кивая рассеянно и словно говоря сам с собой, — в самом деле, что вам там делать? Это ведь только, пока вы здесь, на вас обращают внимание. А приедете — кому вы там нужны?»

Приоткрыв дверь, он щёлкнул пальцами. Снова явилась упитанная буфетчица забрать поднос, сотрудник оценивающе смотрел на её фигуру.

«Н-да... — Вздохнул, сложил руки на груди, склонил голову на плечо. — Я понимаю, вы хотите сказать, что вам здесь не дают заниматься литературой, преследуют, грозят посадить снова...»

Майор встал. Повертел головой, оглядывая потолок, хлопнул в ладоши.

«Это так, профессиональная привычка, — промолвил он, усмехаясь. — Разведка есть разведка, она ведь и против себя тоже работает. — Сел. — Так о чём бишь я...»

«Я бы вам не советовал, — сказал он. — По-человечески не советовал бы. Ну, помурыжат вас, разок-другой придут с обыском. На допрос вызовут. Это же для вас не новость. Ну, в самом худшем случае, поживёте сколько-то времени, так сказать, на природе. У какой-нибудь бабы. Вдали от суеты... Вы ведь стреляный воробей».

Что он имел в виду, ссылку?

«Долго не продлится. А вот эмигрировать не стоит. Немного терпения. Тут ведь дело такое: скажем прямо, пахнет керосином».

Он барабанил пальцами по столу.

«М-м?»

Подследственный молчал.

«Керосинчиком, керосинчиком пахнет. Эксперимент не удался. Не вышло, прямо скажем. Сидим все, пардон, в жопе. Нужно что-то предпринимать. А для этого, как вы понимаете, нужна крепкая рука, нужны смелые, ответственные люди. Надо выволакивать страну из дерьма... Вас, конечно, удивляет такая откровенность. Но ведь это почти что, можно сказать, и не тайна. Можете настучать на меня, я не возражаю. Но уж тогда вместе сядем, хе-хе!»

Офицер встал, прошёлся по тесной комнатке, и, как всегда, невозможно было понять, лжёт он, как все они, — пудрит мозги, ломает дурака — или всё это говорится всерьёз.

«Тут такие дела готовятся, а вы собрались драпать... (Писатель сделал протестующий жест, человек остановил его). Ну, пять лет, ну, восемь от силы — сколько это ещё может продолжаться? А потом крах. Да ещё какой. Страна у нас огромная, если уж рухнет, то такой будет трам-тарарам! Все усилия, жертвы, всё — псу под хвост. Света белого не увидим. Не-ет-с, — и он помахал пальцем перед носом подследственного, — этого допустить нельзя, мы и не допустим. Можете думать о нас что хотите, но только единственная сила, которая может спасти Россию, — это мы. Да, мы, государственная безопасность. Вот такие дела, уважаемый. А вы говорите...»

Писатель, несколько обескураженный, выслушал эту тираду. Итак, даже они... Не он один спрашивал себя, на чём всё это держится, и не находил ответа. И, однако, не мог представить себе, чтобы этот режим когда-нибудь испустил дух.

Он спросил:

«А как же будет со мной?»

«С тобой? — поднял брови майор, капитан или кто он там был, неожиданно перейдя на ты. — Следствие продолжается. Кто однажды отведал тюремной баланды... как это говорится?»

«Будет жрать её снова».

«Ну уж и пошутить нельзя. Ладно! — Он хлопнул ладонями по столу. — Заболтался я с вами, где у вас повестка-то...»

Он небрежно черкнул что-то. На нетвёрдых ногах составитель этой, вопреки разным несуразностям, всё же правдивой хроники направился к выходу. На улице моросил дождь.

Первое марта, пасмурный денёк... Два взрыва на Екатерининском канале.

XLVIII
Сон без сновидца, называемый действительностью

Вечером 1 марта 1977

Он вернулся домой сильно утомлённый и, как был, не раздеваясь, повалился на раскладушку. И ему опять стало сниться: сперва, выходя на крыльцо вахты, он ещё сознавал, что видит сон, с любопытством ждал, что будет дальше; ночь была ясная и морозная, и небо над головой усыпано мелкими и крупными брильянтами. Но понемногу действительность сполна вступила в свои права, и, прохаживаясь от пожарного депо к магазину для вольнонаёмных, поскрипывая подшитыми валенками взад-вперёд, оставляя за собой угловую вышку, где темнела фигура стрелка и два огненных глаза били под прямым углом, над тыном и навесом с рядами колючей проволоки, и возвращаясь назад, он окончательно уверился в том, что всё происходившее в доме на Кузнецком мосту, болтовня майора в штатском, покушение на императора, комната родителей, куда он вернулся с допроса, если это был допрос, а не что-то тайное, двусмысленное и пахнущее провокацией, — что всё это приснилось ему, когда, усталый, он присел на ступеньки магазина и задремал ненароком. Он открывает глаза, дрожа от

холода, встаёт на затёкшие ноги. Воспоминание о сне исчезло, он хлопал себя по бокам, хрустел по снежной тропе и ни о чём больше не думал.

Но правильней будет сказать, что мысль его, вслед за телом, как бы окоченела, сосредоточилась на одном: он выжидал. Он следил за временем, поглядывал на Большую Медведицу над тёмным лесом и постепенно удлинял свой маршрут. И вот уже, чуть погодя, человек-тайна, человек себе на уме шибко шагает в непроглядной тьме и, наконец, дошёл до оврага. Он вспомнил: деревня называлась Кукуй.

Он стоит на крыльце и топает валенками, отряхивая снег. Постучался в дверь. Вдруг оказалось, что дверь не закрыта. Это отттого, что его ждали. Он вошёл в сени, в темноте нащупал скобу и, наклонив голову, переступил порог избы. Никого не оказалось, на столе горела свеча, блестел жестяный венец вокруг неясного лика Богородицы, на стене пощёлкивал маятник часов-ходиков, висел плакат «Все на выборы». В ужасе он понял, что попал в ловушку, законвоируют, добавят срок, переведут на другой лагпункт, — и весь в поту проснулся.

Было жарко в одежде. День угас. Писатель сел на койке. Кто-то ещё, кроме него, находился в комнате: он услышал слабый смешок. В сумерках она сидела спиной к столу, и, как когда-то, поблескивали её глаза, белело лицо в платке.

«Ты здесь? — проговорил он. — А я сейчас был в деревне, прихожу, тебя нет. Нехорошо оставлять огонь, спалишь избу... Куда ты пропала?»

«К тебе поехала», — был ответ.

«Как же ты меня разыскала... столько лет прошло».

«Вот так и разыскала».

Он продолжал расспрашивать: «А как же твои ребята?»

«Они уже взрослые, зачем я им?»

И он подумал — в самом деле, причём тут дети, он никогда ими не интересовался.

Тут ему пришла в голову простая мысль, что там, в лесном и болотном краю, время не может идти так, как оно идёт в столице. Там время не спешит. Там правит Сатурн. И его не удивило, когда, привыкая к сумраку, он увидел, что она ничуть не изменилась. Всё так же стояла её высокая грудь, светилась открытая шея и ровные зубы белели в улыбке.

Она сбросила на плечи платок, вынула гребёнку из ореховых волос, снова вставила.

«Маша, — сказал он, чуть не плача от счастья, — Маша... А я так скучал по тебе. Я тебя не забыл!»

«Вот и свиделись», — сказала она спокойно.

«Я думал, никогда больше не увижу тебя».

«Куды ж я денусь».

«Ты никуда не уедешь, ты здесь останешься?»

«Не знаю. Коли ты не против...»

«А дом, — сказал он, — можно продать».

«Какой дом?»

«Твой, в деревне. Мы поедем вместе, что надо, заберём. Сейчас можно ехать свободно, лагеря уже нет».

. «Это кто тебе сказал, что лагеря нет. Лесу, может, и поубавилось. А лагерь, — она усмехнулась, — куды ж он денется».

«А деревня?»

«Очнись, милый. — Что-то материнское звучало в её голосе, и чувствовался знакомый северный акцент. — Ведь сам же говоришь, неровен час, можно спалить избу. Вот она и сгорела. В деревне, может, кто и остался, а дома больше нетути!»

«Ну и Бог с ним, — согласился писатель. — Даже ещё лучше. Маша! Что это мы всё говорим не о том?»

«А о чём говорить-то. Ну вот, — засмеялась она, видя, как он встаёт, тянется её обнять, — опять за рыбу деньги. Чуть только пришла, он уж снова за своё».

«Маша, я ведь тебя люблю. Только одну тебя по-настоящему и любил. Веришь ли, думал: а что если мне туда вернуться... Маша! У меня никого больше нет, одна ты и осталась».

«Так уж и одна...»

«Возился тут с одной, ничего от тебя не утаю, но поверь, Маша, любовь бывает только одна! Я всё помню, я ничего не забыл... Вот говорят, — бормотал он, сидя на раскладушке и вперяясь во тьму, — вот говорят, тоска по лагерю... А ведь это правда. Ведь это же, можно сказать, самый что ни на есть законный образ жизни для русского человека. Небось слыхала пословицу: кто однажды отведал баланды...»

Она перебила:

«Нешто ты русский?»

«А кто же я? Гсподи, я и сам не знаю, кто я... Вот и я думал: что, если...»

«Не болтай! — послышался строгий голос. — Освободился, Бога благодари».

«Вот я думал: плюну на всё и махну к тебе. И приедем вместе»

«Тесновато будет», — сказала она задумчиво.

«Как-нибудь устроимся, Маша... Иди скорей, Маша...»

«На койке, говорю, вдвоём тесно будет... Да не гожусь я больше для таких дел, милый. Ты небось и не заметил».

Повернув голову, он увидел, что гостья всё ещё сидит боком к столу, силуэт на фоне светлого окна обведён серебряной каймой. Она встала, провела руками по груди и широким бёдрам.

«Раздеться мне, что ль, или так видно?»

И действительно, он увидел выбухающий живот.

«От кого же ещё...» — сказала она спокойно, отвечая на невысказанный вопрос.

«И ты молчишь?» — вскричал писатель.

XLIX
Побег № 3. Порушенное отечество

24 апреля 1977

1.

Зыбкая, смутная, как сама действительность, как проект ненаписанной главы, погода сопровождала весь его долгий путь. Он высадился в большом

городе, стоял шум, шёл дождь, он двигался в толпе пассажиров, — это был, вероятно, вокзал, — постепенно всё смолкло и опустело, — в сумерках, под низкими, серыми, как намокшая вата, облаками, прыгая через тускло блестящие рельсы, пробираясь между вагонами, он достиг отдалённой платформы, и там ждал другой состав, путешественник смутно помнил, что должен был пересесть на поезд, идущий на Котлас, но оказалось, что он уже на той станции, откуда предстояло ему ехать в засекреченное лагерное княжество: длинная череда теплушек и два или три вагона для вольнонаёмных ждали отправления, — и он взобрался, никем не замеченный, в вагон. Послышались крики команды, топот, говор, этап из России прибыл — но разве и эта станция не была Россией? — и началась торопливая посадка. Но в вагон, где он сидел, никто не вошёл, и так он и поехал, один, лёжа на скамье.

Ночью его растолкали, милиция, подумал он, дело происходило в далёкой вымершей деревне, в заброшенной церкви, где он заночевал, — и понял, что всё пропало, сейчас потребуют документы, но это оказался контролёр с фонарём. Где мы, спросил пассажир. Контролёр ответил: в немецком трофейном вагоне. Пассажир не понял, как это, в немецком? Был немецкий, а теперь русский, отвечал контролёр и протянул руку за билетом; ты что, забыл, что мы победили. Потом сказал: пропуск. Пассажир спохватился, ведь они въехали в закрытую зону, а о пропуске он забыл; в отчаянии он протягивал мужику деньги. Тот, не говоря ни слова, сунул купюру в карман, он вовсе не был контролёром, а ходил по вагонам, собирал на выпивку, — и, покачивая керосиновым фонарём, двинулся дальше по гремучему шаткому вагону.

Пассажир стоял перед грязным окном, дожидаясь, когда конвой внизу пересчитает людей, видел, как колонна колыхнулась и поспешно всей массой стала сходить и съезжать с насыпи, — построились, конвой прокричал команду, двинулись, растворилась во мгле, — лишь после этого он выглянул из тамбура: никого, — и спрыгнул с подножки. И тотчас раздался свисток, лязгнули буфера, состав двинулся в обратную сторону. С деревянным чемоданом и дорожным мешком за плечами приезжий шагал по шпалам узкоколейки, он помнил дорогу и знал, что дорога повернёт в сторону, во-время сошёл, там была проложена лежнёвка, рельсы из длинных жердей для вагонок, итти по ступняку, разбитому лошадиными копытами, кое-где вовсе провалившемуся, было неудобно, он пошёл по осклизлой лежне, опираясь на палку, чтобы не оступиться в болото, держа в левой руке чемодан.

Так он добрался до лагпункта, осталась в стороне казарма, он прошёл мимо сарая электростанции, миновал магазин для вольняшек, конюшню, пожарное депо. Впереди тянулся высокий тын, увешанный лампочками, с угловой вышки над проволочными рядами бил прожектор, было тёмное утро. Небо очистилось, в вышине горели созвездия. Ворота были широко раскрыты, вокруг стоял конвой с овчарками на коротком поводке, смирно сидевшими на костлявых задах. На крыльце в длинной шинели и лисьей шапке стоял сам начальник лагпункта. Послышалась жестяная громыхающая музыка, это дул в трубы лагерный оркестр. Начался выход бригад.

Никто не заметил, не видел приезжего; он ждал; развод кончился, ворота закрылись. Небо над лесом пожелтело, побагровело, он не мог понять, что это: восход, закат или зарево дальнего пожара, и шёл тёмной таёжной тропой, стало жарко от быстрой ходьбы, и так как он был — раньше каким-то образом не заметил — в бушлате, то расстегнулся, стащил с головы взмокшую ушанку, — и, наконец, вышел к оврагу. По ту сторону находилась деревня. Он подошёл к крайней избе, взошёл на крыльцо, никто не откликнулся на его стук. Он спрыг-

нул, подкрался к тёмному окошку и тут только заметил, что и окна, и дверь заколочены крест-накрест старыми, потрескавшимися досками.

А ведь она должны была его ждать. В недоумении он двинулся дальше, деревушка, десяток кривых изб, казалась вымершей, всё же кто-то появился вдали. Он спросил у горбатой, сморщенной бабуси, что случилось, куда она делась. Кто? — спросила старуха. — Тебе кого надо? Старая ведьма была к тому же ещё и глуха. Маша! Маша! — закричал, теряя терпение, путешественник. — Которая Маша? Эва, прошамкала она, да ведь она померла. Сердце оборвалось у приезжего, как, прошептал он, как это померла! когда?.. Да тому уж лет десять, сказала старуха.

2.

Сон или не сон, говорил он себе, но в любом случае — перст судьбы. Это было одно из тех путешествий (сколько их уже было!), когда нет уверенности, что доберёшься до цели, когда неизвестно, встретит ли тебя кто-нибудь; поездка в направлении, обратном течению времени.

Ночной поезд шёл теперь значительно быстрей, в Горький прибыли через каких-нибудь 9—10 часов. Здесь предстояла пересадка на Котельнич до таинственной полусекретной станции, единственной, которую ещё можно было найти на карте. Путешественник не нуждался ни в каких картах. По прибытии он увидел за концом платформы верстовой столб, четырёхзначное число.

Под проливным дождём он пробирался через путаницу чёрно-блестящих рельс, обходил мёртвые составы, скелеты вагонов; неизвестно и не у кого спросить, ходят ли ещё поезда по лагерной ветке на север. Расписания не существовало, пробовал расспросить какого-то мужика в брезентовом армяке; судя по невнятному ответу, в иные дни можно было сутками дожидаться отправления. В старом немецком трофейном вагоне с полустёртой надписью «Reichsbahn» писатель качался на лавке, поезд стучал, гремел, путешественнику снился дальний путь, снились леса, летящие за окном; открыв глаза, приподнявшись, он видел в слезящемся стекле всё ту же дощатую платформу и ни одной живой души, вновь раздался свисток, вагон вздрогнул, взвизгнули колёса. Вошёл человек в рубище, в фуражке контролёра.

Пассажир вспомнил детскую книжку: *это что за остановка, Бологое иль Поповка?* Где мы, спросил он. Колевец, отвечал контролёр. А-а, проговорил пассажир, с трудом преодолевая сонливость, а следующая? Человек пожал плечами, следующая, Керженец, сказал он. Пассажир покачал головой, хитро усмехнулся, вы, наверное, здесь недавно, Керженец давно проехали; Лапшанга — вот какая будет следующая. А за ней Белый Лух. Ошибаетесь, гражданин, какой-такой Белый Лух, нет тут никаких белых лухов, холодно возразил контролёр. Да что вы мне говорите! — пассажир вышел из себя, — я тут... — он хотел сказать: я тут жил. Вам куда надо-то? — спросил контролёт. А вот туда, буркнул пассажир, чуть было не прибавив: не твоё собачье дело, и протянул билет. Контролёр щёлкнул компостером. Ваш пропуск, сказал он. — Какой ещё пропуск, я же предъявил билет. — Билет билетом, а пропуск пропуском, закрытая зона, отвечал наставительно человек в фуражке. Всё ещё закрытая? — пробормотал пассажир. — Чего ж там закрывать? Он рылся в бумажнике. Премного благодарим, ответствовал контролёр, сунул трёшку в карман, и прошло ещё некоторое время. Путешественник, в резиновых сапогах, с заплечным мешком, стоял в одиночестве на песчаной полосе, тянувшейся вдоль рельс, полустанок назывался Белый Лух. Невдалеке холмик, покрытый бурой прошло-

годней травой, и полосатая перекладина, это был конец железной дороги. На ручных часах приезжего было десять часов, всё ещё московское время. Он смотрел, как маленький пыхтящий паровоз с длинной трубой совершал манёвр, чтобы подцепить сзади короткий состав. Тёмный занавес туч висел над станционной избушкой, над остатками леса. Дождь утих, готовый зарядить сызнова. Конец света, крайний северный лагпункт.

На самом деле вовсе не конец, — этак можно полстраны считать концом света. Писатель рассчитывал за полчаса добраться до бывшего посёлка вольнонаёмных, а оттуда, если не заплутаешься, до Кукуя будет не больше часа бодрым шагом. И он шагал по заросшей насыпи, где когда-то пролегал лесовозный ус, — кое-где ещё лежали потрескавшиеся, полусгнившие шпалы. Мимо буйно разросшихся куртин, через кладбища замшелых пней, мимо болотной трясины и густого подлеска, когда-нибудь он вновь станет тайгой. Он шёл и шёл, а часы показывали одно и то же время. Должно быть, остановились. Увидел где посуше и выбрался, наконец, на знакомую дорогу — до посёлка не больше двух километров. И чем ближе он подходил, тем отчётливей чуял родной запах. Ветер нёс навстречу автору этой хроники испарения лагеря.

Что же он увидел? Да ничего: несколько деревянных домов, кто-то живёт; выбежала собака, завыла, закашляла, подняв острую морду к серым небесам; он знал: надо идти не торопясь, не останавливаясь, и зверь отстанет; он узнал сарай своей электростанции, пожарное депо, избушку магазина — всё стоит на своём месте. Но зона, самое главное, — зона порушена, нет больше тына, нет вахты, нет вышек. Остатки ржавой колючей проволоки висят кое-где на столбах запретной полосы. Среди болотных трав стоят в воде почернелые бараки с выбитыми стёклами, с провалившейся крышей.

Путник с тоской озирал эту картину. Это было зрелище рухнувшей лагерной цивилизации. Он сказал себе, что все эти годы чувствовал себя эмигрантом среди живших на воле. Ты знал, что твоё происхождение никуда не делось, не рабочий, не крестьянин, не интеллигент, — заключённый — вот сословие, к которому ты принадлежишь, и твои бумаги всюду следуют за ним, и бушлат, и валенки, расширяющиеся книзу, и лагерная пайка, место на нарах и очко в сортире ждут тебя, и придёт время — ты вернёшься. И вот он, наконец, вернулся, и что же? Отечество его души, заброшенное, осиротелое, обвалилось и догнивает в болотах.

Он свернул к бывшей казарме. На верёвке между шестами висело бельё, на окнах занавески. И здесь обитал кто-то. Путник торопился, из-под полога лиловых облаков проглядывал жёлтый закат. И было уже темно, когда он вышел из леса, перебрался через глинистый овраг, подошёл к дому. Мёртвые окна отсвечивали, как слюда.

Где-то очень далеко хлопнул и прокатился выстрел. Снова тишь, слабый шелест дождя.

Он стоял на крыльце. Нужно было собраться с духом. Нужно раз навсегда покончить с хронологией. Но мы и так с ней покончили. Истинное время повествования следует иному порядку. Вспомнил он и слова Маши — будто изба сгорела. Ничего подобного, это был тот же старый, но всё ещё крепкий дом на краю таёжной деревушки. Писатель вобрал в себя воздух, как перед прыжком в воду, поднял кулак и дважды, негромко стукнул.

Слабо скрипнула дверь в сенях. Отщёлкнулась задвижка наружной двери. Ему отворили. Она, разве только чуть располневшая, босая, в длинной деревенской рубахе, с круглым мягким лицом, с большой грудью. Дрогнувшим голосом странник спросил: узнаёшь меня? В полутьме с трудом можно было раз-

личить её улыбку. Значит, она была рада? Ему показалось, что она его ждала. Это было совсем уж невероятно. Он не успел прибавить ни слова — она прижала палец к губам. Он остался стоять в тёмных сенях.

Чуть погодя его впустили в избу. Как в далёкие времена, на столе горела керосиновая лампа. Поблескивал образ в углу. Широкая кровать была разобрана. Что-то скрипнуло, заплакал ребёнок. Приезжий обернулся. Рослый мужик в майке, с татуировками на плечах, в галифе и тапочках, покачивал деревянную кроватку-зыбку, нагнулся, вынул дитя из зыбки. Маша — на ней была белая блузка и тёмная просторная юбка — сидела на лавке, круглолицая, с перехваченными сзади ореховыми волосами, спокойная, одна рука под грудью, другой подпирая щеку.

«Здорово», — мрачно сказал хозяин, и гость откликнулся: «Здравствуйте...»

«Чего стоишь, снимай свой сидор, разоблачайся...»

Приезжий стащил кепку-кемель с седеющей головы, сбросил лямки мешка, расстегнул куртку. Сидя на пороге, стянул с ног заляпанные глиной резиновые сапоги, размотал портянки.

«Так, — сказал хозяин. — Не узнаёшь? Сапрыкин», — и протянул жёсткую ладонь.

Это был нарядчик Сапрыкин. Ночным утром, когда высоко в редеющих облаках пряталась бледная луна и дежурный надзиратель на вахте, сойдя со ступенек, бил кувалдой о рельсу, нарядчик шагал по трапу, входил в барачную секцию и стучал о нары обструганной доской с рукояткой, на доске был список бригад. С доской и карандашом стоял перед распахнутыми воротами, зычно выкликал номера бригад. Потом снова в поход по баракам, собирать отказчиков, гнать в санчасть, в бур — лагерную тюрьму; да, это был он, могущественный Степан Сапрыкин, царь и бог, и ближайшее лицо при князе-начальнике лагпункта.

«Не ждал, — спросил он, — что увидимся? А я тебя узнал».

Приезжий молча вынимал из мешка гостинцы, поставил на стол бутылку с красно-золотой этикеткой.

«Эге, — сказал Сапрыкин. — Марья! Давай, собирай на стол. Старый кореш приехал».

Время от времени она поднималась из-за стола, брала на руки плачущее дитя, вынимала большую белую грудь из расстегнутой блузки, садилась в сторонке, малыш сосал, отрывался от груди, таращил глаза, мужики подливали друг другу.

«Стёпа...» — бормотал приезжий.

«Чего Стёпа...»

«Жизнь-то, а?»

«Чего жизнь?»

«Жизнь-то как повернулась...»

«Да уж так... Всё одно...»

«Это ты верно сказал...»

«Ты-то как?»

«Да вот, видишь...»

«Где живёшь-то?»

«В Москве, Стёпа, живу».

«Небось далеко пошёл».

«Да уж куда там. Ну, давай ещё по одной со свиданьицем».

«Кирюха! — вскричал, точно спохватился, нарядчик. — Поцелуемся, что ли... Такая, брат, жизнь». И уже невозможно было понять, кто что сказал. Где ж мы его положим, пробормотала женщина. С нами и положим, выговорил хозяин. Нешто уместимся? — спросила она. Втроём лежали в тёмной избе, женщина посредине. Что-то хлюпало, поскрипывало, постанывало в сенях и за окнами. Мужской голос пробормотал:

«Маша...»

«Спи».

«Маша, прости меня».

«За что тебя прощать?»

«За всё... Простишь? Иди ко мне, Маша...»

«При нём, что ль?»

«Он спит. — Земеля! ты спишь?.. — Маша, может, ты с ним хотела? Я не обижусь. Маша, он не слышит».

3.

Ты погружаешься в тело женщины, ты там, тебя больше нет, и нет выхода, ты бредёшь в ночи, навстречу мерцающему огню, и на тысячу километров кругом ни единой души — леса и болота. Но когда странник подошёл к костру, оказалось, кто-то сидит, загородив пламя, в ушанке и телогрейке; он окликнул сидящего, и тот медленно повернул к нему корявое морщинистое лицо, чего тебе надо, спросил он; хочу с тобой поговорить, ответил скиталец; с кем это, возразил тот, нет меня,, ступай откуда пришёл.

Странник сказал: я заблудился, позволь мне погреться, а кто ты такой, меня не касается, и знать не хочу, и спрашивать не стану... А впрочем, нет, знаю: ты тот самый Беглец, который *ушёл с концами*, сколько разных известий, разных *параш* я слыхал о тебе. Не то форму украл, шапку со звёздочкой, солдатские портки, не то через подкоп, и никто тебя не поймал, собаки не взяли след. Но будто бы ты затосковал по лагерю и вернулся — сам, по своей воле. И тотчас никого не стало, путешественник один сидел возле угасающего огня.

Ночью захотелось по малой нужде. Приезжий выбрался из постели, ощупью добрался до двери, вышел из сеней на крыльцо. Небо очистилось и сверкало брильянтами звёзд, как в далёкие небывалые времена. В сенях, накрытое чистой дощечкой, стояло ведро, висел ковш. Он напился. Отворив дверь в избу, он увидел на столе огонёк, колпачок был отвинчен, ламповое стекло лежало рядом. Приезжий опустился на табуретку, сидел напротив женщины; некоторое время молчали.

«Вот такие дела...», — пробормотал он, и снова наступило молчание.

Она разглаживала рубашку на коленях, разглядывала ладони.

«Маша, — сказал он, — я ведь за тобой приехал».

В зыбке зашевелилось, застонало дитя, она качала кроватку, покачивала головой, приговаривая: «Ш-ш, ш-ш!»

«Маша, — проговорил гость. — Я жить без тебя не могу. Маша, поедем со мной».

«Куда?» — спросила она, усмехнувшись.

«В Москву».

«Чего я там не видала».

«Маша...».

«Ну». Так говорили здесь, когда хотели сказать: и что же? Что дальше?

«Возьмём с собой ребёнка».

Он добавил:

«У меня комната в Москве. (Она опустила голову). Маша. Ты ведь меня любила».

«Было дело», — сказала она.

«А теперь? Разлюбила?»

Она пожала плечами, еле заметно покачала головой.

Утром Сапрыкин встал мрачный, молчаливый. Нашёл остаток, опохмелился. Ели многоглазую яичницу с огромной чугунной сковороды, друг на друга не глядели.

«Чего уж там, — сказал хозяин, вставая, — давай провожу тебя».

L
Суд

День без числа[1]

География карательных, наблюдательных, исправительных, или как там их следует называть, учреждений ещё ждёт своего Страбона. В новой повестке стоял не Кузнецкий мост, а какая-то неслыханная улица. В отчаянии писатель думал, что его так и не оставят в покое.

Зато войти внутрь не составляло труда: никаких проходных, никто не спрашивает пропуск. Снаружи здание казалось не таким огромным. В действительности это был лабиринт. Плетёшься по длинным сумрачным коридорам, сворачиваешь в другие коридоры, поднимаешься на другой этаж, снова спускаешься, и всякий раз видишь в окнах на лестничных площадках другие улицы, если не вовсе другой район. Возможно, несколько зданий были соединены друг с другом. Писатель всматривался в таблички на дверях, на русском, но непонятном языке, толкнулся раз-другой наугад, там шли важные заседания, оттуда махали руками, требуя, чтобы ты не мешал. В другие комнаты вовсе невозможно достучаться. Изредка кто-то выбегает с озабоченным видом, с папкой под мышкой, служащие снуют по коридору, что-то показывают рукой на ходу, никто не отвечает на твои вопросы. Ты стоишь в замешательстве перед доской объявлений, здесь всё как обычно: инструкция на случай пожара, список злостных неплательщиков членских взносов, распределение путёвок.

Ты вошёл в зал, свет бил из окон, мешая с порога разглядеть сидящих за длинным столом на помосте под портретом правителя. Пятеро в масках, что наводило на мысль о тайном судилище, шестой посредине, это был человек с голым черепом, на котором играли блики, с лицом скопца, в судейской мантии, наброшенной на плечи, — по-видимому, председатель. У торца сидел секретарь. Маски разных цветов были, как выяснилось, женщинами.

Публики не было, стояли ряды пустых стульев. Подойдя к помосту, писатель слегка поклонился. Подскочил секретарь, принял от него большую, свёрнутую в трубку и перевязанную шёлковой ленточкой, словно почётная грамота, повестку. Писатель сел в первом ряду.

«Я не разрешал вам садиться», — заметил председатель.

[1] Гоголь.

Он развязал ленточку, внимательно изучил повестку, развернул папку с делом и проверил установочные данные: фамилия, имя, отчество, год рождения и так далее. Прежние судимости?

Писатель не понял.

«Я спрашиваю, — терпеливо сказал председатель, — были ли вы раньше под судом».

«Нет».

«Неправда, — возразил председатель, — вы были репрессированы. Здесь имеется справка об освобождении. Вы были осуждены по статье...»

Он зачитал документ.

«Видите ли, это было Особое совещание. Так называемая тройка. — Писатель, стараясь улыбаться, процитировал Гоголя: — Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка...»

«Семёрка», — поправил кто-то.

«Туз, — сухо сказал председатель. — Попрошу отвечать на вопросы. Итак, вы были судимы».

«Заочно. Решение принималось по списку, а осуждённому предъявляли бумажку, надо было только расписаться».

«Это известно, можете не объяснять. Правда, карточный термин слышу впервые... Но как бы то ни было! Это были другие времена, и незачем вспоминать», — заключил человек в мантии, упустив из виду, что он только что спрашивал о них. Он захлопнул папку, склонил блестящий череп направо и налево: будут ли вопросы к подсудимому?

«У меня вопрос, — сказала чёрная маска, крайняя слева. — Как по-вашему, что самое главное в жизни?»

Писатель развёл руками. Надо бы ответить, подумал он, любовь к родине.

«Литература, — сказал он и тут же пожалел, вспомнив, что всё, что не разрешено, запрещено. — То есть... я хочу сказать... — он запнулся. — А вы как думаете?»

«Вопросы задаём мы, — сказал председатель. — В виде исключения я отвечу. Самое главное — это любовь».

«К родине», — добавил писатель.

«Оставим политику. Просто любовь. Не правда ли?»

Маски дружно закивали.

«Прошу», — наклонил голову председатель.

Чёрная маска заговорила:

«С вашего позволения, я начну с мелкого, но, на мой взгляд, характерного факта. Всякий раз, когда он бывал у меня, а это происходило каждый день, он залезал с ногами на диван. Мне надоело напоминать ему, что я на этом диване сплю... Это первое. Во-вторых, когда я ему что-нибудь рассказывала, он смеялся надо мной. Например, был случай, когда мне нанёс визит мой дальний родственник, Козлов. Это была купеческая семья, с которыми породнились Тарнкаппе. Между прочим, название переулка...»

«Ясно. Но суд рассматривает вопрос о любви».

«Вот именно! Речь идёт о любви... Когда я ему рассказала об этом визите, он заявил... — маска всхлипнула, — заявил, что всё это мне приснилось!»

«Успокойтесь, — мягко сказал председатель. — Мы вас слушаем».

«Я его любила. Как сына, как внука... И вот такой ответ. Я вам скажу, в чём дело... — Шопотом: — Вы не поверите. Он любил другую женщину».

«Кого же?»

«Девушку в бокале шампанского. У меня была картина одного немецкого художника...»

Голый череп председателя повернулся к секретарю:

«Надо эту девушку вызвать».

Секретарь, вполголоса:

«К сожалению, невозможно. Это картина».

«Так, — сказал председатель. — Свидетельница показывает, что у вас была связь с нарисованной женщиной. Что вы на это скажете?»

Что можно было на это ответить? Сумасшедшая.

«Я бы всё-таки хотел, — сказал писатель, — чтобы всё было по закону. Почему мне не выделили защитника?»

«Ваша просьба отклонена. Адвокату здесь нечего делать. Ведь приговор, — добавил, улыбнувшись, председатель, — по существу уже вынесен».

«Как это, вынесен. Зачем же тогда вся эта канитель?»

«Бестактный вопрос. Я бы сказал, оскорбительный для суда. — Человек в судейской мантии молча, подняв брови, смотрел на подсудимого. — Не ожидал от вас, — сказал он. — Чтоб это было в последний раз!»

Он обратил взор на другой конец стола. Красная маска заволновалась, послышался хриплый прокуренный голос.

«Чистая фантазия. А если начистоту, я эту ведьму знаю. Картина такая, действительно, была. Порнографическая картинка, прямо скажем. Но дело-то в том, что...»

«Что вы можете сказать о подсудимом?»

«Я его любила, а он оказался неблагодарной свиньёй».

«Так я и знал, — пробормотал писатель. — Никто тут не скажет обо мне доброго слова... вы специально их подобрали».

«Попрошу не перебивать свидетельницу».

«Я его приютила, хотя это было опасно. Люди-то сами знаете какие, я имею в виду соседей. Нагрянет милиция, и что я скажу?»

«Ты же говорила, — не выдержал писатель, — что начальник милиции тебя знает. Это я тебя предупреждал, а ты только смеялась... Она не меня любила, а мой... пардон... — Писатель похлопал себя внизу. — Она приучила меня к наркотикам... А потом бросила!»

«Я? бросила?!.. А ты забыл, что было с Алексей Фомичом?»

«Кто такой Алексей Фомич?»

«Это её содержатель. Комсомольский руководитель высокого ранга».

«Фамилия? Надо вызвать его», — сказал, отнесясь к секретарю, председатель.

«Поздно! Нет моего дорогого Алексея Фомича. Это он его убил! Убил, а сам смылся. Мне пришлось отвечать...»

«Да как ты смеешь!..»

«Предупреждаю, если вы ещё раз позволите себе перебивать...»

«Что? что вы можете со мной сделать? — плача, выкрикнул писатель. — Со мной уже всё сделали... Проклятая жизнь, — бормотал он. — Проклятая страна...»

«Если вы ещё раз... Вы будете выведены из зала».

«Х-ха. Сделайте милость!»

«Заседание продолжается, — выдержав паузу, величественно сказал председатель. Писателю: — А вам советую выбирать выражения. Проклятая страна... как это у вас язык повернулся сказать такое!»

Последние лучи солнца блестели на его черепе. Он обратился к зелёной маске:

«Ваша очередь».

Маска молчала.

«У вас есть претензии к... этому господину?»

Она кивнула.

«Пожалуйста».

«Я женщина. Баба, по-простому говоря».

«Так. И... и что же?»

«Ничего», — сказала зелёная маска.

«Мы вас слушаем, — мягко сказал председатель. — Вы хотели что-то сказать суду. Что вы хотели сказать?»

«А то, что не каждому такая баба достанется».

«Вы хотите сказать — такая, как вы? Он вас не оценил?»

«Он ходил в деревню. Ко мне ходил, ночью».

«Как, будучи заключённым?»

«Он был бесконвойный. Ну и пользовался, что никто не видел».

«Следовательно, ещё одно грубое нарушение закона. Внесите, — сказал председатель секретарю, — соответствующее дополнение в обвинительное заключение... Продолжайте, мы вас слушаем».

«Да я не о том. Вот он, значит, ходил ко мне в деревню».

«Как называется ваша деревня?»

«Кукуй».

«Красивое название, — сказал председатель. — Далеко?»

«Что далеко?»

«Далеко ли он ходил к вам?»

«Недалече. Вёрст восемь будет. А ночи были чудные, звёзды, словно брильянты, глаз не оторвёшь!»

«Вы очень поэтически выражаетесь... Если я вас правильно понял, вы чувствуете себя оскорблённой. Чем он вас обидел?»

«Ради этого только и ходил».

«Ради того, чтобы любоваться ночным небом?»

«Люди не видали, а Бог всё видит», — сказала маска, и все согласно закивали.

«Хгм... — Председатель суда прочистил голос. — Итак?»

«Это бывает, у некоторых душевнобольных, — заметил писатель. — Когда они слышат голоса, и все их в чём-то обвиняют, ругают...»

«Это вы о свидетельнице?»

«Да причём тут свидетельница. Я хочу сказать, это бывает. Но я ведь не сумасшедший».

«Если бы он любил, — лепетала маска, — а у него только одно на уме... Придёт, и сразу — давай, ложись».

«Вы хотите сказать... э?»

Маска не слушала.

«Я-то была... какая я была, о-ох! Да на меня заглядеться можно было! Глаз не оторвёшь! Молодая, ядрёная. Шея как у царевны-лебеди. Груди белые, круг-

лые, в руки возьмёшь — словно пышки. Словно мне семнадцать лет, а соски как у зрелой бабы, словно вишни, высокие, сладкие... Вот здесь, — маска показала на талию, — тоненькая, как девушка, а бёдра! Широкие, пышные, и передница, и задница, прости Господи, да ведь только Бог один может такое создать; а самая-то сладость, она внизу, она не видна. Нежная, розовая, глубокая — пропадёшь!»

Председатель снова откашлялся.

«Вы... — проговорил он, — ближе к делу, ближе к делу...»

«То ли ещё бывало... Мы с ним и в баню ходили. Сама для него топила».

«Что за чушь, — пробормотал писатель, — какая там баня, это уж ни в какие ворота не лезет...»

«Чего там говорить, — неожиданно спокойно сказала маска. — Бросил он меня. Попользовался и бросил. А я уже была чижолая».

Наступило молчание. Председатель взглянул на секретаря, тот показал на нетерпеливо ёрзавшую розовую маску.

Послышался слабый голосок:

«Я... я хочу тоже сказать...» — и она расплакалась.

«Деточка моя, — ворковал председатель, — ну полно, полно... успокойтесь. Мы вас внимательно слушаем».

Маска хлюпала носиком поднесла к глазам под маской скомканный розовый платочек.

«Он нанёс мне жуткое оскорбление!»

«Ага, — оживился председатель, — какое же оскорбление?»

«Мне стыдно», — пролепетала она.

«Не надо ничего утаивать. Расскажите всё суду».

«Мы вместе учились».

«В университете, если не ошибаюсь?»

«Да. Он за мной ухаживал».

«Та-ак... и что же?»

«Ухаживал, ухаживал, и... и ничего. Сколько можно ждать? — закричала она. — Я спрашиваю!»

«Чего ждать?» — не понял председатель.

«Как это, чего! Вы что думаете, я первая должна?.. У меня есть гордость! Сам должен знать!»

«Простите, кто? Кто должен знать?»

«Он! Он мою девичью гордость оскорбил. Мою стыдливость. Я же не бревно! Я хотела ему принадлежать. А он? Он даже ни разу меня не обнял!»

«Неправда, — неожиданно войдя в зал, сказала девушка по имени Аглая. Она была без маски. — Он только делал вид. На самом деле он был влюблён в меня!»

«Ты? — вскричал писатель. — Как ты сюда попала?..»

«Позвольте, позвольте... — лепетал председатель. — Попрошу к порядку!»

«Минуточку, я сейчас всё расскажу», — сказал писатель.

«Нечего рассказывать. Он был недостоин моей любви».

«Вот: это она. Она стучала на меня!»

«Идиот, тебе это приснилось».

«Наденьте маску. И сядьте», — сказал секретарь.

Она возразила:

«Пошёл ты, знаешь куда?» И больше её не было.

«Есть ли ещё вопросы?» — осведомился председатель.

Никто не откликнулся.

«Слово предоставляется...» — он покосился на последнего свидетеля, это была полосатая маска, крайняя слева. Она не дала ему закончить.

«Совсем заклевали парня!»

«Так ему и надо», — заметил кто-то.

Главный судья спросил:

«Вы были с ним в связи?»

«Ну, была, — сказала маска, поправляя на лице съезжающую маску. — Плохую дали», — пробормотала она.

«Простите?»

«Маску, говорю, никудышную дали...»

«Мы вас слушаем», — мягко сказал председатель.

«Не знаю... рассказывать, что ли. Али нет?»

«Говорите, говорите!»

«Он приехал. А кто такой, никто не знает. Ну, живи, коли приехал... А на самом-то деле, оказывается, сбежал».

«Сбежал, откуда?»

«А бес его знает. Должно, от суда спасался. В бегах».

«Так. Мы это выясним. Продолжайте».

«У Колбасовых жил, на огородах. Я с ним и спозналась. Вот он и стал меня уговаривать: давай, говорит, убьём старика, Егория Петровича, а дом продадим. Я, как дура, уши развесила».

«Вы стали его сообщницей?»

«Да какая там сообщница. Я его любила, а он...»

Председатель барабанил пальцами, переглядывался с секретарём. Тот делал отчаянные знаки, стучал пальцем по ручным часам.

Председатель вознёс голову, возвестил:

«Слушание дела откладывается в виду вновь открывшихся обстоятельств!»

Тут он увидел, — все увидели, — на скамьях для публики сидит ещё кто-то. Белая, как снег, маска поднялась и зашагала к столу.

«Наше время истекло, — сказал председатель, — вы имеете что-то добавить?».

Маска медленно сняла с себя маску, и все увидели, что лица под ней нет. Что же там было? Ничего.

«Нет! — завопил председатель суда и попытался встать с места. — Кто разрешил? Кто она такая? Я не приглашал. Немедленно вывести. Здесь не театр! — кричал он, отбиваясь от удерживающих. — Здесь не сумасшедший дом!..»

Началась суматоха, маски повскакали с мест, председатель лежал на полу между стульями, закатив глаза, и кто-то делал ему искусственное дыхание. Публика, которую не пускали, вломилась в зал, и всё смешалось.

LI
Unzeitgemäße Betrachtungen.[1]
Литература как способ покончить с собой.

Снова день без числа. Вероятно, после 70-х годов.

1.

Поистине странное свойство литературы, чтобы не сказать — коварство, состоит в том, что всё, в том числе и мысли о литературе, она превращает в материал для самой себя. Весьма тривиальная мысль, но надо было, думает он, добраться до неё самому.

Литература делает сочинителя похожим на паука, который вытягивает из себя нить, покуда не израсходуется весь до конца, и вот висит, покачиваясь на ветру, иссохший, прозрачный, посреди своей сети.

Или он становится похож на того царя, наказанного за жадность, у которого всё, чего бы он ни коснулся, превращалось в золото, и он умирает голодной смертью. Литература — это эрзац самоубийства.

Писатель поймал себя на том, что в этих размышлениях есть нечто утешительное. И что разглагольствовать о литературе много приятнее, чем писать.

Лёжа на раскладушке, как Марк Аврелий в солдатской палатке, он предается философским мечтаниям и чувствует себя, надо признаться, чрезвычайно уютно. Можно оценить преимущества своего положения: никто больше не покушается на его одиночество, никто не спрашивает документов, и никто не гонит на работу. Он вспомнил, что где-то читал о том, что обезьяны умеют говорить, но молчат, чтобы люди не заставили их работать. Умницы! С точки зрения социалистической морали он был тунеядцем. Тем не менее участковый оставил его в покое. Начальство забыло. Тишина и удобная поза настроили на возвышенный лад; мысли текли, как спокойный ландшафт перед глазами путешественника, он даже задремал на короткое время, не переставая, однако, размышлять; и если не решался, в силу известного суеверия, назвать себя счастливчиком, то, по крайней мере, понимал, в чём состоит счастье, одинаковое для улитки и человека. В том, чтобы, отряхнув всё внешнее и ненужное, обрести убежище в самом себе. Или, что то же самое, в идеальном представлении о литературе.

Литература превращает всё что угодно, политику, историю, религию, мораль — в средство. В средство для чего? Для себя, ответил он. Литература срезает на корню, как срезают гриб, чтобы бросить его в лукошко, любые догмы и вероучения. Ко всем этим ужасно серьёзным вещам она относится так, как женщины относятся к разговорам о высоких материях: ведь обыкновенно женщин гораздо больше занимает, кто говорит, и как говорит, и какие чувства он при этом выражает, чем сами идеи и мнения. В этом заключается её радикальная безответственность: литература подотчётна чему-то другому: самой себе.

Литература предстала перед ним чуть ли не платоновской идеей. Некая вневременная сущность, одетая в текст. То, что мы сочиняем, — её более или менее несовершенные воплощения.

[1] Несвоевременные размышления (*Ницше*).

2.

Он и сам, без сомнения, заметил, что переселился со своим своим скарбом в собственный роман. Будь он женат, он захватил бы и жену, а так приходится тащить с собою любовниц. Так он сделался персонажем призрачного зазеркального мира.

В этом мире слов и фраз он ведёт себя так же, как вёл бы себя в действительном мире: он влачится по воле обстоятельств и, как это свойственно слабым натурам, время от ремени бунтует — таковы его «побеги». Но каждый такой побег есть не что иное, как попытка уклониться от обстоятельств вместо того, чтобы встретить их лицом к лицу. В сущности, это бегство от жизни.

Само собой, ему хочется верить, что, если он не находит себе места в обществе, то виной этому гнусное общество. Виноват, однако, он сам — в том, что он не нашёл в себе мужества подняться над ним, каким бы ни было это общество.

Его неудачи — очевидное следствие его бесхарактерности. Он прав, называя себя «некто». Такие люди бывают упрямы, вот почему он долбит своё — пишет, пишет, и всё без толку. Да, таков он, этот герой, с его желеобразной, как студень, биографией.

Отсюда зыбкость его самосознания. Этот Некто чувствует себя неуверенным; избегая местоимение «я», предпочитает обращаться к себе от имени Другого и больше всего любит говорить о себе в третьем лице. Погружаясь в сумерки своего сознания, он теряет границу между кем-то другим и самим собой. Поистине есть что-то раздражающее в этом отсутствии твёрдой почвы; всё повествование становится ненадёжным. Вывод неутешителен: абсолютной, незыблемой и несомненной действительности в его романе, как в кабинете зеркал, не существует.

3.

Вместо того, чтобы отдаться своему воображению, он дрессирует его, и оно, как учёный медведь, покорно проделывает все штуки, каких ждут от него. Вместо того, чтобы честно воспроизвести свои сны, он подправляет их, не слишком заботясь о верности своих имитаций. Он раб своего интеллекта, который «лучше знает», что такое сон, и диктует свои указания воображению.

Подсознание, едва лишь он пытается, его осознать, становится артефактом; сон денатурируется, как белок под воздействием кислоты, едва только, пробудившись, ты спешишь зафиксировать его на бумаге.

То-то и оно, что все попытки отказаться от вмешательства разума напрасны, ибо мы не в состоянии обойти его алгоритм — грамматику; мы не можем выражаться иначе, как при помощи языка; автоматическое письмо — сапоги всмятку; «поток сознания» оборачивается всё той же литературой; задача преодолеть деспотизм грамматики внутри самой грамматики и освободиться от контроля рассудка, не теряя рассудка, — кажется неразрешимой.

Психоделик, о котором — о, как давно это было, — рассказывала Валентина, которым однажды, один-единственный раз, угостила (опыт, впоследствии вычеркнутый из романа), не освободил его от сознания, но лишил обособленной личности и разрушил привычные связи между вещами. Это не был тот дивный сон, который она обещала любовнику, и не рай, воспетый Бодлером, но какое-то особое бодрствование. Бывший заключённый, он воспользовался привычной метафорой: сознание вышло на волю из тюремной камеры своего «я».

Это было внеличное сознание, присущее разве только божеству. Возможно, и она переживала на свой лад нечто подобное.

В этом состоянии они любили друг друга; комната превратилась в подвал без стен, в трюм океанского корабля, где плескались волны; возлюбленная отождествилась со снадобьем, он — с действием снадобья; она стала мужчиной, сам же он ощущал себя огромным влагалищем; он лежал внизу, на дне корабля судеб, до отказа заполненный ею, закупоренный огромным фаллом; но фаллом был и он сам; она находилась внутри, но и он каким-то образом оказался внутри, — разрешение не наступало, и они лишь измучили друг друга.

4.

Нетрудно заметить, что, пытаясь оправдать свою бехребетность, он ищет и находит алиби: это — «эпоха». Он чувствует, как зловонное дыхание века обдаёт его прозу. Некогда, говорит он себе, герой романа был субъектом истории, а теперь он лишь её жертва. Смешно и подумать о том, чтобы противостоять абсурду: мутный поток истории сбивает повествователя с ног. Романист прыгает по камням, мечтая добраться до берега, — тщетная надежда!

В чём же, спросил он, оправдание твоей разлохмаченной жизни, в чём её смысл? В литературе? Он пожимает плечами. Может быть, в любви? Ответа нет. И он задаёт себе (правильней сказать — тому, другому, сибариту на соломенном тюфяке), нелепый вопрос, был ли он достоин женской любви.

Как выглядел он в глазах женщины? Худой, костлявый — вызывает сострадание. Скрывающий своё прошлое — пробуждает любопытство. Высокий, выше среднего роста — что даёт основание рассчитывать на большой член. Неловкий, робкий, стеснительный, не умеет подать себя, не в силах себя защитить, ничего в жизни не добился. Пробуждает материнские чувства. Из тех, кто, сам того не ведая, ждёт, когда им завладеют.

5.

Только что ты сказал: мы любили друг друга; двусмысленное выражение. Как ров с водой и стены окружают рыцарский замок, так замок любви защищён от того, что обозначается этим же словом, но — вовсе не любовь. Таково противостояние любви и секса в осаждённой душе подростка. Но оправдывать платоническую любовь, когда тебе пошёл уже который по счёту десяток? Любить состояние влюблённости, а не ту, кто стала твоей избранницей?

Он вновь расписывается в своём безволии. В своей трусости. Ибо что же иное боязнь совокупления, как не бегство от жизни?

Любовь, думает он (и вспоминает увлечение глупенькой Наташей), это смесь поклонения и страха: поклонения девической прелести и страха соединиться с ней. Можно было бы сказать, что любовь — это избирательная импотенция. Означает ли это, что, vice versa, отвага, с которой мужчина овладевает женщиной, выдаёт недостаток любви? Мы во власти мифа, в каком-то смысле необходимого для мужской души и который кастрирует мужчину психологически, — мифа женской неприкосновенности и возвышенной чистоты. Любовь, говорит он себе, — это смесь поклонения и боязни оскорбить любимую покушением на её плоть. Итак, ничего не изменилось со времён Платона, вновь и вновь мы противопоставляем небесную Афродиту площадной, мечту и плоть, верх и низ.

Эти женщины, думает он (и вспоминает «суд»), воображают, будто они живут собственной жизнью; попробуй-ка возразить, что они существуют лишь в твоём воображении; но, в конце концов, и сам я, не правда ли, — плод моего воображения. Эти женщины правы; в сущности, это была всегда одна и та же женщина, которая хотела одного и того же — невозможного: чтобы её любили «не просто так», а в постели, но и не просто хотели с ней переспать, а чтобы это была любовь; развести любовь и соитие она не могла. Оттого ли, что женщина — цельное существо, в противоположность мужчине? Оттого ли что двусмысленность, игра в прятки, искусство обнажиться, оставаясь одетой, — главная черта её натуры? Или, наконец, оттого, что эта двусмысленность, двуязычие жестов, улыбок, взглядов не противоречит её цельности? И когда оказывается, что примирить ангельское и зверское невозможно, она воспринимает это и как надругательство над чувством, и как унижение плоти. Высшая тайна любви оказывается вполне банальной. Но стоит только её разоблачить, как банальность оборачивается — тут он вспомнил Машу, и ночную дорогу в лесу, и сверкающий ковш Медведицы —тайной.

6.

Суд, происходивший на самом деле, то есть в романе, заставил его задуматься, удалось ли ему взглянуть на женщин их собственными глазами. Недостижимая цель литературы, — ведь для этого нужно было отказаться от собственного языка. От того языка, которым мы только и располагаем. Есть ли у женщины собственный язык? Всё, что рассказывается в романах, рассказывается мужчиной, а если рассказывает женщина, то и она пользуется мужским языком. Означает ли это, что женщина непознаваема? Или — что она говорит языком, который вовсе не язык и подобен сновидению, где всё подчинено абсурдной логике, где смысл бессмыслен и всё пронизано не поддающимся описанию чувством? Или её попросту *нет*? Только ради Бога, никакой мистики. Будем довольствоваться, как рабочей гипотезой, презумпцией её существования. Будем считать, что мы имеем дело лишь с ролями — матери, любовницы, куртизанки, — которые она разыгрывает перед зрительным залом мужчин. Романист, сказал он себе, может лишь подражать женщине, как артист на женских ролях, как ловчий свистит голосами птиц.

Он вспомнил первое в его жизни столкновение с этой загадкой: то была девушка в бокале шампанского. Поразительно, что она сразу явилась тебе во всём своём естестве. Нагота не должна была оставить никаких секретов. На самом деле — теперь он это хорошо понимает — она-то и захлопнула перед ним врата тайны. «Comment la trouvez-vous, cette peinture?» Как тебе нравится эта картина? Что он мог ответить? Впервые она заставила мальчика почувствовать, что здесь «что-то не то». Другими словами, почувствовать себя — до всякого вожделения — мужчиной.

Ему пришло в голову, что, если при каждой встрече с незнакомой женщиной его мозг мгновенно, как при вспышке магния, фотографировал сцену обладания, то смысл этого обладания можно переписать иначе: он искал поселиться в ней. То, что именовалось жилплощадью, во имя которой сражались всю жизнь, было не чем иным, как женщиной! И расплатой за право жительства был он сам, точнее, фаллос, его единственное богатство. Ему вспомнилось, как, бездомный и бесправный, в лагерном одеянии, он явился на старую квартиру, и его встретила Валентина. Вспомнилось и тёмное осеннее утро в тот день, когда им предстояло отправиться на поклон к всемогущему Алексею Фомичу, и как, нежась в постели, она жадно разглядывала этот предмет, эту его суть, играла с

ним, словно кошка с мышью перед тем, как насладиться своей добычей. Значит, любовь — это кража? Его подруге хотелось в буквальном смысле слова похитить его член, сделать так, чтобы он навеки остался в ней, и наслаждение плоти, наслаждение властью хозяйки своих хором, собственницы и госпожи не прерывалось бы никогда.

Любил ли он её в самом деле? На первый взгляд, то же повторилось и с Машей. Он был из тех мужчин, которые ищут убежища. Каким счастьем, блаженным концом блужданий казалось — войти с мороза, захлопнуть тяжёлую дверь, сбросить своё рубище и лечь, и накрыться с головой, и обнять любимую женщину, единственную, наконец-то обретённую, и поселиться с ней в тёплой, тёмной избе, и забыть всё на свете!

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

LII
Вне всякого сомнения новые времена

16 мая 1991

В одно прекрасное, нежно-перламутровое утро летописец отправился на вокзал встретить поезд, прибывающий с северо-востока. Отворились двери вагонов, усталые пассажиры запрудили перрон. Его толкали. Он покорно двинулся вслед за толпой.

О, теперь-то мы понимаем, как опасны посягательства на суверенность памяти, попытки диктовать ей, исправлять её ошибки. Обновлять прошлое? Какая это, в сущности, неаппетитная процедура — выволакивать мертвеца из могилы, с его фанерным чемоданом, в рыжих лагерных валенках, оставляющих мокрый след, — вон он, единственный среди живых: там, на вокзальной площади, протягивает трёшницу таксисту, чтобы тот не сомневался. Четверть часа комфортабельной езды по пустынному в этот час Садовому кольцу, и — и что же? На каждом шагу он уличал свою память в подделках и подтасовках: вошёл в подъезд, но это был не тот подъезд, нажал на кнопку звонка и услышал чужой, незнакомый звук.

Сколько лет прошло с тех пор... Всё изменилось. Многим кажется — наступила новая эпоха. И, однако, он выбрал всё тот же Курский вокзал, повинуясь таинственному зову, который влечёт преступника на место преступления. Он ознакомился с расписанием пригородных поездов. Покинув вокзал, он высадился на станции метро «Кировская», и пожалуйста: название это доживает последние дни. Он свернул в переулок Мархлевского, там, где улица Кирова делает перегиб (в нашем городе прямых улиц не бывает), отыскал нужную вывеску и, войдя, спросил: кто такой Мархлевский? На что последовал лаконичный ответ: *х... его знает*!

Да, время обновилось. Время, как старый пиджак, перелицовано. Возлагал ли старый писатель на своё предприятие серьёзные надежды? Приходится признать: да, возлагал. Кто подал ему эту замечательную мысль? Не мог же он сам сообразить. Клиент извлёк из портфеля пухлый манускрипт. Пять экземпляров (для начала хватит). Нет, лучше восемь. Он получил восемь ксерокопий, вышло довольно дорого. Теперь в переплётную мастерскую.

На другой день он опять стоял у выхода на перрон, и опять это наваждение, поезд из Котласа, пассажиры выбирались из тесных вагонов, вытаскивали багаж; *опять, как в годы золотые,*[1] беспаспортный путешественник в национальном одеянии — ватном бушлате, вислых ватных штанах, рыжих валенках, ушанка на стриженой голове, — влачил перевязанный верёвкой чемодан, и бравый милиционер выудил его из толпы.

[1] Блок.

После чего аппарат остановился, и катушки завертелись в обратную сторону, время поехало вспять, толпа отшатнулась, и он с ней, пятясь, поднялся по ступенькам вагона, протискивался задом наперёд с чемоданом к своему месту, состав, толкаемый сзади локомотивом, набирал скорость. Пассажир лежал, качаясь, под потолком, на третьей, багажной полке, и оттуда показывал контролёру свою справку: *видом на жительство не служит, при утере не возобновляется,* и фотография каторжника, и лихие росчерки начальств. Кинематограф памяти негромко жужжал, крутились бобины, стрелки вращались на циферблате века, время уехало прочь, туда, откуда прибыл поезд; тёмным утром в бараке догорает тусклая лампочка над столом дневального, стриженые головы поднимаются на нарах, нарядчик с доской учёта стоит в дверях, и загробный голос на столбе вещает о том, что Великий Ус отдал концы.

Усмехаясь, писатель-фантаст перешёл через подземный туннель на платформу пригородных поездов. О да, старый проектор века выброшен на свалку, историю спустили в сортир. Что бы мы делали, не будь этих канализационных труб, по которым, невидимые, плывут и пузырятся нечистоты прошлого! Не стало больше ни бушлата, ни валенок *бе-у*: на тебе была шляпа, что само по себе говорит о многом. В пиджаке и несколько криво повязанном галстуке писатель был похож на отставного бухгалтера, на бывшего актёра из провинции, пожалуй, и на исписавшегося литератора. До Орехова-Зуева меньше двух часов; он думал воротиться в послеобеденные часы.

Занял место у окна в последнем вагоне. По утрам народ едет по большей части в город, а не из города, он надеялся начать поход в полупустом поезде, но из вокзального помещения повалил народ. Предприниматель ждал, когда рассосётся толпа, электричка неслась, оставляя позади пригородные платформы и полустанки, вереница пассажиров всё ещё тянулась между скамьями из вагона в другой вагон. Писатель стоял с сумкой через плечо у передней скамьи. Ну-с... — он прочистил горло. «Уважаемые граждане!» — начал он срывающимся от волнения голосом, доставая из сумки товар.

«Уважаемые пассажиры...»

Взять себя в руки. Смелее. Оптимистичней.

«Вашему вниманию предлагается новая книга, роман известного современного автора... — он назвал своё имя, — пока ещё не изданный. Эпохальное произведение о нашем трудном переходном времени».

Писатель вознёс над головой своё изделие. Пассажиры, уже привыкшие к вагонной коммерции, казалось, не слышали его речь. Лишь кто-то сидевший близко от входа, повернув голову, спросил: «Самиздат, что ль?»

«Зачем же самиздат? — сказал писатель. — Эти времена прошли».

«Ну это ещё как сказать, — откликнулся голос. — А ну, покажь».

Вот уже и первый покупатель.

«Остросюжетный роман, действие происходит в широком диапазоне времени... Читается захватывающе...»

Колёса стучали, неслись голые поля.

«Почём?»

«Что почём?»

«Сколько, говорю, хочешь за свой роман?»

Писатель, стесняясь, назвал цену.

«Ишь ты, — заметил пассажир, листая самодельную книгу. — Больно уж много вас тут...»

«Кого?»

«Много вас, говорю, развелось, — сказал пассажир. — Держи». Он вернул книгу и отвернулся к окну.

Продавец двигался между скамьями, размахивал книжкой, выкрикивал: «Широкая панорама истории нашей страны! Увлекательное чтение!» Кто-то окликнул его: «Папаш! А чего-нибудь повеселее у тебя нет?» Писатель возразил, что это труд всей жизни. «Агата Кристи есть?» Писатель никогда не слыхал это имя. Нет, сказал он. «Ну и хрен с тобой». Так он прошёл всю электричку, пассажиры вставали, сходили, вместо них входили и усаживались другие; усталый, он присел на свободное место, сумка с нераспроданным товаром стояла у его ног.

Прогремел мост через реку, поезд замедлил ход. Остановились у пустынной платформы. Взглянув рассеянно в окно, он увидел табличку с названием остановки. Похоже, он был единственным, кто выбежал из вагона. Поезд мягко тронулся и покатил, поблескивая стёклами вагонов.

LIII
Князь и девушка

16 мая, около полудня

Бор за эти годы изрядно поредел, погрязнел, окурки, жестянки, грязный целлофан валялись там и сям вдоль дороги. Посёлок разросся, и всё же писателю показалось, что тут мало что изменилось; он сказал себе, что это симптом старости, капитуляция перед прошлым; думаешь, что бредёшь по пустырям нового времени, а на самом деле это была всё та же оптика воспоминаний, нечто подобное обратной перспективе: отступая, прошлое становилось всё назойливей. Стало тепло, путник обмахивался шляпой. Наконец, он отыскал дачу.

Знакомые, печальные места... Вот мельница. Она уж развалилась.

Жалкое зрелище являл собой дом покойного Олега Двугривенного, окна заколочены посеревшими досками, крыльцо сгнило и обрушилось, кровля в ржавых заплатах. От штакетника мало что уцелело, и кругом всё заросло крапивой.

Стал жёрнов — видно, умер и старик.

Как вдруг показался кто-то, хозяин вышел из-за угла.

«Здоро́во, мельник!» — смеясь, сказал приезжий.

«Какой я мельник! Я ворон здешний!» — отвечал знаменитый литературный критик, но времена изменились. Теперь он был в длинной и неопрятной, сивой бороде, лыс, морщинист, в замызганной, с продранными локтями толстовке, коротковатых портах и разбитых ботинках.

«А ты — кто такой будешь?»

Писатель назвал себя. Бывший Олег Двугривенный изобразил напряжённую думу.

«Не помню. Зачем пожаловал?»

«Дедушка, мы ведь знакомы. Я у тебя был».

«Это когда же?».

«Я ещё роман свой приносил... помнишь?»

«Чего это ты меня на ты называешь?»

«Да ведь мы оба старики. Стало быть, не помните?».

«Может, помню, а может, не помню. Много вас тут было... Чего надо? Зачем пришёл?»

«Да, собственно, ни за чем».

«Ну и вали отсюда».

Разговор в этом роде продолжался некоторое время, после чего хозяин дачи сделал вид, что узнал, наконец, гостя, а может быть, и в самом деле вспомнил. Обогнув дом, пробрались с задней стороны в сени, писатель узнал деревянную лестницу, с потолочной балки свисал канат. Хозяин сбросил обувь и с непостижимой ловкостью вскарабкался наверх, ухватившись за канат, перебирая по ненадёжным ступенькам грязными ступнями с когтями вместо ногтей. Следом за ним полез приезжий.

«Прошу в кабинет».

Здесь по-прежнему стоял письменный стол и висел портрет. С этой стороны окна не были заколочены, пыльный солнечный свет прокрался в комнату. Гость окинул горестным взглядом весьма пострадавшую библиотеку.

Олег Михайлович пробормотал:

«Растащили всё, гады...»

«Кто?» — спросил писатель.

«Да мало ли кто. Я и сам кое-что продал. Жить-то надо... Вот, — сказал старец, показывая на бумаги под слоем пыли. — Работаю, пишу мемуары... А ты вроде бы тоже... писатель?»

«Вроде бы».

«Ну и как?»

«Да никак». Гость сидел на диване, поставив между ногами свою сумку.

«Написал чего-нибудь?»

«Чего-нибудь написал».

«Новый роман?»

«Не совсем. Вернее, всё тот же».

«Автор одного произведения. Хвалю».

Громко сопя, он занялся своей бородой, гладил, схватил в кулак, спросил:

«По вагонам ходишь?»

«Откуда вы знаете?»

«Многие ходят. Кто торгует, а кто и просто побирается. До чего мы докатились. Это надо же. Какую Россию потеряли!»

«Какую?» — спросил гость.

Критик насупился.

«Великую, вот какую. Великую державу. И великую литературу... Что там у тебя?»

Писатель расстёгивал сумку.

«А-а, — сказал критик разочарованно. — Я думал, пожрать что-нибудь...»

«Может, сходить купить что-нибудь?»

«Куда?»

«Я видел магазин на станции».

«Х-ха. В этом магазине — шаром покати. Как и повсюду, впрочем. Докатились».

«Как же вы питаетесь?»

«А? Как питаюсь. Да вот так и питаюсь. Дочка обо мне заботится. Я продал мельницу чертям запечным. А денежки отдал на сохраненье...»

«Кому?» — спросил писатель.

«Дочке, кому же. Это чьи же творения, твои, что ль?»

«Я вам когда-то показывал...»

«Когда это? А, ну да. Ещё до всей этой заварушки?»

«Вы, как Фирс», — сказал писатель, продолжая литературный разговор.

«А? Кто?..»

«Фирс, у Чехова».

«Ну и что».

«Фирс говорит: перед несчастьем. Перед каким же это несчастьем? А он отвечает: перед волей».

«Подавиться бы им всем этой волей... Как же, помню, помню. Это ты тогда ко мне приходил? Ко мне многие ходили. Нужен был, вот и ходили... Какая-то автобиография, что ли?»

«Роман».

«А, ну да. И что же, пристроил его куда-нибудь?»

«Да вот он, — терпеливо сказал писатель. — Я его с тех пор переписал... кое-что добавил»

«Это как же так получается. Это, выходит, всю жизнь потратил, писал свою книгу, а теперь никто и читать не хочет!»

«Выходит, так».

«Вот до чего дело дошло. В рот их туда-сюда. Всё просрали! Ещё Розанов писал: не осталось царства, не осталось церкви, что ж осталось-то? Ничего! А кто виноват?»

«Не знаю. Никто».

«А вот я тебе скажу. Они! Они всё и порушили. Либералы проклятые. Ведь это надо же! Была великая страна, весь мир нас уважал. Извини, — сказал старик, — я это, как бы сказать, поиздержался. Не одолжишь ли мне... заимообразно...»

«Мы сейчас быстренько организуем, — бормотал Олег Михайлович, засовывая денежную бумажку глубоко в карман штанов, наклонился и вытащил откуда-то бутылку. — Там ещё маленько осталось... — Явились и стаканы. — Только вот закусывать придётся, хе-хе, мануфактурой...»

«Ну-с, со свиданьицем!» — сказал Олег Михайлович.

Выпили какую-то гадость.

«Ты не смотри, — продолжал он, — что я выгляжу не больно шикарно. Я тебе могу оказать содействие. У меня есть связи. Есть ещё порох в пороховницах. Знаешь что. Я за тебя похлопочу в нашем союзе».

Писатель спросил, что это за союз.

«Союз русских литераторов. Неужели не слыхал?»

Писатель сказал, что он один раз в жизни состоял в союзе. Вернее, в поэтической студии. Давно дело было.

«А! ты, значит, ещё и поэт!»

Гость покачал головой.

«Мы издаём журнал, — сказал Олег Двугривенный. — Хороший журнал, солидный. Патриотический журнал. То есть пока ещё не издаём, но дело на мази. У нас самые лучшие силы, те, кто болеет за державу. Большие русские писатели».

«Например?»

«Например... Какие ещё тебе нужны примеры! Потерпи малость. Дай срок. Мы ещё своё возьмём. Всю эту сволочь поганую — под ноготь! Вот так! Под ноготь! Ну, давай ещё по одной»

«Что это за напиток?» — спросил гость.

«Хороший напиток, не волнуйся. Только им и живу».

Волшебное зелье было, по всей вероятности, плохо очищенным самогоном.

Возвращаясь, писатель сбился с пути. За деревьями блестела вода. Оказывается, здесь был пруд. Он раздвинул кустарник, спустился к берегу. Это было большое озеро

Подул ветер, и закачались камыши. Рябь бежала по воде. Кто-то купался в озере. Пошли круги, вынырнула мокрая девическая голова, показались худенькие плечи, ключицы, тёмные соски, она встала по пояс. Девушка из бокала. Путешественник разинул рот. Почти непроизвольно, повинуясь действию любовного напитка, он двинулся к воде и тотчас провалился в прибрежный ил.

Откуда ты, прекрасное дитя?..

LIV
Урок политической экономии. Главное — оставаться оптимистом

16 мая

Зуево, ху...во, думал он, выходя. Народ спешил мимо. Коммерсант стоял с сумкой за плечами на опустевшем перроне. Его окликнули:

«Гражданин писатель!»

Услыхав такое обращение, ты невольно поёжился. Некто спешит навстречу, словно поджидал тебя.

«Гражданин писатель... можно вас на минутку?»

В чём дело, спросил приезжий.

«Вы, как я слышал, продаёте сочинения».

«У меня только одно сочинение, — возразил писатель, — хотите купить?»

«Мы вернёмся к этому вопросу», — ответил человек уклончиво. Он попросил разрешения представиться, осторожно осведомился: а вас как?

Романист смотрел на диск вокзальных часов. Обратный поезд уже стоял на соседнем пути. Как, воскликнул человек по имени Яков, — можно просто Яша, пояснил он, — вы уже возвращаетесь; по-моему, не стоит торопиться.

«А я думаю, стоит. Следующий будет только через два часа».

«Орехово-Зуево очень интересный город, — сказал Яша. — Красивый город».

«Орехово-Зуево меня не интересует», — сухо сказал писатель.

«Жаль. Я всё же попросил бы вас задержаться... ненадолго. Есть небольшой разговор. — Он добавил: — На коммерческие темы».

Писатель поплёлся следом за человеком к зданию вокзала. Вы, наверное, здесь никогда не были, говорил Яша, между прочим, этому городу не то триста, не то четыреста лет. Тут когда-то жил фабрикант Савва Морозов, слали про такого? Они вошли, но не через главный вход, а в дверь за углом, где в

небольшой комнате на двух скамьях ожидала компания, человек пять. Писатель попятился.

«Ну что вы, — сказал Яша, — вас никто не тронет. Поверьте, мы не грабители. Мы все здесь такие же, как вы... Присаживайтесь».

Писателя познакомили с Натальей Викторовной, попросту тётей Наташей, дородной дамой, на вид не меньше сорока, не больше шестидесяти, в вязаной кофте болотного цвета и просторной тёмной юбке.

«Ты бы сбегал за...» — отнеслась она к Якову.

«Яволь. Айн момент», — сказал Яша по-немецки и явился через несколько минут с харчами и пивом.

Две скамьи были сдвинуты навстречу друг другу, на одной разложили бумагу с докторской колбасой, нарезали толстыми ломтями батоны, открыли две банки бычков в томате, расставили бутылки и картонные стаканчики. Тётя Наташа как старшая уселась подле импровизированного угощения, тут же посадили писателя, остальные расположились на другой скамейке.

Отворилась дверь, показалась блинообразная милицейская фуражка с новеньким латунным орлом.

«Афанасий Ильич, вы в самый раз, — промолвила тётя Наташа, — выпейте с нами за компанию».

Афанасий Ильич постоял, помолчал. Затем, приосанившись, принял из её рук полный стакан пенящегося напитка. Бодро опорожнил, прожевал ломоть хлеба, щедро нагруженный колбасой, утёр усы, напомнил:

«Распитие спиртных напитков в помещении вокзала строго воспрещается».

«Яволь», — откликнулся Яша, и милиционер удалился. Пир продолжался, руководила тётя Наташа, как выяснилось, актриса.

«Бывшая», — уточнила она.

«Вы больше не играете?» — спросил писатель.

«В некотором смысле нет, в некотором смысле да. У нас, знаете ли, всё стало театром. А вы, значит, посвятили себя литературе?»

В некотором смысле, отвечал писатель.

«Можно взглянуть?.. Хм, — проговорила она, — я думаю, это вам дорого обошлось. В смысле, бумага и прочее. Перепечатка тоже, наверно, недёшево стоила».

«У меня своя машинка».

«Вот как. Я вижу, вы состоятельный человек».

«Да какое там».

Тётя Наташа выразила понимание.

«Ксерокс, переплёт — кто вам всё это делал?»

«На улице Мархлевского... может, знаете».

«Слыхали».

«Жутко дерут», — заметил кто-то.

Наталья Викторовна проговорила:

«Как всё-таки всё изменилось. Ведь ещё совсем недавно, копировальный аппарат, Господи Боже! Всё было за семью замками».

«Запросто срок можно было схватить», — подхватил кто-то.

«Да, мы, можно сказать, свидетели великих событий... Извините за нескромный вопрос. Окупить расходы вам, по крайней мере, удалось?»

Писатель покачал головой.

«Ничего удивительного. Ведь правда?» — она оглядела коллег. Компания помалкивала, сосредоточенно доедала яства, допивала питьё.

«Вы, как я понимаю, новичок».

«В литературе?» — спросил писатель.

«Причём тут литература — я имею в виду торговлю».

Романист сделал неопределённый жест.

«Не буду вас мучать загадками. Мы тут все торговцы. По разным причинам — вы меня понимаете — оказалось, что добывать таким способом средства на пропитание всё ж таки легче, чем по своей специальности, а у многих ещё к тому же семья... Я вот, например, двадцать лет проработала в разных театрах, и в провинции, и в Москве, здесь, между прочим, в зуевском районном театре, начинала. Уже и амплуа успела два раза сменить. Пока мне не пришла в голову, как говорится, счастливая идея. Вам, очевидно, тоже».

«Мне посоветовали», — сказал писатель.

«Поздновато, пожалуй... Вам не кажется?»

«Пожалуй».

«Вы, опять же прошу прощения, женаты? Дети, внуки?»

Он отвечал, что живёт один.

«Ваше счастье. А мне сына надо устраивать в институт, а то ещё не дай Бог в армию загремит. И дочку поднимать надо. Я одна обоих растила... Но зато мне моя профессия очень помогла. Коммерсант, я вам скажу, должен быть актёром, иначе дело не пойдёт... И людей удалось подобрать, я хочу сказать: коллег по общему делу. Они на меня не в обиде, ведь правда?»

Компания дружно закивала. Яша сказал:

«На вас, тётя Наташа, можно сказать, всё держится».

«Ну, не всё, но как-то дело идёт. Кое-какие связи удалось завязать. Без связей, дорогой мой, тут и трёх дней не продержишься...»

«Вы тоже продаёте литературу?»

Наталья Викторовна обвела компанию ироническим взором. Кто-то хихикнул.

«Так вот, если вернуться к нашему разговору... У вас довольно толстое произведение. Почему вы его не опубликовали обычным способом, как все?»

«Не все».

«В конце концов, у нас сейчас свобода, пиши что хочешь».

«Я всегда писал что хотел».

«А, понимаю. У меня был один знакомый, всю жизнь писал в стол...»

«А теперь?»

«Теперь? Он умер, не дождался... Короче говоря, что я хочу сказать. Напечатают или не напечатают, это ещё бабушка надвое сказала, ведь правда? А если ещё к тому же ваш роман не обещает прибыли...»

«Не обещает».

«Вот видите. Ну что ж, — сказала она, подумав немного и переходя на ты, — давай, куплю у тебя, пусть это будет твой первый проданный экземпляр. Не знаю, конечно, может, и не стоит читать, а? Сам-то ты, кажется, не очень уверен... Сколько с меня?»

Писатель робко назвал цену. Мне советовали, объяснил он.

Тётя Наташа усмехнулась.

«Кто это тебе советовал? — Она отсчитала бумажки, романист сунул выручку в карман. — За такую цену вряд ли у тебя найдутся покупатели. Ты о конъюнктуре хоть какое-то представление имеешь? Это же рынок».

«Я тоже подумал, может быть, надо...»

«Рынок, дорогой мой! Не фунт изюма. Будущее покажет, если, конечно, ты здесь удержишься. Так вот, собственно говоря, об этом мы и хотели с тобой потолковать... Ты человек интеллигентный, мои люди сразу это заметили, не хам, не рвач. И, конечно, извини за резкость, полный идиот... Так что придётся тебе объяснить азбуку нашего дела. Коммерция есть коммерция».

«Это верно», — уныло сказал романист.

«Ты слушай, что тебе говорят... В одиночку, дорогуша, работать никак невозможно. У нас теперь, конечно, капитализм, каждый может делать что хочет. Только вот не каждому позволено. Если тебя сегодня не ссадила с поезда милиция, то это твоё счастье. Торговля в поездах, да будет тебе известно, считается незаконной. Штраф как мининум. А можно и срок схлопотать».

«А как же тогда...»

«Прошу не перебивать. Да, штраф. Да ещё и по шеям надают. А другой раз попадёшься, — под суд. Но это пусть тебя не беспокоит. Ты мента этого видел, Афоню нашего, Ильича? Я ему скажу пару слов. А он поговорит с кем надо. Это не главное. Ты об уголовном мире имеешь представление?»

«Я вообще-то сидел», — объявил неожиданно приезжий.

«По бытовой статье?»

«Нет, пятьдесят восьмая. Давно было дело».

«Ну, всё равно. Я что хочу сказать? Ведь тебя же моментально наколят. Сегодня сошло, завтра сошло, а потом подойдёт к тебе такое рыло — конечно, не в вагоне, — поговорить, — и никуда не денешься! Отнимут товар, отнимут выручку, это ещё самое безобидное... Чуешь, к чему я клоню? Нужна профессиональная солидарность».

Она взяла бутылку, встряхнула.

«Допивай. Нехорошо оставлять. У нас тут, — тётя Наташа показала на коллег, — пока что, слава Богу, всё в порядке. Ты платишь мне, я расплачиваюсь с бандитами. Только уговор: ничего не утаивать. Идёт?»

«А если ничего не продам?»

«Значит, и платить нечем. Очень просто. А вообще, если появятся какие-нибудь вопросы, обращаться к Якову. Он у нас доцент, бывший завкафедрой — в Челябинске, если не ошибаюсь?»

«В Свердловске», — сказал Яша.

«Ты, я тебе скажу, — продолжала Наталья Викторовна, — ты не тушуйся. Коммерция — это такое дело, это как погода. Начинаешь, вроде бы ничего не получается, неходовой товар. Но представь себе, что вдруг твои книжки начнут хорошо раскупаться. Один купит, другой, смотришь — всю торбу распродал. Уверяю тебя: недели не пройдёт, как появятся конкуренты. И не печатным материалом начнут торговать, а вот именно таким, как у тебя, самодельным. Твои же книги будут продавать, да ещё выдавать за свои. Книжная торговля, вообще говоря, на Горьковской дороге не новость. Да и на Октябрьской вроде бы кто-то уже промышляет... Но товар надо уметь раскрутить. Как говорится, сесть на позицию».

Помолчали, после чего тётя Наташа похлопала писателя-коммерсанта по колену.

«Вот так, друг любезный... Ты меня понял».

LV
Академик Курганов

26 августа 1991

Бывший Олег Двугривенный имел в виду собрания в доме Игоря Валериановича Курганова. Ещё одному лицу давно пора появиться на этих страницах. Последний представитель некогда славной московской школы математиков, автор известных работ по аналитической теории чисел, член-корреспондент Академии наук и почётный член иностранных академий, Герой социалистического труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий и, как говорили, без пяти минут нобелевский лауреат, — таков этот муж, out of thy star,[1] как говорит Полоний, дотянуться до него и во сне не могло бы присниться. Спасибо Олегу Михайловичу: он представил тебя великому человеку.

Вот он стоит у окна своего кабинета, обозревая с высоты десятого этажа мост и скучные дома на другом берегу. Медленно влачатся мутно-зеленоватые воды. Приходится признать, легендарный основатель нашего города выбрал место, по тем временам, может быть, и выгодное, — холм над излучиной, — но для будущей столицы полумира всё же мало подходящее: слишком уж неказистая речка омывает её гранит.

Существует взгляд, по которому с возвышением Москвы, подмявшей под себя прочие княжества, история будто бы совершила промах. Ложный взгляд! Именно Москва — а не Тверь, не Ярославль, не торгашеский и поддавшийся западному влиянию Новгород — стала достойным преемником одряхлевшей Византии, именно этот выбор позволил нам стряхнуть с себя монгольское иго, расширить границы, создать могучее национальное государство.

Да и вредная идея, ибо сеет сомнение в богоизбранности России.

Эти мысли прервал колокольчик в прихожей; мрачно-гнусавым боем отозвались на явление первого гостя часы в гостиной.

Жилплощадь Игоря Валериановича отвечает его званиям и заслугам. Дом ответственных работников, квартира — просторные, старомодно-темноватые хоромы с большой и малой столовой, рабочим кабинетом, спальнями и так далее. Свой путь в науке Курганов избрал ещё школьником. Математический гений расцветает рано. Доказательство правильности гипотезы Римана о нулях дзета-функции; одной из семи проблем тысячелетия, было найдено Игорем Валериановичем в 23 года

Дальнейшее восхождение происходило уже не столько по учёной лестнице, сколько по административной и партийной. Поездки с делегациями за границу, борьба за мир, председательствование на конференциях, сидение в президиуме торжественных заседаний образовали важнейшую часть его многогранной деятельности. На склоне лет он стал депутатом Верховного Совета и членом ЦК. Важно, однако, отметить, что Игоря Валериановича отличала широта интересов. Теперь, когда развал государства, упадок Академии (одно время дело дошло до того, что перестали вовремя выплачивать оклад) и общее гибельное направление так называемой перестройки потрясли самые основы народного и национального бытия, он обратился к отечественной истории. В смутные годы выкристаллизовалось его мировоззрение как философа и патриота, сложилось стройное учение, в котором строгость мышления, воспитанного в школе точных наук, соединилась с метафизическим взглядом, логика с интуицией, научная методология с православной верой.

[1] не тебе чета («*Гамлет*», 2, 2).

Общеизвестны попытки построить единую концепцию исторического процесса. Шпенглер и Маркс равно потерпели позорный крах. Лишь Курганову удалось разгадать загадку истории, разоблачить ту скрытую демоническую силу, которая стоит за событиями, манипулирует политиками и народами. Как пример можно указать на тайные пружины февральской революции 1917 года и последующего большевистского переворота. Установление этого факта по праву считается вторым после доказательства римановой теоремы крупнейшим достижением академика Курганова.

Изменился и круг друзей. Теперь за большим столом в гостиной, под пыльной люстрой собирались писатели, публицисты, лица духовного звания. Поздние отпрыски царской семьи порой украшали общество, как украшают грудь состарившейся дивы фальшивые брильянты. Здесь царило благолепие. Ощущалась особая теплота. Здесь изъяснялись на особом языке, смеси дореволюционного с простонародным. Здесь говорили «не токмо» вместо не только, «потому как» вместо потому что, «ежели» вместо если; здесь был любим высокий штиль, употреблялись такие слова, как державность, духовность и соборность.

Два слова о домашней жизни И. В., дабы завершить это краткоее введение. Быт пожилых супругов был подчинён заведённому порядку. Об изменах не могло быть и речи. Сусанна Ароновна, некогда бывшая ученицей Игоря Валериановича, настолько же невзрачная и щупленькая, суетливая и тихая, как мышка, насколько мастит, осанист, величествен, крупно-благообразен был 75-летний патриарх, принадлежала к числу тех умных женщин, которые понимают необходимость периодически, не дожидаясь, когда взорвётся котёл, выпускать пар, и прочно держала в руках контроль. Барышни, посещавшие дом, являлись по очереди, раз в неделю, ритм, признаваемый наиболее целесообразным для здоровья и с точки зрения приличий. Первая, совсем молоденькая, вертлявая и смешливая, приезжала рано утром, выпархивала из такси, вбегала в подъезд и, не здороваясь со сторожихой, исчезала в кабине лифта. Войдя в опочивальню, сбрасывала длинное пальто, под которым не было ничего, кроме узорчатых паутинных чулок с лазоревыми подвязками, отшвыривала туфельки на шпильках и, приподняв шёлковое китайское одеяло, будила спящего академика поцелуем. Некоторое время проходило в играх, в более или менее успешных объятьях, после чего Игорь Валерианович вновь дремал, эфирная гостья скучала, мечтала, глядя в потолок; пробуждаясь, он нежно целовал её на прощанье, иногда отечески журил: «Небось, к Кубышкину тоже ходишь». — «Папочка, ты у меня один». — «А вот мне Фёкла Даниловна докладывала». (Та самая сторожиха-консьержка). — «Да врёт она!» — «А вот давеча тебя видели». — «Да ведь он еле ползает, куда ему...» — «Козёл вонючий, сколько он тебе платит?» Девушка хныкала, клялась в верности и теребила золотой крестик между миниатюрных грудей. «Больше не будешь? — притворно-грозно спрашивал академик. — А то разлюблю».

Нельзя думать, будто финансируемая любовь исключает человеческую сторону отношений. Вторая посетительница была женщина зрелой комплекции, с круглым мягким лицом и вся мягкая, не жадная до денег, чем выгодно отличалась от феи в пальто, добрая, сострадательная, умевшая по-матерински приласкать и обогреть у большой груди, расчесать бороду, уложить седые кудри, исцелить душевные раны (у кого их нет?). Приходила по вечерам и, когда хозяин засыпал, пила чай на кухне с хозяйкой.

LVI
Пир витязей в шатре над речной излучиной

26 августа

«Благослови, Господи, сей дом, и хозяев его, и трапезу».

Окончен краткий спич духовного лица, взметнулся, помавая семо и овамо, просторный рукав чёрной шёлковой рясы.

Пауза

«Ну-с, государи мои... — промолвил Игорю Валериановичу, и общество, оторвавшись от созерцания пиршественного стола, обратило взоры к хозяину, — кх-гхм! Не будем омрачать этот маленький праздник последними новостями, вы, наверное, уже прочли речь этого, как его, так называемого президента... ужас, ужас, ничего другого не скажешь...»

Он вздохнул, и все вздохнули.

«Позвольте мне поднять этот бокал за...»

Все схватились за рюмки. Так некогда на крутом берегу Днепра княжеская дружина вздымала кубки с пенным напитком и дружно чокалась.

«Ах, хороша!»

«Отлично пошла!»

«За вас, за вас, Игорь Валерьяныч! И где это вы такую достаёте, поделитесь секретом!»

«Как там сказано, отец Савватий? Его же и монаси приемлют».

«Так точно-с». Тотчас налили по второй. Вилки пирующих тянулись к селёдочке, к свежему хлебу, к грибкам, ножи золингенской стали смело нарушили девственность ароматного сливочного масла. Ложечками из ваз загребалась икра, из овальных судков щедро накладывались на тарелки паштеты и винегреты.

«Позвольте огласить, — хозяин постучал вилкой о бокал, — повестку дня. Хотелось бы — как и обещал — ознакомить вас с новой моей работой, некоторыми новыми мыслями... буду весьма признателен за деловую критику. Это первое. Во-вторых, высокочтимый Олег Михайлович (кивок в сторону принаряженного Олега Двугривенного) доложит о проекте журнала. Дело, как вы понимаете, чрезвычайно ответственное. Думается, — здесь академик Курганов употребил привычный партийный оборот, — думается, что назрела необходимость».

«Мы обязаны дать отпор», — вставил Олег Двугривенный.

Игорь Валерианович несколько начальственно покосился на критика, помолчал, провёл холёной рукой по голубым усам и погладил раздвоённую бороду.

«М-да. Вот именно... Но прежде отдадим должное благам земным. Впрочем, прошу не слишком налегать на закуски, предстоит нечто более существенное...»

В эту минуту в углу из стоячего дубового гроба вновь пробили часы. Хозяйка дома выглянула из дверей. Немного погодя, ведомый Сусанной Ароновной, в сопровождении двух помощниц в кружевных наколках и передничках, въехал на колёсиках столик с большой эмалированной кастрюлей. И когда под изумлённый ропот публики была поднята крышка, густой пар, дивный дух шибанул, разнёсся по всему чертогу — это были пельмени, они самые, из тончайшего теста, сваренные в бульоне из костей, с начинкой из нескольких мяс,

при этом лук и чеснок для фарша обязательно рубится ножом, никаких мясорубок! Хо-хо!

«Хе-хе..»

«Ничего себе, скажу вам...»

Сусанна Ароновна, в хлопотах вокруг стола:

«Вот сметана, вот уксус, перчик... маринованые грибочки. Масло, кто желает».

«Мать честна́я... а это что?»

«Толчёный орех с баклажанами, в лимонном соусе, прошу...»

«О! а там что? — Бархатный баритон: — Господа, позвольте выпить».

Игорь Валерианович, с кубком в руке, со слезами на глазах, воздвигся над пиршественным столом.

«Ваше императорское высочество, высокочтимый отец Владимир, дорогие друзья... Извините, не могу более сдерживать свои чувства... Не могу выразить, до чего я тронут. До чего счастлив встретить скромный мой юбилей посреди стольких милых мне лиц!»

Шум поздравлений перекрыл его спич. Встали с мест. Кто-то приблизился особливо чокнуться и облобызать именинника.

«Право, не ждал, что мне, в мои преклонные годы придётся пережить то, что все мы сейчас переживаем. В самые страшные, в самые опасные моменты нашей истории, которая совершалась на наших глазах, в годину войны, не было такого мрака, такого, я бы сказал, позора!..»

Старик опустил кудлатую голову и, казалось, раздумал пить.

«Господа, — кто-то робко подал голос. — Да что же это такое — пельмени остывают!»

«Но дайте же договорить Игорю Валерьянычу! Игорь Валерьяныч, просим».

«Совершенно справедливо, — горько усмехнулся хозяин, — остывают, чтоб им ни дни ни покрышки! Выпьем, друзья мои, за то, чтобы весь этот морок, вся эта чёрная туча над небом отечества рассеялась...»

Звон бокалов, стук вилок покрыли его слова. Рассеялось впечатление от горестного тоста. Отчество академика приняло удобопроизносимый вид.

«Мастерица, надо сказать, ваша супруга, Игорь Вальян-ч... Отродясь не вкушал...»

«Истинная правда, Олег Михал-ч. Совершенно с вами согласен».

«А как насчёт того-этого?..»

«Юные пионеры, будьте готовы».

«Всегда готовы! Ах, хороша!»

«Где там у нас грибочки... Подать их сюда! Нет, до чего дело дошло, а? Намедни открываю Литературную газету и читаю...»

«А кто автор? Ну, ясное дело».

«Козёл вонючий...»

«Ничего не поделаешь, я вчера получил гороскоп, вы, прошу прощения, имеете представление о звездословии?»

«Чего? Понятия не имею».

«Печальная, надо сказать, картина. Аспект планет сугубо неблагоприятен. Юпитер... известно вам, какую роль играет Юпитер?»

«Понятия не имею. Патиссончики ничего...»

«Покровительствует нашему отечеству, к вашему сведению. Так вот, представьте, повреждён соседством Сатурна».

«Это как же понимать?»

«А вот так и понимайте».

«Бредни всё это...»

«Не-ет-с. Не совсем. Нет, он всё-таки прав. Необходимо сплотить все патриотические силы. Дать отпор».

«Эх... семь бед, один ответ. Положите-ка мне ещё...»

«Битте-дритте!»

«Как живёте-можете, ваше императорское высочество?»

«Вашими молитвами... вашими молитвами».

«Если я правильно вижу сложившееся положение... шансы на восстановление законной монархии...»

«Возможно. Возможно».

«Да ведь в том-то и заковыка, кого считать законным».

«Великая княгиня Леонида...»

«Да какая она великая княгиня...»

«Из грузинского царского рода».

«Да какой там царский. Седьмая вода на киселе».

«Ну, не скажите».

«У них там все князья. Если уж говорить, нам нужен наш, русский монарх».

«Где ж его возьмёшь? Коли вся династия перебита».

«Паштет, скажу я вам, что надо!»

«Ожидается высочайший визит».

«Это кто ж такой?»

«Государь наследник цесаревич и великий князь Георгий Михайлович, к нам, в Россию...»

«Откуда?»

«Хрен его знает...»

«Я попросил бы всё-таки не выражаться. Всё-таки, знаете..»

«Да, но как быть с дворянством».

«С каким это дворянством, никакого дворянства больше нет».

«Как это нет».

«А вот так. Дворянство везде исчезло или исчезает. Только в других странах оно оставило наследника, а у нас...»

«Вы что же, считаете, что русский народ брошен, так сказать, на произвол судьбы?»

«Да-с, считаю».

«Это что ж такое, а? Братцы! Жомини да Жомини, а об водке ни полслова!»

Глохнут, сливаются в общий гул голоса, алеют потные лица, пир вступил в заключительную фазу

«Между прочим, совершенно неопровержимые данные. Игорь Вальян-ч, вы слыхали? Ельцин-то, оказывается, еврей! — На одну четверть, это известно. — Не на одну, а на три! — Ну и что? — Как это, ну и что. — Бредни всё это. — Ну, не скажи. — Братцы! Жомини да Жомини... — Вася! Я ведь её любил. А она... — Отец Кирилл, позвольте с вами чокнуться, так сказать, индивидуально... — Вот вы говорите, дворянство... — Слушай-ка, а кто это там, никак

Двугривенный? — Да ведь ты с ним уже здоровался. — Что-то не припомню... — Трёхкопеечный. — Вот сука, и он здесь. — Повреждён Сатурном... — Нет, до чего дело дошло... — Господа! (Стук вилкой о стакан). Господа, Игорь Валерианович просит всех в кабинет».

LVII
Русская рапсодия

26 августа, на закате солнца

Окончен пир, затихли песни, обессилевшая дружина лежит вкруг шатра на зелёном взгорье. Сколько-то времени ушло на рассаживание, преодоление послеобеденной сонливости, размешивание сахара в чашечках чёрного, как совесть злодея, кофе. Наступило молчание. Воцарился тот особый, пепельно-мглистый предгрозовой сумрак, за которым должен последовать громовой разряд.

Слышался шелест бумаги, лёгкий удар стопкой страниц о письменный стол. Щёлкнул выключатель настольной лампы. Полоска света пробилась из-под двери. И голос мужа из кабинета достиг чуткого уха Сусанны Ароновны.

В данной работе...

Теперь вся она превратилась в слух.

...проанализированы с православных позиций ход и направление истории России в XX веке перед лицом надвигающегося нового мирового порядка. Позволим себе утверждать, что этот новый порядок однозначно расшифровывается как грядущее царство Антихриста.

Слышалось:

Силы, стоящие за ним, рассматривают Россию как главное препятствие для осуществления своих целей. Ибо они понимают, что только Россия...

Доносилось:

Русский патриотизм есть великий мистический, метафизический, геополитический, исторический, державный и эсхатологический Проект, доверенный избранному народу великороссов... Русский патриотизм напрямую связан с таинством пространства как отражения вечности в имманентном мире...

Робкие хлопки на миг прервали чтение. Тишина, и снова:

Русский язык является языком потустороннего, он непереводим на другие языки. На русский язык можно сделать только плохие переводы с других языков, ибо мелочность содержания других языков...

Шелестит переворачиваемая страница.

Наше национальное положение в сегодняшнем мире требует от нас соборного обновления Русской Доктрины. Нас, русских, хотят загнать в угол, пользуясь нашей незлобивостью, нашей сосредоточенностью на духовном...

Слышалось:

Осознание причин и смысла нашей нынешней национальной катастрофы, установление конкретных носителей исторической вины...

Кто-то всхлипнул. Смущённое сморкание. Мгновение тишины. Мягкий академический баритон, натренированный в выступлениях, так хорошо идущий (подумала Сусанна Ароновна) к голубовато-седым кудрям и усам Игоря Валериановича:

Целый ряд исторических фактов... Как подчёркивает наш современник, выдающийся русский историк Михаил Назаров... Нас, совопросников мира сего, обвиняют в клевете. Хочется спросить: на кого? Не может быть клеветой то, что является правдой... Сражение с чёрными силами... Царство Антихриста.....

Голос окреп, посуровел.

Необходимость выработки ответственного, национального отношения к феномену еврейства...

Проблематика крови...

Еврейско-большевицкий переворот 1917 года как предпосылка красного террора и голодоморов и безуспешность попыток ассимилировать евреев, этот как исторически, так и биологически абсолютно чужеродный паразитический элемент.

Часы из гроба:

«Дон!.. Бом!..»

Слушательница нехотя поднялась со стула. Привычное восхищение мужем, его умом и эрудицией достигло высшего градуса. Не так уж важно было, о чём вещал Игорь Валерианович: голос мужа погрузил Сусанну Ароновну в эротический экстаз. Домашние заботы призывали. Как вдруг распахнулась дверь кабинета.

Некто с тоскливо-страдальческой миной вышел, извините, пробормотал он, где у вас?.. Сусанна Ароновна гневно взглянула на покинувшего собрание, молча, презрительно показала пальцем, куда идти. Несчастный писатель едва сумел добрести до заветной дверцы, еле успел дрожащей рукой задвинуть дверную задвижку, расстегнуть и спустить штаны. Кафельные стены уборной потряс взрыв. Это был рецидив старинного недуга. Грозное напоминание. Режущая боль в животе вновь вынудила страдальца покинуть нары. Он заковылял в тамбур, в умывальню между двумя барачными секциями, к помосту с круглыми дырами. *И пайка, и место на нарах, и в хладном сортире очко,* — как сказал псалмопевец, лагерный рапсод. Никуда они не делись — ждут тебя.

Не пропал в тумане времён дом бабуси Швабры Анисимовны, сто первый километр, там тоже всё скучает по тебе. Долой хронологию — калейдоскоп поворачивается как вздумается, так и сяк. Писатель выбрался из своей комнатки со щелястым полом, вышел в огород. В сумерках зашлёпал к дощатому домику-скворешнику, корчась от спазмов, усёлся там на корточках, орлом, как это называется.

LVIII
Интервью. Последнее приключение автора «Вчерашней вечности».

1991 г.

Около этого времени происходит нечто невероятное, чудо телефонии: неожиданный звонок повергает в тревогу соседей и приводит в боевую готовность никогда не дремлющий инстинкт бдительности.

Да, звонит телефон в коридоре, ничего особенного; но звонок необыкновенный — громкий и продолжительный. Подошёл кто-то из жильцов. Через минуту снова звонок, голос телефонистки.

Сосед постучался: «Тебя, что ли».

Писатель взял трубку.

Таинственный дальний голос на неведомом наречии, словно звонят с Сатурна.

«Excusez-moi de vous déranger, j''aimerais parler à M...»[1]

Это был женский голос.

«Je vous écoute. — Там продолжали говорить. — Un instant, s'il vous plaît»,[2] — сказал писатель, поглядывая на соседа, который уже опаздывал на работу, но всё ещё торчал в дверях своей комнаты. Писатель попросил перезвонить через полчаса.

Сосед: «Кто это тебе звонил?»

«Понятия не имею».

«Небось знаешь, коли ответил».

Когда ровно через полчаса снова раздался звонок, приоткрылась другая дверь — бывшая жилплощадь Анны Яковлевны и сгинувшей бесследно Валентины, — и высунулась кривая физиономия. Теперь прислушивалась вся квартира. Ожила мифология призрачных спецслужб. Писатель отвечал на загадочном языке, и это мог быть только язык врага. Разговор был недолгим.

Неизвестно, сколько времени протекло, прежде чем, поднявшись с раскладушки, на которой он проводил теперь почти весь день, автор этой хроники привёл себя в относительный порядок. Он вышел из дома. География города меняется по мере того, как мы стареем: некогда просторный мир детства сжался, как шагреневая кожа. Не стало железных ворот, запиравшихся на ночь, и можно было видеть мимоходом, что двор как-то странно сморщился. Переулок стал короче и грязней. Привычным путём из Большого Коздловского он свернул в Большой Харитоньевский к Чистым Прудам. Бывший бульвар являл хватающее за сердце зрелище запустения. Вокруг остатков детской песочницы на поломанных скамьях разместилась община пожилых алкоголиков и бомжей. Не доходя до Покровских ворот, спиной к дому с барельефами сказочных зверей, — писателю чудилось, вот-вот покажется рядом с подъездом вывеска доктора Кацеленбогена, — на скамейке сидела женщина лет тридцати, темноглазая и темноволосая, неброско одетая. Он приблизился. Дама проворковала:

«C'est moi. Vous êtes surpris?»[3]

В руках у неё книжка в белом бумажном переплёте, опознавательный знак. Решив уделить этой встрече отдельную главу, сочинитель поймал себя на мысли, что и он, вслед за жильцами-соседями, всегда готовыми настучать, попался в сети государственной бдительности. Провокация, пронеслось в голове, *они* её подослали. Ничего не знаю. Уйти в глухую несознанку. Понятия не имею, чего эта иностранка от меня хочет, кто она такая. Он посмотрел направо, посмотрел налево.

«Спрячьте», — быстро сказал он.

«Боже мой, эти времена прошли! Неужели вы думаете, что я решилась бы...»

«Прошли? — спросил он. — Может быть».

«В чём же дело, почему вы так испугались?»

«Рефлекс».

Поколебавшись, он сел рядом.

---

[1] Простите, можно поговорить с г-ном...?

[2] Я вас слушаю. — Одну минуту (*фр.*).

[3] Это я. Вы удивлены?

«Вы читаете по-русски?»

«К великому сожалению, нет. Взяла с собой на всякий случай. — Она улыбнулась. — Как доказательство».

«Дела давно минувших дней, — заметил писатель. — Всё это уже устарело».

«Настоящая литература не устаревает».

«Спасибо. Вы в этом уверены?»

«В том, что ваша проза не устарела?»

«Нет. В том, что это настоящая литература».

Дама снова улыбнулась прелестной улыбкой.

«Вы, однако, порядочная кокетка. Пожалуй, я должна сделать вам ещё один комплимент. Откуда у вас такой прекрасный...? Вы не пробовали писать по-французски?»

Продолжая говорить, она отщёлкнула сумочку, протянула визитную карточку, мы, сказала она, предполагаем начать новую серию. Что-то вроде библиотеки новейшей русской литературы».

«Вот как. Кто это — мы?». Он разглядывал карточку, название издательства ничего ему не говорило.

«Если вы, конечно, не возражаете».

«Мадам Роллан...» — проговорил писатель.

«Можно просто Жюли. А вас — можно мне называть вас по имени? По секрету скажу вам, что я уже подыскала переводчика».

«Я там кое-что переделал. По сравнению с этим. — Он кивнул на её сумочку, где лежала заграничная книжка в белом переплёте. — Написал кое-что заново...»

«Мы это обсудим. Хотя должна заметить, что времени осталось немного. Роман должен выйти не позднее начала марта... Вы имеете представление о парижском Salon du livre?»[1]

«Ни малейшего»

«О, тем лучше! Вас ждёт много интересного».

«Меня?»

«Мы хотели бы вас пригласить».

«Пригласить, куда?» Писатель воззрился на даму.

Она возразила:

«Я понимаю, вы стеснены в средствах... Финансовую сторону вашего визита издательство, естественно, берёт на себя».

Поразительно. Они никогда это не поймут, думал он. Что значит жить всю жизнь в наглухо законопаченной стране. Это было всё равно как если бы он получил приглашение с другой планеты.

«У вас не будет никаких забот».

«Не в этом дело», — сказал он.

«А в чём же?»

Вот дура. Не могу же я объяснять, что все разговоры прослушиваются.

Некто приближается издалека.

«Вот видите, — сказал писатель, показывая глазами на нищего. — Помолчим немного. Un homme averti en vaut deux».[2]

---

[1] Ежегодная весенняя книжная ярмарка.

[2] Бережёного Бог бережёт.

Человек в лохмотьях, бормоча, протянул руку. Мадам Роллан поспешно рылась в сумочке. Писатель сказал:

«Вали отсюда».

Собиратель удаляется в сторону Покровки.

«Почему вы так резко обошлись с ним? И что вы хотели этим сказать — un homme averti? Он показался вам подозрительным?»

«На водку собирает. Это в лучшем случае».

«А в худшем?»

«Жюли, — сказал писатель, — я отравленный человек».

«Да, но ситуация в России изменилась!»

«Возможно. Но я уже сказал вам: я отравленный человек. — Он прищурился. — Принюхайтесь. Разве вы не чувствуете?»

«Вы хотите сказать, в Москве плохой воздух? Уверяю вас, в Париже не чище...»

«В Москве всегда был плохой воздух. Я не об этом. Испарения лагерей. Вся Россия отравлена. — Она не знала, что ответить, он продолжал: — А что касается вашего предложения, спасибо, конечно...»

«Вы бывали в Париже?»

«Нет, разумеется. Меня туда не пустят».

Она спросила, почему.

«Я не член Союза. Следовательно, не писатель. Кроме того, как вы знаете, за мной всюду идёт моё дело».

«Но, если я не ошибаюсь...»

«Удивляюсь вашей осведомлённости. Формально я реабилитирован. Это ничего не значит. Мне не дадут визу».

«Издательство вышлет вам официальное приглашение».

«Не поможет».

«Откуда вы знаете?»

«Откуда... Я живу в этой стране, вот откуда».

Эх, не надо было так говорить. Ну, всё равно, семь бед — один ответ.

«Я всё-таки не понимаю... — пробормотала она. — Хорошо, отложим эту тему. Я бы хотела взять у вас интервью».

«Интервью, о чём?»

«О вас, о вашем романе. Немного поговорить с вами».

«Прямо здесь?»

«Нет, здесь шумно. К тому же я не взяла с собой аппарат. Не согласитесь ли вы поехать со мной в гостиницу...»

«Не о чем разговаривать».

«А всё-таки».

«Послушайте, — сказал писатель. — За мной следят».

«Дорогой мой, это уже становится смешно. Кто это за вами следит — посмотрите вокруг. Здесь никого нет! Или вы думаете, что вас окружают невидимки?»

«Да, думаю. Один сидит рядом с нами. А другой прогуливается по дорожке. Слышите, как хрустит песок?»

«Замечательно. Превосходный сюжет. Напишите об этом рассказ... Как вы думаете, — спросила она, поднимаясь, — где-нибудь поблизости найдётся стоянка такси?»

LIX
Интервью, окончание

Тот же день

Войдя в номер, писатель хлопнул в ладоши. Должен быть отзвук, объяснил он. Жюли, в коротком светлокоричневом платье с пояском, опустилась перед шкафчиком, который в гостиницах называется баром. Её колени блестели, обтянутые шёлком. Какой отзвук, спросила она.

«Если слышится эхо, значит, комната прослушивается. Вон там, — он показал наверх, — должен быть микрофон».

«Я вижу, вы опытный конспиратор. Ну и как?».

Вздохнув, она подняла на гостя тёмно-блестящий взгляд. Писатель криво усмехнулся, пожал плечами.

«Вроде нет», — и в его голосе звучало почти разочарование.

Жюли выставила бутылку, за ней ещё одну поменьше, явились миксер, лёд в металлическом лотке и два высоких стакана. Устроились на диване перед столиком с магнитофоном. Оба сделали по глотку, она взглянула вопросительно на гостя. Подходяще, промолвил писатель.

«Вы готовы?»

Она прочистила голос. Ей показалось, что аппарат не в порядке, она остановила крутящиеся бобины, нажала на другую клавишу, катушки послушно завертелись в обратную сторону. Остановила, снова включила, поднесла к устам микрофон.

«Для начала я хотела бы задать такой вопрос. О чём, собственно...»

Молчание, крутятся катушки. Ясный день за окнами. Конец века.

Её палец с длинным розовым ногтем нажимает на стоп. Мсье такой-то. Я, кажется, вас о чём-то спросила, сказала она вкрадчиво.

Писатель держит в руках чашечку микрофона, как Гамлет — череп шута.

«О чём этот роман? — переспросил он сдавленным, не своим каким-то голосом. Что ей ответить? — Не знаю. Может быть, о преодолении хаоса».

Нет, возразила мадам Роллан, и катушки остановились, говорите естественней, расслабьтесь; ближе ко рту; пожалуйста; ещё раз.

«Тема моей книги — преодоление хаоса».

Вот это другое дело.

«Что вы подразумеваете под хаосом? Вашу собственную жизнь?»

«Отчасти, да».

«Значит, это автобиография».

«Нет. Условие писательства — самоотчуждение».

«Что это значит?»

«Это значит, что надо стать чужим себе самому. Использовать свою жизнь как материал. Не больше, чем материал, с которым можно работать».

«Вы говорите о хаосе».

«Да. Жизнь — это хаос случайностей. Нужно отыскать в нём какой-то смысл».

«Но вы как будто в этом сомневаетесь...»

«Очень может быть, что это иллюзия».

«Вы говорите — преодолеть хаос».

«Существует очарование беспорядка. Соблазн хаоса. Хаос тянет в него погрузиться. Освобождает от дисциплины и традиции, поощряет своеволие...»

Писатель потянулся к стакану, к остаткам мужества.

«Понимаете, — сказал он, — надо сопротивляться».

«Сопротивляться — чему?»

«Всему. Всему этому гнусному миру. Омерзительному веку, в котором нас угораздило родиться...»

Собеседница остановила плёнку, передохните, сказала она, у вас такой вид, словно вас ведут на казнь... Разве вам неприятно, что о вас узнают во Франции?

Зачем мне всё это, хотел он возразить.

Отлично, продолжим. Она нажала на клавишу.

«Вы — бывший узник Гулага».

Он поморщился.

«Кажется, вам не очень приятно говорить об этом?»

«Узник... слишком громкие слова. Да и название неверное. Гулаг — это ведь всего лишь контора. Главное управление лагерей».

«Вам не кажется, что в вашем романе слишком уж большое внимание уделено концлагерям?»

«Может быть. Но Россия этого века немыслима без лагерей. Вся страна была покрыта лагерями. Даром это не проходит. Мы по-прежнему живём в лагерном мире. Мы усвоили психологию лагеря. Она стала общенародной психологией. Лагерный образ жизни впечатался в русский национальный характер».

Нет, пожалуй, он слишком уж разговорился.

«Я вас слушаю», — её голос напомнил о себе.

«Я не касаюсь вопроса, насколько лагерь отвечал традициям государства, где классическое крепостное право было отменено каких-нибудь сто сорок лет тому назад... У Толстого говорится: солдат, раненный в деле, думает, что и вся кампания проиграна. Вы скажете, что человек, отведавший лагеря, уверен, что это и есть самое главное в жизни народа. Между прочим, в лагерях так и думали, что на воле будто бы никого уже не осталось. И всё-таки лагерь — это не аберрация, не искажение, лагерь — это ядро истории нашего века».

«Я бы хотела вернуться к роману. Если не ошибаюсь, у вас его отняли? — Писатель кивнул. — Но вы сумели его восстановить, это требует большого мужества. Внутреннего мужества».

«Ну и что».

Палец госпожи Роллан остановил магнитофон. Умоляю, простонала она, говорите громче!

Писатель отхлебнул из стакана.

«Ну и что, у меня всё равно нет читателей».

«Поверьте мне, во Франции...»

«А, бросьте...»

«При том, что роман носит несколько странный характер. Да ещё этот эпиграф из Августина... Вы, — она запнулась, — vous êtes donc catholique?»

«Bien sûr que non».

«Alors qui êtes-vous?»

«Personne».

«Que voulez-vous dire?»

«Rien. Personne c'est personne. En Russie cela arrive assez souvent qu'une personne découvre qu'elle n'est personne.[1] Мне кажется, — проговорил он, — по-французски, все это как-то не очень ловко выходит, но ничего не могу поделать».

«Нет, отчего же, я вас прекрасно поняла. Скажите мне это ещё раз по-русски. Или вообще что-нибудь».

«Но вы же не поймёте»

«N'importe.[2] Я хочу услышать, как звучит русская речь. Это очень мелодичный язык. Итак. некто оказался никем. Бедняжка! Впрочем, я должна сказать, это сейчас довольно популярный тезис. Смерть автора. Если не ошибаюсь, об этом говорил Ролан Барт... Вы хотите сказать, что вы потонули, исчезли в своей книге?..»

Пауза

«Название. Что вы скажете о названии?»

«Толкуйте его как вам угодно».

«Я бы хотела услышать ваше объяснение».

«Память превращает вчерашний день в вечность».

«Замечательно».

«Память уничтожает время...»

«Ещё лучше. Но, кажется, вы собирались увековечить не только ваше собственное прошлое».

«Неудачное слово, всё равно что восславить. Никакого славного прошлого нет».

«Странно. Все русские гордятся прошлым своей страны. Или, по крайней мере, не стыдятся его».

«Я не горжусь и не стыжусь».

«Но вы же только сказали: гнусное время».

«Я живу в нём».

«В прошлом, а не в настоящем?»

«В вечности».

«Громко звучит!»

«Это принудительная вечность».

«Навязанная память, хотите вы сказать?»

«Пожалуй. Во всяком случае, не память Пруста. Жюли! — сказал он и сам остановил бобины. — Жюли, чем вы меня напоили?»

«Обыкновенный виски с тоником. Вы сказали, что вам нравится...»

Она поднялась с дивана.

«Открою вам маленький секрет. Вы спросили, бывала ли я в Москве...»

«По-моему, я об этом не спрашивал...»

«В самом деле?» Она прохаживается по комнате. Магнитофон на столе не подаваёт признаков жизни — обиженный собеседник, которому дали понять, что он больше не участвует в разговоре.

«Мне вообще кажется... не могу точно выразиться. Все координаты как будто смещаются».

---

[1] Разве вы католик? — Нет, конечно. — А кто же вы? — Никто. — Как это понимать? — Как хотите. Никто — это никто. В России довольно частое явление. Когда некто оказывается никем. (*фр.*).

[2] Не важно (*фр.*).

«Это ваш стиль. Вы ведь постоянно сбиваете с толку читателя. Да, мне приходилось бывать в Москве, но когда не знаешь языка... Русский очень трудный язык. К тому же я слишком тупа. Но я приехала не с пустыми руками. Переводчик подготовил rapport de lecture.[1] Так что кое-какое представление о книге я всё-таки получила. А теперь познакомилась и с автором. Ба! ваш бокал пуст».

Она снова сидит на корточках перед баром. Платье обтягивает её фигуру. Жюли поднимается.

«A votre santé! На-здховья! Чокнемся, по русскому обычаю».

«Будем считать, что интервью закончено?»

«По-моему, получилось неплохо. Нет, — сказала она, — не буду вам раскрывать тайну. Подождём, пока подействует...»

«Вы имеете в виду это... — он держал перед собой стакан. — Вы туда что-то добавили? Это и есть ваш секрет?»

Страшная мысль осенят писателя, вернее, должна была осенить, всё ясно, говорил он себе, так я и знал! Попал в ловушку, дурацкое интервью, мнимое приглашение в Париж — всё подстроено. Ну-ка признавайся, чуть было не сказал он, тебя ведь подослали, ты, может быть, вовсе и не француженка!

А она бы артистически расхохоталась: кто же я, по-твоему?

Он как будто даже старался убедить себя, что поддался на провокацию. Но удивительным образом не испытывал никакого волнения.

А! не всё ли равно.

Он почувствовал желание говорить.

«Не знаю, как будет выглядеть французский перевод, в любом случае мой роман безнадёжен. Он безнадёжен уже потому, что противостоит нынешнему состоянию русского языка. Я, — сказал сочинитель, — верю в язык».

«Un instant,[2] я хочу включить...»

«Зачем? А впрочем, всё равно. Пожалуйста, если вам так хочется».

Она сменила плёнку. Затеплился зелёный огонёк индикатора, вновь завертелись катушки.

«Да, я верю в язык. Моя вера простирается до уверенности, — да, я в этом убеждён! — что язык есть движущее начало истории. Судьбу нации предопределяет судьба её языка. Вы улыбаетесь?»

«О, я слушаю вас внимательно».

«И этот провокатор тоже». Писатель покосился на магнитофон.

«Будем считать, — сказала Жюли, — что это наш общий провокатор».

Он продолжал:

«Великие эпохи языка внушают веру в историю. И наоборот. Это не новость. Крушение Рима было следствием деградации латинского языка. Она началась задолго до нашествия варваров... Готы и вандалы застали этот язык уже тяжело больным. Упадок языка парализовал сопротивление, ничто уже не могло помочь, ни сто семьдесят легионов, ни стена вокруг Города...»

«Это ваша собственная теория?»

«Это не теория, а факт. И вот теперь Россия. Русский язык болен, уважаемая. Болезнь сопровождается приступами лихорадки, за которыми следует прострация, полный упадок сил... И это тоже началось не вчера...

Достаточно взглянуть на засохшие извержения языка 20-х годов, на эти пятна рвоты. Прочесть речи вождей, словопрения идеологов, газетные статьи.

---

[1] краткий пересказ содержания (*фр.*).

[2] Минуточку.

Перед вами — клинические документы. Вы видите эти скачущие температурные кривые, эти безжалостные анализы крови. Все симптомы

того, что врачи называют пиемией, гноекровием».

«О!» — сказала она.

«В чём дело?»

«Восхищена вашим красноречием».

«Если бы это было только красноречием... Вам бы наши заботы, дорогая! Следствием болезни языка была цепь катастроф, постигших нашу страну. Это процесс, против которого не попрёшь. А теперь взгляните на нынешнюю ситуацию. Впрочем, взглянуть вы не можете, вы не знаете язык. И слава Богу...»

Он умолк, хлебнул из стакана.

«Будьте добры, — прохрипел он, — вырубите эту машину...» И катушки остановились. Женщина искоса поглядывала на гостя.

«К чертям весь этот монолог. Вам всё равно придётся сокращать...»

«Вы правы, — проворковала она, — должна вам сознаться: напиток не совсем обычный... Вы молчите. Вы, может быть, подумали Бог знает что... Хорошо, тогда я договорю, ведь я ещё не всё сказала...»

«Я понимаю, вы не можете доверять случайным знакомствам, — продолжала она. — Но я вас не обманываю. Больше того... В вашем романе есть главный герой, но нет — опять-таки насколько я могу судить —нет героини! Нельзя же назвать героиней эту старую дворянку...»

«Почему?»

«Должна ли я объяснять? Ваш герой любит её не той любовью, какой мужчина любит женщину. В романе нет большой любви! Да, да, — поспешно прибавила она, — вы скажете, эта крестьянка. С которой он сошёлся в лагере... Не будем спорить. Писатель! — сказала мадам Роллан. — У меня есть предложение. Пусть оно вас не смущает, в конце концов мы оба находимся под действием этого питья... Я хочу быть героиней твоей книги».

«Вы? Ты?..»

«Да, я. Ты находишь в этом предложении что-то странное?»

«Я тебя совершенно не знаю. Откуда ты, кто ты?»

Она рассмеядлась.

«Тем лучше! Ты сочинишь мне биографию. Выпьем за это. За мою новую жизнь в твоём произведении. Писатель, я хочу переселиться в твою книгу».

«Ты уже переселилась», — пробормотал он.

«Милый мой, в этом и состоит творчество. Вытеснить реальную жизнь властью воображения».

Смеясь, оба опорожнили свои чаши.

«Но всё-таки. Всякое воображение имеет свои границы. Ты француженка. Ты первая живая француженка, которую я вижу в своей жизни».

«Mon Dieu, я столько слышала о том, что русская интеллигенция молится на Францию. Chacun de nous a deux patrie, la nôtre et la France,[1] кто это сказал?»

«Франклин, кажется».

«Я думала, кто-то из русских. Но разве вы не сказали бы то же самое о себе?»

«Дела давно минувших дней, это были другие русские... Как же я могу писать о тебе, если я о тебе ничего не знаю?»

[1] Господи. (...) У каждого из нас две родины: наша собственная и Франция.

«О, мысленно ты уже пишешь. Ты вставишь главу, где будет рассказано, как мы встретились. Как я позвонила твоему герою... О котором, между прочим, так и неизвестно до сих пор, не он ли сидит сейчас передо мной!»

Она прошлась по комнате, где уже стало сумеречно.

Это был довольно просторный номер, состоявший из гостиной и спальни, с несколько вычурной мебелью, с люстрой, которую обитательница предпочла не зажигать, и трюмо в спальне.

Задумавшись, сочинил сидел за столом перед умершим магнитофоном. Из спальни падал свет. Голос Жюли послышался оттуда.

«Вы живы?»

Он пробормотал:

«Я жив. Я всё ёщё жив... Но я стар. Как-то незаметно я стал стариком».

Она что-то возразила, гость не расслышал.

«Ты хотел, — теперь её голос звучал отчётливей, должно быть, она отвернулась от зеркала, — чтобы я тебе рассказала о себе. Но ты забыл, писатель, что для того, чтобы узнать женщину, не надо её слушать. Или, слушая, делать противоположное заключение. Женщину надо видеть, потому что тело не обманывает».

Послышался шорох, стук туфелек, она продолжала:

«Ты упоминаешь одну картину — там есть описание. C'est une nudité...[1] Как можно догадаться, весьма посредственный художник, но картина почему-то играет в жизни героя какую-то особенную роль... Опиши меня, как ты описываешь действующих лиц».

«Забавная игра, — отвечал писатель, входя в спальню. — Зачем играть в литературу. Литература сама есть игра».

«Смотря как подойти к вопросу, — возразила она. — Ты готов? Где твой стилум? Где восковые таблички? Гусиное перо? Пишущая машинка?»

Она стояла спиной к писателю,

«Я вижу тебя в зеркале. Ты невысокого роста. Это оттого, что у тебя коротковатые ноги. Но это не портит твою красоту. У тебя прекрасно сформированные бёдра, плотные белые ягодицы. Впрочем, я не могу описывать женщину, которая повернулсь ко мне задом...»

«Старый ловелас! Начни со спины».

Писатель обнимает женщину, по-прежнему глядя в зеркало, её груди лежат, как в чашах, в его ладонях.

«Это что, часть сюжета?»

LX
Ремонт отечественной истории. Не надо искать женщину — она отыщет вас.

10 июля 1997

Господа, дело идёт к концу; сколько лет вы не были в городе? Небось соскучились. Москва изменилась — это вам скажет каждый. Прямо тут же, из автомата на улице, можно позвонить за границу. В киосках продаются иностранные газеты. В книжных магазинах бывшая крамольная литература. В булочных хлеб

[1] Обнажённая натура (*фр.*).

по нормальной, выше прежнего, цене. Никаких блатов, никаких дефицитов, всё всем доступно — разумеется, кроме тех, которым недоступно. Всё сыты — кроме голодных. Мирно, бок-о-бок с кремлевскими звёздами сверкают новенькие двуглавые орлы. Веют трёхцветные флаги. В подъездах не пахнет мочой.

Стало ещё тесней, ещё шумнее... да, пожалуй, и веселей! То есть не то чтобы, но всё же. Если вас не пугает давка в метро, не смущает толчея на тротуарах, не оглушает грохот транспорта, выкройте полчаса, чтобы прогуляться по городу. Поезжайте до станции с восстановленным историческим названием, поднимитесь наружу, на площадь, где ещё недавно стоял на круглом постаменте суровый муж в долгополой шинели, где доныне высится славная цитадель — с некоторых пор её украшает мемориальная доска в честь безвременно ушедшего шефа Государственной безопасности. Здание охраняется, и нет возможности забросать фекалиями эту скрижаль. Бог с ней. — Высоко над рядами мертвенно отсвечивающих окон, кабинетами владык, над стенами прогулочных дворов для заключённых на крыше, в бледноголубом небе плещется трёхцветный стяг самодержавия, православия и народности.

Ещё немного пешёчком куда глаза глядят: перед вами сквер с памятником Первопечатнику Ивану Фёдорову. Перед вами заново отделанная Иверская. Три четверти века ожидала она ремонта, подобно тому как вся наша, порядком износившаяся, отечественная история давно и настоятельно требовала капитального ремонта.

Работы, впрочем, предпринимались не раз. Но всякий раз неудачно. Только было замажут трещины, оштукатурят, покрасятнаведут марафет — опять всё валится. Будем надеяться, что теперь яркие краски нашей истории не пожухнут, позолота не облупится.

Итак, стало быть, Иверские ворота... За двумя арками видна великолепная, блестящая от солнца площадь с далёким Василием Блаженным и несколько портящей перспективу глыбой гостиницы «Россия». Между арками, у подножья вновь отстроенной игрушечной церкви удобно расположился представитель вольной профессии. Он немолод, лыс, в сивой нечёсанной бороде и железных очках на носу, из которого торчат седые волоски. Ноги в портках, видавших виды, в башмаках загодочной судьбы, лежат на земле, между ногами молчаливо взывает к милосердию древняя фетровая шляпа.

Ага! Женщины всё ещё не оставляют его вниманием. Стройная, юная, светловолосая, в платье неуловимо-нежного цвета, который, если не ошибаемся, называется палевым и который рискуют носить только такие, прекрасно сохранившиеся дамы, простучав каблучками, совсем было скрылась в толпе, но остановилась, обернулась, приблизилась. Она стоит перед собирателем подаяний. Бывают совпадения, словно пересекаются диагонали судьбы.

Сиделец пробормотал свою формулу.

Она стоит как вкопанная.

«Чего надо?» — проскрипел он.

«Вот так встреча, — очнувшись, проговорила она. — Вот это да. Писатель!»

Увы, это был он.

«Чего? — спросил он. — Ты кто такая?»

«Та самая! — улыбаясь, отвечала дама, опустилась на корточки, платье красиво обтянуло её бёдра. — Писатель! Где мой роман?»

Ничего не изобразилось на лице нищего, он сумрачно оглядел её,:

«Вали отсюда...»

«Ро-о-оман, — пропела она, — вы обещали, если я буду вести себя хорошо, посвятить мне свой роман».

Она поднялась. Насупившись, он спросил:

«Когда это я обещал?»

«Тогда! И, пожалуйста, не делайте вид, что вы меня забыли!»

Она протянула руку старцу. «Сам, сам...» — бормотал писатель, встал, подтянул штаны — жест, возвращающий мужчине самоуважение. Дама отряхнула и подала шляпу.

«Ничего не помню», — сказал он строго. Несколько времени они шагали рядом.

Не помню, не знаю, повторял он мысленно, ни тебя, ни вашего городка, ни комнату с топчаном и дощатым полом, ни старуху-хозяйку, и катитесь вы все подальше.

«Ты её внучка?» — спросил он.

Вошли в сквер и уселись на скамейке перед Первопечатником.

«Та-ак, значит... — пробормотал он. — Это самое... — И что-то ещё невнятное. — Сколько же это лет прошло... сто лет?»

«Почти».

«Я жил у Швабры... как её? Андреевна?»

«Анисимовна».

Il en est ainsi de notre passé. C'est peine perdue que nous cherchions à l'évoquer.[1]

«Я была девочкой. Я была в тебя влюблена, писатель».

«Этого не может быть».

Вероятно, он имел в виду встречу. Она истолковала его слова иначе.

«Ты просто не заметил. Мужчины невнимательны. Ты и сейчас меня не узнал... А я, между прочим, вспоминала о тебе. Писатель, я всё та же».

«Та же. Угу. Только я не тот».

«Ты не выполнил своё обещание. Где книга?»

Нищий молчал, мутно поглядывал из-под косматых бровей.

«Я жду», — сказала она холодно.

«Чего ты ждёшь?»

«Чего я жду... о, Господи. Вот уж никогда бы не подумала. Так опуститься... Где ты живёшь? Как ты вообще существуешь?»

«Существую...»

«У тебя есть какое-нибудь жильё?.. Ты пойдёшь со мной, — сказала она. — Будешь жить у меня... А эти лохмотья — вон, вон...»

«Не сметь меня оскорблять».

«О, я бы тебе ещё и не то сказала... Писатель, где мой роман?»

«Путаешь меня с кем-то».

«Я? путаю?»

«Нет его. И меня нет».

«Это как же надо понимать?» — спросила она, нахмурившись.

«Нет больше никаких романов! — крикнул он. —Конец, finita... Сколько можно?»

«Куда ты его дел. Куда ты его дел? Я спрашиваю».

«Тебе говорят — нет. В сортир спустил... — Усмехнувшись: — Вместе с тобой».

«Со мной?»

«Ну да. Ты ведь тоже была — как это называется — действующее лицо».

[1] Вот так же обстоит и с нашим прошлым. Пытаться воскресить его — напрасный труд. (*Пруст*).

Нищий взглянул на позеленевшего человека в кудрях, повязанных ремешком. Он опирается на печатную доску, в другой руке держит типографский лист. Со своего постамента Иван Фёдоров сверлил бродягу укоряющим взором. Пора бы и его туда же. Взорвать к чертям...

«Неправда. Я не верю. Мы его разыщем. Или ты напишешь заново».

«Держи карман шире».

Помолчав, он добавил:

«Ни к чему. Не вижу необходимости».

«Мы поговорим об этом после; пошли».

«Куда это?»

«Есть смысл или нет смысла, не нам судить. Поднимайся, у меня мало времени».

«Зато у меня, хе-хе, сколько угодно!»

Светило яркое летнее солнце. Шумел город, вдруг оказалось, что в Москве очень много машин. Писатель сказал:

«Мне нехорошо. Лучше проводи меня».

«Куда?» — спросила девочка. Он сидел за дощатым столом в комнатке с низким окошком, со щелястым полом, кто-то царапался в дверь, она вошла, держа в руках ломоть хлеба с повидлом. Бдительность, сказал жилец, подняв палец, бдительность прежде всего, и принялся перебирать исписанные листы. Оба стали есть и слизывать повидло с пальцев.

«У нас большая квартира, — сказала она, — мой сын предприниматель. Мы ни в чём не нуждаемся... У тебя будет своя комната. Все условия для работы... Ты всё вспомнишь, торопиться некуда. Напишешь ещё лучше, чем было. А потом мы издадим книгу за свой счёт, в самом лучшем издательстве. Писатель. Я требую. Ты обещал!»

«Там есть столовая, бесплатная... Проводи меня».

«Никаких столовых! Мы едем к нам».

«К вам. Угу. Куда же это? Девочка моя...» — проговорил он, глядя мимо бородатого Первопечатника, мимо Иверских ворот. Шум столицы, водопад времени заглушал его бормотанье.

«Девочка... Я понимаю, надо было сопротивляться... Надо было твердить своё... Как-то оправдать».

«Что оправдать?»

«Всё. Историю. Литературу. Свою собственную жизнь. Кто мы такие, зачем живём на свете. Жизнь бессмысленна. Надо внести смысл. Литература вносит смысл, так? Ничего не вышло».

«Но есть Бог», — сказал Первопечатник.

Писатель поднял голову.

«Ты так думаешь?» — спросил он.

Рядом с ним женщина, уже не казавшаяся такой моложавой, сжала виски ладонями, да, да, говорила она, есть Бог, и он всё видит и всё понимает; он и тебя ведёт, и не зря мы с тобой повстречались.

«Это судьба. Я верую, верую... Ты начнёшь всё сначала. Ты напишешь новый роман о пути к Богу...»

Писатель промолвил:

«Может, он и есть. Только не про нас».

«Что ты такое говоришь! Теперь другие времена. Это так нужно! Всем нужно! Ты современную литературу читаешь?»

«Зачем она мне...»

«Послушай... — Она встала, взглянула на ручные часики. — Мне надо торопиться. Ты тут посиди... Я скоро вернусь».

Он покачал головой.

«Можешь не возвращаться. Минутку... Что я хочу тебе сказать. Ты говоришь, другие времена. Будь на моём месте человек в десять раз талантливей, всё равно ничего бы не получилось. Что это за времена, что это за эпоха, когда какого-то Элвиса Пресли боготворят десятки, сотни миллионов... О чём тут толковать... Пресли отменил Бетховена. Телевизор обесценил Пруста, обесценил Толстого... Прости, я заговорился... Не об этом речь. Что я хочу сказать... Мне сегодня как-то нехорошо, надо бы лечь. Я, пожалуй, пойду... Моя милая... Я счастлив, что повидал тебя, что у тебя всё в порядке... Всё в порядке...» — бормотал он, не замечая, что рядом никого уже нет. —

LXI
Глас народа

10 июля

К нему подошли.

Он поднял голову.

«Отдыхаем, папаша?»

Их было трое, в кожаных куртках с металлическими застёжками.

«Ну-к, подвинься...»

Нищий молчал и не двигался.

«Подвинься, ё...ный в рот!»

Один из них плюхнулся на скамью и начал его оттеснять, так что он чуть не слетел на землю. В чём дело, спросил он, вставая. Сучий потрох, блядина, ответили ему. Доставай что ты там насобирал.

Он взглянул на одного, взглянул на другого. Сейчас, сказал он. Прихлопнул на голове старую шляпу. Сунул руку в штаны и выхватил финку.

«Вот что, отцы... — Он стоял, расставив ноги, держа нож у живота лезвием вперёд. — Гребите отсюда. Пока хуже не будет».

Он не желал им зла.

«Эва, какой шустрый...» — они переглянулись. Один стал заходить сзади, писатель косился на него. Он рассчитывал, бросившись на главного, расчистить себе путь к отступлению. Его опередили. Оружие было выбито у него из рук молниеносным ударом ногой, другой удар сзади свалил его наземь.

Его обступили. Кованым сапогом — под ребрину.

«Канючить милостыню. На святом месте. Господа Бога гневить, родину нашу позорить, с-сука!»

«Ребята, — бормотал нищий, — я же не знал...»

«Будешь знать! Васёк, поучи-ка его маленько».

Васёк поучил.

«Ещё раз тебя тут увижу, — зловеще сказал главный, — пеняй на себя».

И голос свыше, как эхо, прогремел:

«Пеняй на себя!»

Vox populi, vox Die.[1]

LXII
Глава без названия

Ночь с 10 на 11 июля 1997

Выйдя из метро, он поплёлся по Боярскому переулку и увидел, что его ждут. Наконец-то! Оба вошли в подъезд; писатель открыл дверь своим ключом. Было уже поздно, квартира спала.

Он повалился на раскладушку. Юноша в чёрном молча сидел у его ног. Некоторое время они поглядывали друг на друга, хозяин о чём-то мечтал, потом спросил:

«Может, выпьешь со мной?»

Гость покачал головой. «И тебе не советую», — сказал он.

Ещё помолчали.

«Болит?»

«Всё тело. Особенно здесь. Может, ребро сломали?»

«Я надеюсь, — сказал пришелец, — что этот прискорбный случай не был причиной твоего решения».

«Тебя всё не было».

«А что же тогда, осмелюсь спросить, тебя побуждает?..»

Писатель не удостоил гостя ответом.

Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит.

«Как бы то ни было, — заметил гость, — решение правильное».

Кряхтя, писатель слез со своего ложа. Налил себе водки, нацелился было на стакан гостя. Чёрный юноша накрыл свой стакан ладонью. Ну, как хочешь, пробормотал писатель. Поднял чашу с напитком жизни и смерти. Но передумал и поставил на место.

«Хочешь оставить записку?»

«Некому».

«А это?» — гость показал на бумаги, которые пришлось свалить на пол.

Писатель махнул рукой. Гость пожал плечами. Снова наступило молчание. Посетитель поднялся.

«Ты уходишь?»

«До следующего раза».

«Нет, нет, — испуганно сказал писатель, — подожди!»

«Но ты, кажется, передумал».

«Помоги мне».

«Ты победил», — сказал гость.

«Как это?» — спросил писатель.

«Ты победил, — прошептал, склонившись над ним, ангел. — Поэтому ты должен умереть...»

В старых квартирах высокие потолки. Гость стоял у стола для подстраховки. Писатель поставил на стол табуретку. Морщась от боли в боку, взобрался

[1] Глас народа — глас Божий (*лат.*).

наверх и прилаживал верёвку к крюку для люстры родителей, которую унесли временные жильцы вместе с мебелью. Слез со стола. Они обнялись.

Гость сказал:

«Это будет длиться меньше одной секунды. А о том, что наступит дальше, я не могу тебе рассказать».

И он исчез.

Писатель снова вскарабкался на табуретку, надел на шею петлю и оттолкнул ногой опору. Табуретка с грохотом упала на пол, следом за ней рухнул самоубийца. Ему показалось, что он сломал второе ребро.

ЭПИЛОГ

Апофеоз и последнее бегство

Конец XX века

В те времена, если кто помнит, много говорилось о *дороге к Храму.* Под этим подразумевалось нечто метафизическое, но судьбе было угодно превратить метафору в реальность. Рассказ об открытии самого величественного сооружения наших дней был, возможно, последним произведением автора, о котором здесь так много говорилось. Собственно, оно и должно было стать заключительной главой хроники, но включение этого фрагмента в основной корпус несостоявшегося романа может быть оспорено, по меньшей мере, по двум соображениям. Во-первых, в сохранившихся бумагах нет на этот счёт никаких указаний. Во-вторых, и это главное, выспренний тон повествования — в своей чрезмерности, пожалуй, даже несколько оскорбительный — мало подходит для хронографа. Правда, автор не раз высказывал своё скептическое отношение к истории. В самом деле, текст (приводимый здесь с сокращениями), по первому впечатлению, представляет собой обычный для беллетристов гибрид правды, которая кажется вымыслом, и вымысла, выдаваемого за правду.

Свой рассказ автор начинает с экскурса в прошлое. С самого начала тень мрачного пророчества нависла над дворцом-собором, воздвигнутым во исполнение воли покойного императора Александра Благословенного, в благодарность за избавление России от нашествия двунадесяти языков. Некая монахиня предсказала, что храмина простоит не дольше полувека. Так и случилось. После первого взрыва собор устоял, второй взрыв разрушил его до основания. Вместе с тем истёк и срок насланного свыше проклятья. И ныне Храм-дворец вознёсся вновь, дабы возблагодарить Всевышнего не только за победу над французами, но и за спасение от тевтонов, и от большевиков, и от язвы либерализма.

И не ради одной лишь благодарности. Не все, быть может, отдавали себе отчет в смысле и назначении торжественного акта. К исходу столетия ощутилась, настоятельно дала себя знать потребность в обновлении национальной Идеи. Пришло время великого примирения с прошлым. История, этот апокалиптический зверь, была усмирена, приручена и вышагивала, словно учёный медведь, на задних лапах, с бантом на шее, под бряцанье бубна, под возгласы поводыря-дрессировщика.

Десять тысяч военнослужащих оцепили квартал. Тысяча восемьсот сотрудников милиции заняли наблюдательные посты в подъездах, подворотнях, на балконах и чердаках близлежащих зданий. Грузовики перегородили главные улицы, до трёхсот конных милиционеров охраняли перекрёстки. Патрули народных добровольцев с нарукавными повязками прогуливались по тротуарам. Силы государственной безопасности, агенты в штатском обеспечили необходимую меру энтузиазма.

Ждали прибытия державных начальств, предстоятелей церкви, чужеземных гостей. Представители чуть ли всех государств, во фраках и цилиндрах, в африканских тогах, в арабских бурнусах, в просторных шёлковых штанах и мантиях Дальнего Востока, в тихоокеанских колпаках и шкурах диких зверей заполнили гостевые трибуны. Вокруг теснился народ. Состоялись молебен и освящение, румяные, длиннокудрые и пышнобородые иереи в золотых фелонях и бледнолицые послушники в скуфьях и рясах обошли кругом огромный дворец, орошая стены и публику святой водой. А далее перед зрителями предстало изумительное зрелище. На площади перед порталом появились как бы из тьмы веков древнерусские ратники под предводительством вещего князя Олега, высоко поднявшим свой щит, дабы приколотить его к вратам покорённого Царьграда. Грянул гимн в исполнении сводного оркестра Министерства обороны и Государственного академического Большого театра. За русичами, соблюдая строй, промаршировала новгородская дружина, впереди под княжеским стягом, в багряном плаще и золотом остроконечном шлеме покачивался в седле святой благоверный князь Александр Невский. Следом вели на верёвке поникших, униженных, тевтонских рыцарей. Зазвучала музыка композитора Прокофьева. На большом, в половину фасада, полотняном экране осветились кадры Ледового побоища из эпохального фильма режиссёра Эйзенштейна. Площадь опустела, и минуту спустя появился царь-надёжа Иван Грозный, он вёл войска на Казань (на экране — пролом в стене казанского кремля, верный Малюта Скуратов, с разверстым бородатым ртом, зовёт сподвижников на приступ). Оркестр исполнил «Как во городе было во Казани». Дружными аплодисментами, криками восхищения, весёлым смехом встретила публика фельдмаршала Кутузова с повязкой на глазу и согбенного Наполеона, удирающего из России под звуки разудалой «Камаринской», музыка композитора Глинки.

И так далее, и так далее.

Но вот, наконец, дошла очередь до главного номера, наступил кульминационный момент празднества, знаменующий кульминацию всей отечественной истории. Гром оваций, гудение колоколов потрясли цитадель и площадь. Огибая дворец, со стороны набережной, на высоком постаменте, под скрип задрапированных колёс, слегка покачиваясь, ехал семиметровый писанный красками Вождь — победитель Германии, в прямых несгибаемых брюках с алыми лампасами, в белом мундире с золотыми погонами генералиссимуса, в литых, слегка седеющих усах, с брильянтовой Звездой Победы между углами затканного позументом воротника. А тем временем на экране хищно-радостный, нарумяненный и напудренный Геловани сходил с самолётного трапа в Берлине, приветствовал полки. Оркестр рявкнул: «Славься», объединённый соборный и оперный хор грянул: «Союз нерушимый республик свободных» на слова выдающегося поэта Сергея Михалкова.

Толпа растеклась по улицам и переулкам. Не стало верховой стражи на перекрёстках, милиционеры слезли с коней, с крыш и чердаков, грузовики разъехались. Торжественный декор, фанера и шёлк были припрятаны до следующего праздника. Артисты сдали в костюмерные знамёна и плащи, картонные латы, золотые остроконечные шлемы из папье-маше, древнерусские холщёвые порты, лосины времён Отечественной войны 1812 года, лапти и краснозвёздные шлемы Гражданской войны, галифе и гимнастёрки Великой Отечественной войны. Дворники сгребали окурки, жестяные банки, картонки из-под мороженого, огрызки яблок, куриные кости, скорлупу орехов, комья промасленной бумаги из-под жареных цыплят, все свидетельства нового благополучия. Водоструйные машины проехались по площади. Начался новый век.

*

Сочинитель выбрался из толпы. Он прошёл пешком через центр. День клонился к закату, точнее, было то неопределённое время дня, когда, если не знаешь, который час, невозможно отличить предвечерние сумерки от начинающегося рассвета. Над сумрачным, серокаменным городом простёрлось ярко-серебряное небо, темно отсвечивала слюда окон. Кое-где уже тлели и вздрагивали лиловые и малиновые газосветные вывески. Видимо, это был всё же конец дня; две ночи поднимались навстречу друг другу — одна на Западе, другая на Востоке; странник шёл и шёл, и чем дальше он углублялся в лабиринт улочек и тупиков, тем реже попадались ему встречные пешеходы. Он запамятовал, какое сегодня число. И уже почти стемнело. Не уверенный, правильно ли он идёт, он дошёл до угла, свернул и доплёлся до следующего поворота и, наконец, узнал свой переулок, на каменной тумбе сидела учёная птица, повела воронёным клювом, показывая дорогу. Он шагал по Большому Козловскому, дошёл до того места, где переулок раздваивался. У подъезда, напротив бывшего чехословацкого посольства, в конусе света стоял экипаж, бородатый возница дремал на козлах. Писатель вошёл в подъезд, в темноте нашарил кнопку звонка, и шаги Анны Яковлевны зашелестели по коридору.

FINIS

2007 год, постскриптум

Мои друзья просили меня сопроводить только что законченную книгу кратким объяснением.

Её название больше подошло бы к мемуарам. Тем не менее (как писал вымышленный издатель «Опасных связей»), «есть основания думать, что это всего лишь роман». Однако я предвижу трудности, которые помешают воспринимать книгу как чисто романическое повествование.

Обыкновенно, когда заходит речь о прозе, спрашивают: о чём это? Ответить нетрудно: эпизоды из жизни некоего персонажа, принадлежащего к поколению сверстников автора. Жизнь эта протекает на фоне истории только что минувшего века с её главными событиями: войной, победой, лагерем, крушением режимов, полагавших себя вечными. Позади нас — век злодеяний и заблуждений, масштаб которых заставляет усомниться в том, что когда-то именовалось историческим разумом. Можно называть по-разному иррационализм истории: Промысел или Абсурд; выяснилось, что это одно и то же.

Два вождя — С. и Г. — суть две персонификации этого абсурда.

Говорить о том, что герой романа противостоит мировой бессмыслице, смешно: мутный поток истории сбивает его с ног. Он словно прыгает по камням в надежде перебраться на другой берег. Но берега нет. Герой романа ищет целостности и какого-то оправдания. Он жаждет восстановить целостность своей разлохмаченной жизни и целостность калейдоскопической истории. Надеется возвратить ценность своему сугубо частному существованию и найти оправдание злодейской человекоядной истории. Как? Написать роман.

Трудность чтения книги состоит в том, что это одновременно и рассказ о жизни, и рассказ о том, как сочиняется роман о жизни. Точка зрения, с которой обозревается романный мир, двоится. Субъект повествования расщеплён, он существует в разных временах и в нескольких лицах: влачит свою земную жизнь, и живёт в собственном романе, и вместе с тем размышляет, как ему написать роман.

Литература предстаёт перед ним как последняя надежда, как единственный оставшийся у него способ обрести утраченный смысл. Удастся ли? Вопрос.

Б. Х.